

Новый Журнал



Нью-Йорк

Новый Журнал

THE
NEW REVIEW

• ■ •

Основатель М. ЦЕТЛИН

Одинацадцатый год издания

Редактор М. М. КАРПОВИЧ
Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Кн.
XXVII
1952

О ГЛАВЛЕНИЕ:

<i>Ив. Бунин</i> — Стихотворения	3
<i>М. А. Алданов</i> — Повесть о смерти	4
<i>Б. К. Зайцев</i> — Древо жизни	71
<i>Г. Андреев</i> — Два Севостяна	107
 СТИХИ: — <i>З. П. Гиппиус, Лидия Алексеева, Ольга Анстей, Лидия Червинская, Екатерина Таубер, Елизавета Шувалова</i> — 108-120; <i>В. Злобин</i> — 70, 237; <i>О. Ильинский</i> — 106, 227; <i>Д. Кленовский</i> — 196, 260; <i>Ю. Одарченко</i> — 212 <i>А. Шиманская</i> — 284.	
 ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
<i>В. Вейдле</i> — Три предсмертья	121
<i>Юрий Косач</i> — Украинская литература в эмиграции	135
<i>В. Александрова</i> — Советские журналы за 1951 год	150
 ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:	
<i>Н. Воинов</i> — Беспрizорники	160
<i>Ю. Елагин</i> — Жизнь московских актеров	197
<i>Н. Павлова</i> — Киев,войной опаленный	213
<i>Виктор Чернов</i> — К русско-польским отношениям	228
<i>Мих. Букиник</i> — Мои воспоминания о П. И. Чайковском..	238
 ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Г. Гинс</i> — Перевоплощение Петербурга	248
<i>Н. Ульянов</i> — Культура и эмиграция	261
<i>М. М. Карпович</i> — Комментарии	273
 ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>М. Вишняк</i> — Памяти М. Я. Лазерсона	285
<i>Письмо С. Л. Франка к Г. П. Федотову</i>	288
 БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Глеб Струве</i> — Две книги о судьбах России	290
<i>Н. Б.</i> — Борис Зайцев. Жуковский	298
<i>Михаил Коряков</i> — Густав Герлинг. Обый мир	299
<i>Игорь Чиннов</i> — Elza Mahler. Altrussische Volkslieder aus dem Pečoryland	301

НОЧЬ

Ледяная ночь, мистраль.
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

ИСКУШЕНИЕ

В час полуденный, зыбко сливаясь по Древу,
Водит, тянется малой головкой своей,
Ищет трепетным жалом нагую смущенную Еву
Искушающий Змей.
Истройна, высока с преклоненными взорами Ева
И к бедру ее круглому ластится гривою Лев
И в короне Павлин громко кличет с запретного Древа
О блаженном стыде искушаемых дев.

Ив. Бунин

Р. С. По древним преданиям, в искушении Евы участвовали Лев
и Павлин.

Ив. Б.

ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ

Эта книга входит в серию моих исторических и современных романов, которую закончит роман «Освобождение». Новый читатель мог бы, если бы хотел и имел терпение, ознакомиться с ней в следующем порядке: «Пуншевая Водка» (1762 год); «Девятое Термидора» (1792-4); «Чортов Мост» (1796-9); «Заговор» (1800-1); «Святая Елена, Маленький Остров» (1821); «Могила Воина» (1824); «Десятая Симфония» (1815-54); «Повесть о Смерти» (1847-50); «Истоки» (1874-81); «Ключ» (1916-17); «Бегство» (1918); «Пещера» (1919-20); «Начало Конца» (1937); «Освобождение» (1948). Их многое связывает, — от общих действующих лиц (или предков и потомков) до некоторых вещей, переходящих от поколения к поколению

Некоторые главы «Повести о Смерти» (как и «Освобождения») появились в последние годы в «Новом Русском Слове».

Автор.

Ч а с т ь п е р в а я

Cet universel sommeil de la nature qui précède les orages, nous en retrouvons l'image dans cette torpeur de l'opinion publique pendant les dernières années de la monarchie*).

Louis Menard

Между Россией и Францией во всё время царствования Людовика-Филиппа шла дипломатическая война. Она никого особенно не волновала, а многих забавляла.

*) В не очень точном переводе: «Этот сон природы перед бурями — мы находим его подобие в дремоте общественного мнения в последние годы монархии».

Император Николай, взвешенный июльской революцией, очень неохотно признал младшую линию Бурбонов, и в официальных письмах называл нового короля не «братьем», а только «добрый другом», что считалось крайне оскорбительным. Иностранным дипломатам царь объявил, что умеет отличать французский народ от французского короля. Собственно это противоречило всем его основным принципам, так как для него имели значение не народы, а их правители. Однако об этом противоречии Николай I не заботился. На приемах французских послов император любезно расспрашивал об их здоровье, о своих парижских знакомых, о благосостоянии Франции, но никогда о короле не спрашивал. Парижское правительство то относилось к этому благодушно-иронически, то вдруг приходило в ярость. Так, отправляя в Петербург маршала Мэзона, кабинет министров предписал ему немедленно покинуть Россию, если царь и на этот раз не спросит о Людовике-Филиппе. Это вызвало волнение: война! Николай I уступил и спросил нового посла, как поживает король. Иногда шла на уступки и Франция. В одном из парижских театров была поставлена историческая пьеса, оскорбительная для династии Романовых. Русское правительство потребовало ее запрещения, а в частных беседах царь вскользь с усмешкой замечал, что в случае отказа «может прислать на спектакль миллион зрителей». Французское военное ведомство не верило: разведка доносила, что Россия может выставить всего 114 тысяч солдат. Тем не менее пьеса была снята с репертуара.

Иногда, впрочем, отношения улучшались. В свое время были даже разговоры о том, что дочь императора, великая княжна Ольга Николаевна, выйдет замуж за герцога Орлеанского, наследника французского престола. Затем эти разговоры прекратились, и отношения стали еще хуже. Когда русский посол в Париже, вследствие болезни австрийского, оказался старейшиной дипломатического корпуса и должен был бы на приеме сказать королю приветственное слово, царь, под предлогом спешного доклада, вызвал посла в Россию. Гизо тотчас предписал представителю Франции в Петербурге не являться в Зимний

дворец на поздравление в день именин царя. После этого русский двор и высшее петербургское общество стали бойкотировать Казимира Перье: его больше никуда не приглашали; через общих знакомых, русские вельможи просили его извинить их: такова воля императора.

В разных европейских столицах очень веселились по этому случаю, но говорили, что войны все-таки быть не может. В Париже газеты обсуждали вопрос, отвечает ли русский народ за политику своего правительства, и склонялись к тому, что отвечает: руссофобская книга маркиза Кюстина имела огромный успех. По настоящему требовали войны с Россией только революционеры. Случалось, толпы манифестантов направлялись к зданию русского посольства с криками «Долой русских!..» «Да здравствует Польша!..» «Смерть тиранам!..» Полиция их оттесняла. Приготовлений к войне не было, но обе стороны были совершенно уверены в победе. Франция, после революционных и наполеоновских войн, была убеждена, что один на один с ней никто воевать не может. Николай I не сомневался, что его армия церемониальным маршем пройдет по всей Европе. Говорили, впрочем, что воевать-то негде ввиду отсутствия общей границы и существования нейтральных государств. Впрочем, высказывалось и такое мнение, что немцы пропустят французскую армию и сами к ней присоединятся в борьбе за общие идеалы. В Париже очень любили немцев и считали их, несмотря на некоторые печальные отклонения, историческими друзьями Франции. Один очень популярный в высшем обществе офицер позднее читал письмо, полученное им от брата, находившегося в Германии, тоже военного: брат уверял, что в случае войны немцы, как один человек, присоединятся к стране, защищающей свободу и братство.

Только престарелый Людовик-Филипп знал, что никакой войны при нем не будет, так как он никогда на нее согласия не даст. За семь лет до того, из-за Египта, Тьер решил было воевать со всей Европой. Король тотчас его уволил и пригласил Гизо. Знал, что сам он никак на Наполеона не походит, что вообще Наполеонов, слава Богу, больше нет, последние мар-

шалы мирно доживают свой век на покое, и относятся с полным пренебрежением к новым, колониальным генералам: эти тоже называют себя полководцами! Король не очень тревожился в пору дипломатических осложнений: если французские газеты станут уж слишком воинственными, то можно будет, чтобы их утешить, образовать новую дивизию, дать верфям заказ на новый фрегат и опять назначить главой правительства маршала Сульта, герцога Далматского, героя революционных и наполеоновских войн: большой опасности для мира не будет, маршалу восемьдесят лет, он давно и на коня сесть не может и никакой войны не хочет, — имеет огромное состояние; не будет особенно вмешиваться и в королевскую политику, так как даже в молодости не мог связать двух слов.

В Париже говорили также, что неизбежна и революция: нет больше сил терпеть гнет ненавистного короля. Гнет был не очень страшен, — впоследствии люди увидели другое, — но революция действительно приближалась. Франция была покрыта сетью тайных обществ с не всегда понятными названиями и с мрачно-тайным ритуалом. Были «Друзья Народа», были «Возрожденные Франки», было «Галльское Общество». Самым опасным считалось «Общество Сезонов», в котором видные люди занимали должности Воскресенья, Июля, Весны. Главарями были Бланки и Барбес. В 1839 году это общество устроило восстание, было немало убитых и раненых, Барбес был приговорен к смертной казни. В это время в королевской семье умерла принцесса и родился принц. Виктор Гюго, еще бывший тогда роялистом, составил в стихах просьбу о помиловании осужденного революционера:

Par votre ange envolée ainsi qu'une colombe!
Par ce royal enfant, doux et frêle roseau!
Grâce encore une fois! Grâce au nom de la tombe!
Grâce au nom du berceau!

Король, по непоэтичности своей натуры, с легким недоумением и даже не без испуга относился к людям, занимавшимся столь странным ремеслом, как писание стихов (знал,

что Виктор Гюго зарабатывает ими большие деньги). Кроме того, Людовик-Филипп был столь же добр, сколь хитер. Ни малейшей злобы против Барбеса он не чувствовал, — сам был в юности революционером, — что удивительного в том, что бесится молодой человек (вдобавок, как ему казалось, довольно глупый)? Король и сорокалетних людей считал зеленой молодежью. Он с полной готовностью смягчил участь осужденного.

В близость революции Людовик-Филипп верил почти так же мало, как в близость войны. После покушений на его жизнь он больше не пользовался омнибусом, не заходил в кофейни чокаться у стойки с рабочими и не очень верил в народную любовь. Король был потомком Людовика Святого, но едва ли не первый из всех французских монархов не считал себя Божьим помазанником и знал, что его высокое происхождение очень мало интересует французов: не те времена. Однако Франция при нем достигла материального благополучия, еще невиданного в истории, финансы и промышленность процветали, последний заем был заключен из 3,5 процентов. Правда, случались и кризисы, и скандалы, но кризисы, вопреки мнению ученых экономистов, были стихийным и непонятным явлением, как землетрясения, а скандалы были неизбежны при всяком строении: где деньги, там и скандал. Деньги, как ему казалось, были у всех, — какая же могла быть революция? Не верили в революцию и его друзья Ротшильды, — а уж, конечно, барон Джемс должен был это знать. Барбес и Бланки не слишком беспокоили короля. Министры у него были умные, учёные, скучные и все одни и те же: когда парламенту, газетам и ему самому слишком надоедал Гизо, король приглашал Тьера; когда надоедал Тьер, приглашал Гизо. В крайнем же случае — разумеется, только в самом крайнем и чрезвычайно неприятном — можно было бы предложить должность министра, если не Бланки, то Барбесу, — он остынет. Правда, Барбес считался фанатиком, но он был сыном состоятельного коммерсанта, имел хорошие средства и, наверное, не желал, чтобы их у него отобрали. За шестьдесят без малого лет до того, Людовик-Фи-

липп был на ты и не с такими революционерами. По старческой болтливости он любил рассказывать о прошлом, о блеске до-революционного версальского двора, который теперь помнил едва ли не он один, о революции, о том, как семнадцати лет отроду он вступил в якобинский клуб, о том, как Дантон однажды, в минуту откровенности, сказал ему: «Для вас работаем, молодой человек, для вас работаем, всё в конце концов дстанется вам!» Охотно рассказывал и об эмиграции, — как он в швейцарской школе давал уроки арифметики и иностранных языков и жил на два франка в день (в школе получал тысячу двести франков в год, — следовательно и тогда ухитрялся откладывать деньги).

Собственные денежные дела беспокоили короля гораздо больше. Цивильный лист ему был назначен в двенадцать миллионов франков в год, а он хотел получать восемнадцать. Враги, быть может преувеличивая, называли его богатейшим человеком Европы, но он отрицал это, кряхтел и постоянно обращался к парламенту за ассигновками в пользу своих многочисленных детей, — говорил, что они будут голодать. В своей наивной уверенности в том, что людям, всем людям, нужны только деньги, король, конечно, ошибался: не понимал, что, по общему душевному складу, он опередил рядового гражданина лет на сто; что не все дряхлые старики; что люди, особенно молодые, хотят, кроме денег, и новизны, своей роли в исторических драмах и развлечениях; что во Франции уже давно переворотов не было, и что молодым людям скучно.

Ошибка старый король и относительно всеобщего материального благополучия: деньги были далеко не у всех. Но у большого числа городских жителей денег было, действительно, много и потому всё в 1847 году, несмотря на очередной кризис, процветало, везде было необыкновенное оживление: инженеры строили железные дороги и пароходы, банкиры охотно вкладывали деньги в дела, театры были полны, меценаты покровительствовали художникам, ораторы оппозиции обличали нестерпимый гнёт. Анекдоты рассказывались обо всех, о короле, о принцах, о министрах, о людях искусства. Из писателей боль-

М. А Л Д А Н О В

ше всего говорили о Бальзаке. Смеясь рассказывали, что он тайком от кредиторов уезжает в Россию: хочет сделать еще последнюю, отчаянную попытку жениться на своей польской графине; не имея ни гроша, уже отделяет для нее с необычайной роскошью *инездышко*, в котором будет «три тысячи килограммов бронзы». Говорили, что он ложится спать в пять часов дня, спит до полуночи, затем работает семнадцать часов подряд. Об его трости в Париже больше не говорили, — надоело, да, собственно, и трость была ничем не замечательная; рассказывали о ней еще только в провинции, т. е. во всей остальной Европе, кроме Парижа.

Приблизительно таким был Париж того времени для людей настроенных сатирически и чрезмерно любивших анекдоты. На самом деле за тем, что было смешного, шла ничуть не смешная борьба за смелые, новые, благородные мысли. Люди в то время верили в свободу больше даже, чем в 1789 году, — так, как уже никогда позднее не верили. Они ценили жизнь, дорожили ею. И с ужасом приняли известие о том, что на Европу опять ползет *синяя болезнь*, оставившая столы страшное воспоминание: холера уже проникла с Востока в Россию. Несмотря на все успехи науки, врачи предупреждать вторжение этой болезни не умели, а лечили ее ваннами, теплым молоком, зельтерской водой и пьявками.

Писатели собирались, когда бывали богаты, в ресторанах Вери или Вефура, а когда денег было меньше, в Кафе Монмартр. Говорили — и с блеском говорили — о литературе, о политике. Ламартин был самым левым, Бальзак самым правым. Говорили, как все, и о холере. Говорили также (без блеска), о ком какая была рецензия, кто какой получил аванс, у кого какой тираж; издателей добрые писатели называли скрягами, а злые — разбойниками большой дороги.

Изредка появлялся в Кафе Монмартр невысокий человек в круглой шляпе, в застегнутом на все пуговицы сюртуке. Хотя он жил близко, приезжал всегда в извозчикей коляске и слезал с трудом. В кофейне все его знали. Это был знаменитый немецкий поэт, эмигрант Анри Эн. Состоявшие при нем поклонники

и поклонницы, светские дамы, нервные эмигранты, евреи и не евреи, называли его «умнейшим человеком на земле». Он же их ум, повидимому, расценивал невысоко, — об одном из них говорил, что это сумасшедший, но со светлыми промежутками: во время светлых промежутков он просто чрезвычайно глуп. Люди, давно не видевшие Гейне, отшатывались от него с ужасом; так он изменился, еще недавно было брюшко! Теперь прекрасное изможденное лицо его, с одним закрывающимся глазом и с другим полуоткрытым, было мертвенно бледно и порою дергалось не то от тика, не то от усмешки, которую все, точно говорившись, называли «мефистофельской». У него уже был один, легкий, удар, и поклонники шепотом сообщали, что жить ему осталось год-два (на самом деле он прожил дольше). Выставив вперед руку, он пробирался к столу писателей, поднимал рукой веко глаза и тому, в кого он всматривался, становилось не по себе от взгляда медленно умиравшего человека. Затем садился, заказывал устрицы, редиску, сотерн — и начинал говорить.

Несмотря на его акцент, французские писатели признавали Гейне парижанином и очень любили, особенно Бальзак, называвший его великим человеком. Боллер его причислял к тем немногочисленным «беднягам, которые составляют венец человечества». Говорил он порою превосходно. Теперь шутил и острил меньше прежнего и очень от этого выигрывал, несмотря на свое, действительно редкое, остроумие (Сэнт-Бев саркастически писал, что этот немец *слишком* остроумен для парижанина). Передовые французы спрашивали его о Германии и, вслед за Кинэ, высказывали надежду, что спящая красавица, наконец, проснеться, и хлынут из-за Рейна свободолюбивые мысли, песни, грезы. Он опять медленно поднимал двумя пальцами веко глаза и всматривался в говорившего. Затем подтверждал: да, проснеться, но гораздо лучше было бы этой красавице не просыпаться, ибо надо миру бояться ее гораздо больше, чем императора Николая. Россию же, к удивлению передовых людей, чрезвычайно хвалил и предсказывал ей огромное, необыкновенное будущее. Когда бывал в ударе, го-

ворил, что будут великие войны и революции, и будет затем во всем мире многомиллионное стадо овец, и будет его стричь какой-нибудь единственный пастырь, а овцы будут блеять все одинаково, и будет свобода в общей глупости, и равенство в общем невежестве, — кончится искусство, кончится литература, и никому не будет дозволяться писать хорошо, но каждому будет разрешено писать еще глупее, чем другие, — называться же все это будет каким-нибудь ученым словом вроде коммунизма. Передовые собеседники обиженно возражали, что немецкие коммунисты его горячие поклонники, — называли молодого Маркса, которого немного знали в Париже и который считался его другом. Он со скучкой хвалил ум и познания этого человека, признавал, что будущее может принадлежать его последователям, и затем угрюмо сравнивал себя с курицей, высижившей утят. Случалось, французские поэты просили его прочесть свои стихи. Он делал это очень редко. Читал по своему, как будто чрезвычайно просто, без того напева, с каким велел поэтам читать Расин; читал очень медленно, тихим голосом (но каждый слог был слышен), старые стихи и, беспомощно разводя руками, заканчивал:

Und nun ich mich gar säuberlich
Des tollen Tands entledge:
Noch immer elend fühl ich mich
Als spielt ich noch immer Komoedie.
Ach Gott! im Scherz und unbewusst
Sprach ich, was ich gefühlet.
Ich hab mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielet.

Слушатели, не понимавшие по-немецки, просили его перевести, — после чего наступало молчание. Быть может, иные думали, что эти стихи можно отнести и ко всей жизни Гейне, и что читает он так, как Шопен играет свой похоронный марш. Немецкий язык у французов восторга не вызывал. Сам же он называл этот язык самым прекрасным и поэтическим в мире; проклинал Германию и выражал желание быть похороненным

у себя на родине. Говорил, что ничего не поделаешь: он немец и национальный немецкий поэт, — его стихи в крови у всех немцев, кроме самых тупых. В этом, быть может, и не очень ошибался. Его поклонниками были Меттерних и, особенно, Бисмарк, говоривший, что, кроме книг Гёте, не было на немецком языке ничего равного произведениям Гейне. А через сто лет, при Гитлере, «Лорелей» переиздавалась с надписью «Неизвестного автора», и в пору оккупации Парижа на могилу Гейне приходили немецкие офицеры, правда лишь старики, лишь украдкой и пока не вышел приказ: не ходить.

II

Мій Київ...
Бойдан Жмельницький

По дорогам к Киеву были расставлены карантинные караулы, но холера в город проникла. Из предохранительных мер южно-русская медицина рекомендовала: носить шубу и кожаные перчатки, вытираясь уксусом, есть только мясное, пить много спиртного. Письма и посылки окуривались. Окуривался и весь город: на площадях сжигался навоз. Все больные желудком увозились в больницу, где были собраны городские цирюльники. Больным, первым делом, пускалась кровь; немногочисленные замученные врачи справиться с этим не могли. Власти отпускали цирюльникам водку бесплатно, и от их операций нередко умирали здоровые люди. Сами же они умирали почти поголовно. На простой народ холерная больница наводила ужас. По вечерам рано гасили огни и наглухо запирали ворота, чтобы не ворвались *фурманчики* и не увезли кого в холерной повозке. Простые люди пытались спастись от *тресосвицы* заговорами. Образованные думали, что помочь не может ничто, и старались шутить. Читались стишкі о лучшем лечении: «Возьми рассудку десять лотов, — Семь гранов травки доброты, — Двенадцать драхм состав покою, — Сто унций сердца чистоты, — Сотри всё это камнем веры — И порошок

сей от холеры — Сквозь сито совести просей». Кто-то пытался было пустить слух, будто травят народ поляки, но население вздору не верило, и холерных бунтов в Киеве в 1847 году не было. Люди, и богатые и бедные, умирали безропотно. Каждый день шли по городу погребальные процесии, чаще всего на Аскольдову Могилу, откуда открывался изумительный вид на Днепр и на заднепровскую даль. На кладбищах люди бодрились, а возвращаясь, вполголоса спрашивали друг друга: кто же следующий? Надписи делались трогательные, иногда, по старинному обычаю, в стихах, вроде: «О, злополучная холера — какого унесла ты кавалера!» — следовала краткая биография, порою тоже с рифмами.

Затем эпидемия стала слабеть, — по видимости, столь-же беспричинно, как и появилась, — поползла на запад, всем свой черед. В сентябре, в октябре еще умирало в день по сорок-пятьдесят человек. В ноябре стало выясняться: кончается, конечно! И тотчас все забыли отвратительную болезнь, с корчами, поносом, рвотой, посинелыми лицами. Началась жизнь, — давно в городе не жилось так весело. Каравулы еще стояли и по ночам перекликались с обходным, но знали, что их скоро снимут и за маленькое вознаграждение пропускали без трудностей кибитки и телеги.

Большой сезон открылся очень рано, еще до морозов. Обычно он в Киеве начинался позднее: со знаменитой ярмаркой, называвшейся «Контрактами». На нее съезжались не только купцы со всех концов России, но и помещики, великорусские, малорусские, польские, даже те, которые никаких контрактов заключать не предполагали. Ярмарка была перенесена в Киев приказом Павла I из какого-то другого города, и обычай на ней были очень старые, частью русские шестнадцатого века, частью польские, частью даже перешедшие с турецких рынков. Были ряды, серебряный, суконный, шелковый, меховой, ковёрный, ножевой, восточных ароматов. Всё продавалось очень дешево, — еще Михаил Литвин писал, что в Киеве щелк продаётся дешевле льна на Литве. Особенно славились сласти, варенье, пряники. Киевские купцы признавались иностранцами самыми

честными в России после псковских (худшими считались московские). Торговали преимущественно хохлы, но также карапы, евреи, армяне и греки. Как-то все уживались. Имперский *melting pot* работал хуже, чем в предыдущее царствование, неизмеримо хуже, чем в следующее, но работал.

Сглаживалась национальная рознь и в обществе. Коренные хозяева города вообще недолюбливали и великороссов, и поляков. С поляками были вековые исторические счеты. В домах кирпичных киевлян можно было услышать иронические словечки о «панах». Приглашая гостей к ломберному столу, хозяин благодушно говорил: «До брони, панове, до брони!..» За игрой люди ставили карбованцы «на алтарж ойцизны» или, признаваясь в опрометчивом ходе, поясняли: «Мондрый поляк по шкодзе». Так и нерасположение к великороссам выражалось преимущественно в разных словечках и поговорках: «С кацапом дружись, а за саблю держись», «От москаля хоть полы обрежь, да беги!», «Коли москаль скаже «сухо», поднимайся по самое ухо, бо вин бреше», «Мамо, чорт лезе в хату! — Дочка, абы не москаль!...» Да еще иногда пили в память Мазепы. В пору контрактов и это смягчалось, тем более, что в Киев иногда приезжали Разумовские, Кочубеи, Галаганы, о которых уже нельзя было и сказать, кто они: москали или украинцы. Сахарные заводы строили в губернии великороссы, украинцы, поляки, евреи, немцы, и в деловых отношениях никто с национальностью не считался. Политикой в Киеве интересовались мало. Бенкendorфа никак не оплакивали. Алексею Орлову никак не радовались. К действиям петербургского правительства относились иронически. Когда одновременно были заложены какой-то дворец и какой-то мост, остряки в Киеве так определяли разницу: «дворца мы не увидим, но его увидят наши дети; мост увидим мы, но наши дети его не увидят; отчета же в деньгах не увидит никто на земле». Впрочем, сходную шутку приписывали в Петербурге князю Меншикову. К западным странам ни малейшей враждебности не чувствовали; напротив — относились с большим интересом и уважением. Позднее патриотические куплеты Ленского: «...Где вам, западные цапли,

— до российского орла» в Киеве ничего не вызывали, кроме насмешек над сочинителем.

Перестройке и украшению древнего города способствовали вечные пожары. На них обычно, даже ночью, приезжал сам «Безрукий», — так в Киеве называли генерал-губернатора Бибикова, потерявшего руку в Бородинском сражении. При нем в городе шла годами перестройка. Центр переходил с Печерска в прежнюю Крещатикову долину. Там уже возвышался над другими домами двухэтажный почтамт и говорили, что скоро будет выстроен каким-то отчаянным человеком трехэтажный дом. Прежнее Кловское урочище уже называлось Липками, хотя великолепные липы главной аллеи давно были вырублены. Липки, особенно же Шелковичная, позднее Левашевская, улица, стали аристократической частью города. На Печерске, на Подоле, в Старом городе чуть не на каждом воротах висела дощечка с надписью «К слому», — владельцам разваливавшихся домов отводились бесплатно участки земли за Бессарабкой и у Золотых Ворот. Открывались все новые магазины, и чтобы никого не отталкивать в разноплеменном населении, владельцы часто составляли вывески на французском языке: «Magasin de братъя Литовы», «Magasin de Ривка», «Magasin de Грицько Просяниченко».

Большой весенний сезон открывался балом, который дворянство давало генерал-губернатору. Затем на город начинал литься золотой дождь. Богатые вельможи приезжали в Киев, захватив с собой боченки золота и серебра: хотя в городе уже существовало отделение государственного банка, помещики к нему относились недоверчиво. Деньги тратились очень быстро, особенно вследствие карточной игры. В польском обществе говорили: «Варшава танцует, Краков молится, Львов влюбляется, Вильна охотится, Киев играет в карты». Как-то, по вызову графа Левашева, приехала из Парижа французская труппа, но для нее публики оказалось недостаточно. Русские же спектакли пользовались большим успехом. Шел «Гамлет», сочинение г. Висковатого, подражание Шекспиру в стихах. Шел «Ревизор», с «Настоящим Ревизором», продолжением сочинения

г. Гоголя. Шли «Роберт-Дьявол», сочинение г.г. Скриба и Делавиня под музыку г. Мейербера, «Кремнев, русский солдат», народное представление с военными песнями и танцами, сочинение г. Русского Инвалида, «Никому кроме короля, или хлебопашец каштанового леса», сочинение г. Дона Франциска де Рохас, «Знаменитые Разбойники», большой балет, сочинение г. Дицло. Ставились «Двумужница», «Отелло», «Полковник старых времен», «Матушкина дочка, или суматоха на даче». Труппа была только одна, так что одна и та же любимица публики спасала своим кратким пением мятущуюся душу Роберта-Дьявола, декламировала куплеты «Смирно, женщины» и в венгерской хижине танцевала перед знаменитыми разбойниками. Перед бенефисами видные артисты и артистки объезжали помешников и купцов первой гильдии и оставляли им почетные, отпечатанные золотом на атласной бумаге, билеты. К купцам второй гильдии ездили редко, так как те были люди малообразованные, — кричали во время спектакля, когда хорошей девушки грозила опасность от злодея: «Не поддавайся, Маша!».

На ровных параллельных Крещатику улицах Липок тянулись одноэтажные дома, почти все деревянные: лес был очень дешев, да и жить в каменных домах считалось вредным для здоровья. В старом городе были площасти больше парижской “Place de la Concorde”, прекрасные церкви и монастыри, некоторые древнее Кёльнского Собора. Над Днепром и позади нового университета были лучшие в России бесконечные сады, — киевляне явственно говорили столичным жителям: «Да-с, это вам не Летний сад и не ваши московские огороды! Весь необыкновенный по красоте город именно *утопал* в зелени.

Люди ходили по Крещатику медленнее, чем петербуржцы по Невскому, а после обеда спали дольше, — торопиться здесь было уж совсем некуда. Непристойных слов употребляли, по сравнению с Великороссией, очень мало, но непристойных примет было достаточно. Кое-кто, как и в Великороссии, не ел картофеля, приписывая ему весьма странное происхождение. Ели же вообще и пили много. В Киеве не было таких богачей, как в Петербурге, но средний класс, в который уже входили и

так называемые разночинцы, жил, пожалуй, лучше, чем в столицах. На званых обедах не подавались сотни блюд, как у Орловых, Строгановых, Нессельроде, Всеиволожских, но десять-пятнадцать блюд подавалось везде. Гоголь, быть может, чуть злоупотреблял для *couleur locale* разными галушечками и пампушечками в Малороссии; в Киеве, во всяком случае, гастроonomия была более утонченная. Из Одессы привозились устрицы и кефаль. Белугу и стерлядь доставляли с Шексны, так как считалось, что волжская рыба, входя в Шексну, становится гораздо лучше. Порою даже привозилось из Беловежской пущи мясо зубров. Только в напитках Киев еще отставал от столиц. Шампанское, которым завоевал Елизавету Петровну и ее двор маркиз де ла Шетарди, распространялось по России медленно. В Киеве его подавали лишь в самых богатых домах. Пили больше вареный и ставленный мед, наливки, водку всех национальностей: русскую, кизлярку, горилку, пейсаховку. Сами варили пиво и держали его в боченках на дне колодцев. Свои колодцы были во многих домах. В другие же доставляли воду водовозы. Вопреки всем литературным традициям, они не были кривыми, не играли на бандуре и не пели «старинных казацких песен о Наливайко и Сагайдачном».

Гостеприимство было сказочное. За обедом после какого-нибудь десятого блюда хозяева приставали к гостю: «Верно, не вкусно? А то, может, вы нас не любите? Чем же мы вас обидели?» — и гость с готовностью ел одиннадцатое блюдо. Люди непьющие, *непейки*, доверием не пользовались и чуть даже не казались подозрительными: уж не шулер ли? Шулера в Киев, в пору контрактов, съезжались даже из за границы. Играли в банк, в вист, в ломбр, в квинтич. Устраивались частные и общественные балы. На них танцевали круглый польский, мазурку, французскую кадриль; были записные танцоры, учившиеся у самого Сосницкого: этот знаменитый петербургский актер, поляк по происхождению, считался лучшим танцором в России и давал уроки мазурки. Мылись казанским яичным мылом, а лет за двадцать до того появился и одеколон. По утрам ездили в *Минерашки* над Днепром и пили там *кислье*

воды. Многие дамы умели падать в обмороки *колохратности* и *Дидоны*, давно вышедшие из моды в столицах.

По вечерам на гуляньи в Минерашках почти всегда можно было увидеть осанистого человека в странном, похожем на халат, синем, с золотым шитьем, одеянии. На него, как на достопримечательность, киевляне показывали приезжим: «Да, тот самый: убийца Лермонтова!» Лицо у Мартынова было скорбно-таинственное. Гулял он всегда с дамой тоже таинственного вида. Один шалый киевский студент, весельчак и силач, держал пари, что на гуляньи поцелует эту даму. Пари он выиграл, к большому удовольствию «Безрукого», который очень недолюбливал скорбно-таинственного человека. Студенты вообще жили в Киеве весело, учились мало, переполняли кондитерскую Беккера и Английскую гостинницу, играли на биллиарде и в карты, — кто-то из них прославился тем, что дочиста обыграл и оставил без гроша заезжего Франца Листа. Весело жили и офицеры, чиновники, профессора.

Быт был вековой, отстоявшийся, уютно-провинциальный, — такой быт, о котором с грустью и любовью позднее вспоминают люди, прожившие бурную жизнь. И все-же где-то почти незаметно шло так называемое «брожение». Либерализм молодежи, правда, сказывался преимущественно в том, что студенты, рискуя карцером, выходили на улицу в табельные дни не в парадном мундире, или без треуголки, или без шпаги. Но были также маленькие революционные кружки, особенно польские, — дело одного кружка кончилось трагически, отдачей в солдаты и даже каторжными работами. Было украинское общество Кирилла и Мефодия. Среди отсталого еврейского населения читались воззвания короля Зигфрида-Юстуса I: какой-то немецкий купец из Герлитаца, христианин, Фридрих Густав Зейфарт, по непонятным причинам объявил себя сионистом, еврейским королем, освободителем Израиля и выдавал дипломы за услуги по предстоявшему завоеванию Палестины.

Большинство же пятидесятитысячного населения города, вообще ничем таким не интересовалось. Люди только разводили руками, если что всплывало на поверхность, особенно если

начиналось следственное дело. В общем, все любили Киев и с гордостью передавали слухи, будто император хочет сделать его третьей столицей. Охотно живали в нем и великороссы. «Как хорош, как хорош Киев, как я люблю этот город!» — писал позднее Иван Аксаков.

III

There was in him a mixture of that disease, the nature of which eludes the most minute enquiry though the effects are well known to be a weariness of life, an unconcern about those things which agitate the greater part of mankind, and a general sensation of gloomy wretchedness*).

Boswell

На одной из параллельных Крещатику улиц, в Липках жила семья Лейденов. Дом был деревянный, одноэтажный, се-ро-зеленый, без колонн и без мезонина, без модных затей и без подделки под русский ампир прошлого царствования. Хозяин говорил, что стилями не интересуется: было бы просто, удобно, просторно, прочно, а тогда стиль неизменно приходит сам собой. Дом был в десять комнат. Из них половина выходила в сад с беседкой, за которым следовал отделенный забором двор с конюшней и сараем. В доме была неуютная огромная зала в четыре окна на улицу, с двумя стеклянными зеркалами в черных рамках с золочеными, крытыми шелком стульями по стенам, со стоявшим наискось пианофорте. Чтобы сделать эту комнату менее неуютной, у более узкой стены были поставлены диван, стол и два кресла, да еще одно удобное кресло стояло в углу у печки. К зале примыкала столовая, тоже большая, но поменьше и потемнее, с двумя боковыми окнами, выходивши-

² «У него была та болезнь, природа которой ускользает от самого тщательного исследования. Но ее следствия хорошо известны: усталость от жизни, равнодушие к тому, что волнует громадное большинство людей, и общее чувство мрачной подавленности».

ми в узкий *черный* проезд от улицы ко двору. Были еще две парадные комнаты. В них хозяин устроил свой рабочий кабинет и библиотеку. В низких тяжелых, дубовых шкафах были книги на русском, французском, немецком, английском и итальянском языках. Было даже несколько латинских книг. Лейден недурно знал латинский язык и порою, встречаясь в польских домах с ксендзами, приводил общество в почтительное удивление, кое-как объясняясь с ними по-латыни. Иногда цитировал на память стихи из «Георгик» Виргилия и из «De re rustica» Колумеллы, о котором в Киеве не слышали даже ученые ксендзы. По содержанию книги в библиотеке были самые разные. Один шкаф был занят книгами философскими и мистическими. Немало было трудов о смерти и загробной жизни. Были сочинения Сведенборга. Были и совсем странные книги, как предсказания славного 106-летнего швейцарского старца Мартына Задеки, — того самого, которого читала пушкинская Татьяна. Книги были большей частью в хороших переплетах с кожаными корешками и углами; но было и немало и непереплетенных; их вид всегда немного раздражал хозяина, — он мечтал о том, чтобы всё было переплетено; вдобавок, терпеть не мог разрезывать книги. Однако, Лейден был скорее человеком расчетливым; у него отводилось четыреста рублей в год на библиотеку, он из этого бюджета не выходил. Кроме главной библиотеки дома, в которую никто кроме хозяина не заглядывал, были еще этажерки с книгами у его жены и дочери, и это создавало, как говорил их друг Тятечка, «культурность, уют и независимость». У Ольги Ивановны впрочем книг было немного: Священное Писание, сочинения Жуковского и старые русские романы, те, что она читала в дни своей юности и любила перечитывать. У Лили были Лермонтов, Марлинский, Бальзак, Жорж Занд, Дюма. Некоторые книги ее библиотеки были в России запрещены; ей приносил их в подарок Тятечка, к большой ее гордости и к некоторому неудовольствию матери.

Лейден был человек высокого роста, седой и плешивый. В последние два-три года стал немного сутуловат; это вышло как будто случайно: вдруг неизвестно зачем попробовал хо-

дить чуть сгорбившись, — как будто так легче, — а затем вошло в привычку. Жена огорчалась и советовала ему поменьше сидеть за письменным столом. Он считался одним из самых образованных людей в Киеве, хотя в новом университете св. Владимира было уже немало профессоров, известных на всю Россию. Но и профессора, бывавшие у него в доме, и другие знакомые находили, что ум у него странный: ему бы родиться лет на сто раньше. Говорили даже, что он в молодости знал мистика Олешкевича и будто бы имел отношение к попыткам возродить орден тамплиеров. Старожилы, смеясь, рассказывали, что на этот предмет в доме у пана Пиотровского были черные гробовые покровы с галунами, а у пана Фалинского даже и скелеты. Впрочем, старожилы о Лейдене присоединяли. Недоброжелатели же иронически замечали, что мистика мистикой, а дела делами: «В жизни этот ваш Лейден человек весьма практический». По специальности он был агрономом, учился в Москве и в Вене, знал толк в технике, машинах, заводских строениях. Часто бывал консультантом (этого слова тогда не было в употреблении) при постройке сахарных заводов. Фамилия у него была неопределенная по корню. Он не уверял, что он шотландец или испанец, а сухо замечал, что не знает своего происхождения и не интересуется.

— Чорт вас знает, кто вы такие! — говорил ему Тятечка. — Есть Лейдены и немцы, и голландцы, и англичане, и кого только нет. А корень Ley или Lew, быть может, даже иудейский. То-то ты был так дружен с Виером.

— Происхожу по прямой линии от Адама. Надеюсь, что через Авеля, а не через Кaina, но и в этом я не уверен. Вот ты другое дело: ты наверное потомок ааратского царя Арменака, — отвечал Лейден со свойственной ему мрачной шутливостью. Тятечка огрызаясь, но очень благодушно.

Отец Лейдена был преподавателем языков в Московском университете благородном пансионе, затем стал профессором университета и оставил сыну немалые сбережения. Сам он их значительно увеличил и теперь был состоятельным человеком. Помещиком никогда не был, никаких крестьян не имел,

но купил за бесценок много земли в Херсонской губернии для устройства больших садов и для новых культур. Все его деловые мысли были связаны с землей; однако и в земледелии его интересовало только новое: что-ж всё рожь да пшеница!

Свою землю он обрабатывал вольнонаемным трудом, и в киевском их доме прислуга была тоже вольнонаемная. Он даже говорил слугам вы, чего никто не делал. Взглядов держался гуманных, но политикой мало интересовался. — «Мои политические взгляды очень простые: я хочу, чтобы меня оставили в покое и только!» — объяснял он киевским либералам. Был вообще человек угрюмый и необщительный. Звали его Константином Платоновичем; он говорил, что имя-отчество у него не вяжется с фамилией и вообще не подходит: «Платоном может называться митрополит или большой барин, а мой отец был скромный учитель и никак не голубой кровви».

В семейной жизни он был счастлив. Семья была очень дружная. Жена его Ольга Ивановна, в отличие от него, была чисто-русского происхождения. У нее были средства, и это было ему, в пору женитьбы, не совсем приятно: по своей гордости и подозрительности опасался, как бы не сказали, что он женился из расчета. Как-то раз за бутылкой вина неожиданно сказал Тятеньке (он редко говорил об интимных делах), будто никогда в жизни не изменял жене. Тятенька только изумленно поднял брови и подумал: «А не врешь ли ты, пан писарь? А если и не врешь, то нечем, братец, особенно хвастать: дурак ты!» У Лейденов была дочь, умершая от дифтерита. После ее смерти, не скоро, родилась другая, которой теперь шел семнадцатый год. Константин Платонович говорил, что работает и бережет деньги только для Лили: «Нам с женой ничего не нужно». — «Понятное дело, но работаешь ты, брат, слишком много», — отвечал Тятенька, — «ещё хватит какая-нибудь мерехлюндия, у тебя к ней наклонность. Вот я честь честью, в свое время, спокойно умру от кондрашки: хорошо, быстро, отец умер через два дня». — «Что вы такое говорите, Тятенька!» — недовольно замечала Ольга Ивановна, — «но вы в самом деле слишком много едите и пьете. Я сто раз вам

говорила, что»... — «Зачем-же, Олечка милая, говорить в сто первый? Точно я сам не знаю. Только мне без еды и вина жизнь не в жизнь». Ольга Ивановна делала вид, будто сердится, но так как и Тятенька, и они были совершенно здоровы, то эти разговоры неприятны не были.

В киевском обществе Лейдена не любили; отдавали должное его учености и порядочности, но считали замкнутым, гордым и странным. Часто говорили, что он «человек с заскоками», хотя это выражение почти ничего не означало, да собственно могло относиться к кому угодно. После успеха «Мертвых Душ», шутники называли Константина Платоновича «херсонским помещиком».

Была у Лейдена еще особенность, несколько раздражавшая людей: не будучи трусом, он был чрезвычайно мнителен, очень заботился о своем здоровье и слишком часто говорил о нем со знакомыми, даже с теми, которым оно было совершенно не интересно. Начал чинить свое тело раньше, чем обычно начинают люди. На ночном столике у него всегда лежала старая, потрепанная книга «Врачебное вештествословие или Фармакология». Он ее читал с улыбкой, но читал: «Может, именно в старину лечили не хуже, чем теперь?» Выписывал газету «Друг Здравия», любил лечиться, хотя и подозрительно относился к большинству врачей, зубы чистил табаком, что считалось очень полезным для здоровья, имел правила относительно того, что надо есть и в каком количестве, сколько надо ежедневно гулять, как одеваться в жару, как обвязывать шею в стужу. Во всех комнатах дома были термометры, а в кабинете на стене висел ртутный барометр. Термометрами Ольга Ивановна еще интересовалась, а в барометр верила плохо: погоды все равно не предскажешь, будет какая будет. Когда муж объяснял ей, что такое Торричелиева пустота, она слушала благоговейно, но подавляла зевок. Служалось, ложась спать, Константин Платонович подходил к зеркальному шкафу и с отвращением смотрел на себя: «Да, понемногу разрушается тело и как становится с годами чудовищно безобразно!» — думал он и в эти минуты удивлялся, что жена может еще его

любить. В обычное время принимал любовь Ольги Ивановны, как нечто само собой разумеющееся и пересмотру не подлежащее. «Впрочем, ведь и я ее люблю».

В Киеве со смехом и недоумением рассказывали, что Лейден купается каждый день. «Просто корчит английского лорда! Да и английские лорды верно этого не делают, разве уж какие-либо отчаянные» — говорили в городе. Бани в доме Лейденов не было, но была ванна. Константин Платонович выписал ее из Вены; высокий круглый котел с печью внизу, трубы и краны были устроены по его рисунку; киевские мастера наладили это не без труда, по непривычке к столь сложным сооружениям. Дворник Никифор каждое утро растапливал печь. Тятечка с возмущением утверждала, что Лейден губит свое здоровье: — «Во всей России верно только три или четыре психопата купаются каждый день! Впрочем, ты и есть психопат!» — говорил он, немного щеголяя этим еще мало распространенным словом. Пользовалась ванной и Лия и гордилась ею: ванны не было даже у генерал-губернатора. Ольга Ивановна, ездившая каждую субботу в баню, старалась в ванную и не заглядывать; в первое время опасалась, как бы котел не взорвался, и умоляла мужа быть осторожнее. — «Никакого взрыва быть не может. Сопротивляемость стен в шесть раз больше необходимого», — уверенно отвечал Лейден. Температура воды у него всегда бывала определенная в зависимости от времени года, — он ее тоже тщательно проверял.

Завтракал он всегда один: жена и дочь еще спали. Ольге Ивановне было совестно, что она не выходит к утреннему завтраку мужа, но и спать ей хотелось и, главное, ей казалось, что Константин Платонович предпочитает бывать по утрам в одиночестве. Утренним завтраком он интересовался больше, чем обедом. «Почему люди постоянно меняют карту обеда, а утренний завтрак у них всегда один и тот же?» — спрашивал он гастронома Тятечку. — «Это ты спроси у Киры Мокиевича», — неизменно отвечал Тятечка. — «Я вот постоянно меняю: пью то кофе, то чай, то шоколад. Если чай, то к нему съедаю три еле сваренных яичных желтка, белка терпеть не

могу, и четверть фунта свежей икры на черном хлебе: нигде в мире нет такого прекрасного черного хлеба как тот, который пекут у нас на Лютеранской улице» (Константин Платонович обычно говорил грамматически правильно построенными предложениями). Тятенька слушал с интересом, соглашался относительно киевского хлеба, но защищал и достоинства московских калачей. — «А насчет белка ты врешь, да и что ж это, три желтка и четверть фунта икры! Этого и ребенку мало!» — «Нет, брат, есть надо поменьше, и вообще незачем придавать значение всему материальному». — «Всему материальному!» — сердито передразнивал Тятенька, — «тогда и икры не жри! Она, брат, икра, материальная и даже два рубли фунт». Впрочем, Тятенька знал, что Лейден в самом деле не «материальный» человек. Он и работал гораздо больше, чем другие киевляне. В последние же годы все читал и читал ученые книги, преимущественно на немецком языке. А раз как-то, застав своего друга за чтением Гегеля, Тятенька и совсем проникся почтением: «Я дальше первой страницы никогда пойти не мог, и пропади он пропадом, твой Гегель. Да он и так пропал от холеры!»

IV

Зачем я теперь скажу про человека худо?
Лучше я должен сказать про человека хорошо.

Островский

Жена Лейдена, в отличие от него, пользовалась в городе общими симпатиями. По наружности она и теперь, в пятьдесят лет, оставалась, как говорили мужчины, «русской красавицей». Она была чрезвычайно добра. Любила ее даже прислуha, несмотря на то, что Ольга Ивановна, прекрасная хозяйка, держала под ключем сахар, кофе, чай, вина. Впрочем, делала это не из бережливости, а для того, чтобы не вводить людей в соблазн и в грех. Одевалась она скромно, хотя могла брать у мужа сколько угодно денег. Заказывала себе два платья в год, или же одно платье и еще какое-нибудь манто. Раз в три-четы-

ре года покупала на контрактах мех, всегда дорогой, и неизменно объясняла: «Это ведь вещь вечная, после меня Лиленька будет носить, или же подарю ей к свадьбе». Лише заказывалось всего гораздо больше. В высшее киевское общество Лейдены нисколько не старались проникнуть, но когда их звали туда, Ольга Ивановна старалась — тоже для Лили — запомнить туалеты богатых дам.

Весь смысл жизни Ольги Ивановны был в муже и в дочери, особенно в муже: дочь скоро выйдет замуж и уедет, а с мужем они будут неразлучны до могилы. Тятенька прочел ей как-то из бывшего у него списка знаменитый разговор протопопа Аввакума с женой. Слова «Марковна, до самая смерти» умилили Ольгу Ивановну до слез, хотя в их жизни с мужем решительно никаких мук не было. Так же умилял ее британский брачный обряд, — то, что жених и невеста обещают делить жизнь «в лучшем и в худшем, пока не разлучит нас смерть». Иногда с ужасом думала: «что, если он меня переживет! как он будет жить без меня?» (Константин Платонович думал порою то же самое). Ольга Ивановна всячески старалась устроить мужу спокойное, приятное существование и с великим огорчением видела, что это в последние годы ей не удается. Прежде он за чаем часто рассказывал ей о плантациях, о семенах, о новых открытиях, она слушала и старалась запомнить. Всё это не очень ее интересовало, но хорошая жена должна входить в умственные интересы мужа. В делах понимала не много, однако достаточно, чтобы кое-как заменять Константина Платоновича в пору его отлучек. В противоположность ему, новшества она не любила. В землю же верила твердо: земля не разорит, останется, позднее перейдет к Лиленьке. В философские интересы мужа Ольга Ивановна входить не могла, не сочувствовала им и почему-то их боялась: ей казалось, что именно из за них устроить мужу приятную жизнь становится с каждым годом всё труднее. Между тем Ольга Ивановна не любила думать о неприятном и почти никогда не думала. Избегала разговоров о болезнях, а когда мужу или дочери случалось хворать, говорила с ними так, точно они всё выдумывают и

совершенно здоровы. Знала, что такая манера обращаться с больными часто оказывает на них полезное действие. Разумеется, при этом окружала их самым заботливым уходом. Ночью по несколько раз вставала и на цыпочках подкрадывалась к комнате дочери, если Лиля бывала простужена. «Спит ли? Не накрыть ли ее второй периной?»

Она недурно играла на пианофонте; музыку любила преимущественно простую: романсы Николая Титова и другие, русские и малороссийские народные песни. Пела очень мило, не конфузясь и не ломаясь. Музыке Ольга Ивановна научилась с детских лет, но вообще учили ее в детстве мало, хотя она принадлежала к состоятельной южно-русской семье Яценко. По французски говорила плохо, не стыдилась этого в отличие от других дам, однако думала, что это нехорошо и что следовало бы научиться. Лейден, обладавший художественным воображением, иногда старался себе представить, кем мог бы быть тот или другой его знакомый, если бы родился в иной обстановке, в иное время. Но Ольгу Ивановну он мог себе представить только такой, какой она была, когда и кем бы она ни родилась. Главной и редчайшей ее особенностью, кроме доброты, была совершенная естественность и простота во всем. *Просто* она и верила. Посты соблюдала не строго, в церковь иногда по воскресеньям не ходила, но едва ли было много людей более религиозных, чем она. Сказывались ее убеждения и в том, что она никогда ни о ком не злословила; гостям, особенно дамам, даже скучновато было с ней разговаривать, и они считали ее глупенькой. Любовь к злословию совершенно одинаково совместима в человеке и с умом, и с глупостью. Ольга Ивановна знала это, знала и то, что очень добрых людей обычно считают неумными, но сама себе отвечала: «Может быть, именно глупые так считают». Она дурой не была, не была лишена остроумия и наблюдательности, шутить любила, однако, когда при ней дурно и резко говорили о знакомых, особенно о людях, только что покинувших гостиную, Ольга Ивановна упорно, без улыбки, молчала. Ей в таких случаях казалось, что она и молчанием принимает участие в нехорошем деле.

Благодаря милому нраву хозяйки, ее редкому гостеприимству, хорошему столу и винам, приемы у Лейденов славились во всем Киеве. Правда, немного вредил их успеху характер Константина Платоновича. Обычно, после последнего сладкого блюда, когда гости шли пить кофе в залу, он незаметно исчезал, уходил даже не в кабинет, а в свою спальню, там ложился на диван, не сняв фрака (к огорчению Ольги Ивановны, которая для таких дней приготовляла ему самое лучшее, только что выглаженное платье). Там он оставался долго и с тоской, почти с ненавистью, спрашивал себя, когда-же уйдут гости. Из гостиной доносились звуки музыки. В отличие от настоящих певцов, Ольга Ивановна охотно пела и тотчас после еды. «Нет, доктор, нет, не приходи! Твоя наука не поможет!..» — доносилось в спальню. Лейден думал, что этот романс он верно слышал уже раз сто, что прежде Оля его пела лучше, и что ему, Лейдену, нет никакого, ни малейшего дела до того, придет ли к кому-то этот доктор и поможет ли его наука. Знал также, что Тятенька бурно потребует повторения и что все-таки через четверть часа придется опять ненадолго выйти к гостям.

К обеду можно было являться и без приглашения, хотя хозяйка предпочитала, чтобы ее предупреждали. Повара у Лейденов не было, но была отличная кухарка Ульяна, которую Ольга Ивановна очень любила. Константин Платонович, на-против, совершенно Ульяну не выносил. «Господи, какая идиотка!» — сердито говорил он. — «Ничуть не идиотка, а стряпает прекрасно», — виноватым тоном, но твердо отвечала Ольга Ивановна. — «Вы оба совершенны правы», — примирительно говорил Тятенька, — «Ульяна мастерица первого ранга, но это истинное чудо, так как она действительно глупа как сивый мерин. Между тем для такого дела, как кухня, ум вещь необходимая. Очень глупый человек не может быть ничем, не может быть и хорошим поваром». — «И вдобавок честна она так, что другой такой не найти», — заканчивала Ольга Ивановна победоносно. Она и сама умела стряпать; иногда часами работала с Ульяной на кухне, когда готовилось осо-

бенно важное и интересное блюдо. Константин Платонович только пожимал плечами. Он не имел ни малейшего предубеждения против какого бы то ни было труда, но ему просто это казалось странным. «Да, что же, когда я это люблю?» — оправдывалась Ольга Ивановна. — «Вот мыть посуду терпеть не могу, это уж всегда делает Ульяна, разве что я после воскресного обеда помогу. А стряпать очень интересно».

О ней тоже злословили гораздо меньше, чем о других дамах. Только люди, гордившиеся злым языком, говорили: «Что правда, то правда: мухи не обидит, но если-б наш херсонский помещик да приударил за какой-нибудь юбкой, то юбку Олечка верно и очень обидела бы». На что не-злые языки возражали: «Ну, уж какая там юбка! Кроме своей колумеллы он никем не интересуется». — «Как знать, как знать? В тихом омуте черти водятся», — говорили злые языки, без убеждения, но с таким видом, будто им было кое-что об этом известно.

Спала Ольга Ивановна отдельно от мужа. Так было гораздо удобнее обоим. Константин Платонович никогда не ложился до полуночи, еще довольно долго читал в кровати при свете канделябра с тремя восковыми свечами, вставал в седьмом часу: ему было вполне достаточно пяти часов сна в сутки. Жена его ложилась обычно раньше, вставала позже. Она с марта до ноября спала при отворенных окнах и всегда при спущенных шторах. Он и летом окна затворял, чтобы не простудиться, а шторы поднимал: не любил просыпаться в темной комнате, говорил, что утром темнота напоминает ему о гробе и приводит в дурное настроение на весь день. Ольга Ивановна слушала это с досадой и только пожимала плечами: не видела никакого сходства между гробом и комнатой со спущенными шторами и даже не могла это принимать всерьез, как ни благоговела перед умом и ученостью мужа. «Между мамой и папой полная *incompatibilité d'humeur!*» — весело объясняла друзьям莉莉, всегда вставлявшая в речь французские слова, — «им собственно давно бы пора развестись». — «Ну, вздор, вечно глупости», — замечала при этом мать, не любившая таких шуток.

Теперь у Ольги Ивановны было тяжелое время. Осенью муж поднес ей сюрприз: сообщил, что ему по делам совершенно необходимо побывать в Турции и в Италии. Он и прежде нередко ездил заграницу. Был даже как-то в Париже для переговоров со строительной фирмой Дерон и Кайль: покупал там машины для себя и для сахарных заводов графа Алексея Бобринского. Граф, очень влиятельный человек, создал в России свеклосахарную промышленность вопреки упорному сопротивлению министра финансов Канкрина, считавшегося гениальным финансистом. Он добился разрешения на поездку во Францию для Константина Платоновича, которого очень ценил и которому много раз безуспешно предлагал у себя должности с большим жалованьем.

На этот раз Лейден отправлялся заграницу по собственным делам и на собственные деньги. Цель его поездки была довольно необычная: он хотел изучить южную растительность, приобрести деревья и семена для своих новых плантаций. В частности хотел насадить в Херсонской губернии платаны, что обещало немалые выгоды. Эти деревья очень ценились как строительный материал для флота, — хорошо выдерживали морскую воду. Кроме того из их коры можно было изготавливать разные лекарства, и стоило построить фармацевтический завод. Помимо выгоды, дело соблазняло Лейдена новизной; если он не обзавелся собственным сахарным заводом, то больше потому, что теперь сахарные заводы строили все.

Холера в Киеве *почти* кончилась. Всё же Лейдену было страшно оставлять жену и дочь. Но и независимо от этого, душевное состояние Константина Платоновича в последний год становилось с каждым днем всё тяжелее, притом без всякой видимой причины. Он кое-как с большим трудом старался скрывать это от своих. Однако вопрос о платанах и заводе настоятельно требовал решения до начала весны и откладывать поездку было невозможно.

Вещи мужа укладывала Ольга Ивановна, делавшая это очень хорошо. Только его книги и дорожную аптеку укладывал он сам: она относилась подозрительно и к его книгам, и к его

лекарствам. Работы было дня на три. Константин Платонович впрочем нетерпеливо говорил, что всё можно сделать в полчаса, и, нервно расхаживая по комнате, давал жене указания. — «Да, да, ты мог бы сделать в полчаса, ты такой способный, но я не могу, я неспособная», — говорила она, вздыхая. Впрочем, знала, что ее работа в сущности самообман: после первой же остановки всё придет в совершенный беспорядок, а к концу поездки (хотя кое-что будет растеряно) места не хватит, муж где-нибудь купит новый сундук, именно такой, какого не нужно покупать, побросает вещи как попало, не обвернет обуви толстой бумагой, туалетные склянки уложит так, что они непременно разобьются и красный элексир прольется на новый, безсовестно смятый костюм. «Что-ж, он такой и другим быть не может», — как всегда в таких случаях, думала Ольга Ивановна. В исполнении этой своей очередной обязанности она находила грустное удовлетворение. За два дня до отъезда чемоданы уже стояли на полу в кабинете готовые, но не перевязанные ремнями, — вдруг в последнюю минуту о чем-либо вспомнишь или, наоборот, придется что-либо вытаскивать. На следующий день начал заполняться последний ящик, назвавшийся по старинному погребцом. В кожаные карманы, по сторонам от скорока и колбас, были вставлены и пригнаны заложенными бумажками, чтобы не шатались, четыре бутылки венгерского вина. К большому огорчению жены, Константин Платонович пил в последнее время всё больше. Переезд из Киева в Одессу считался трудным: на станциях, в ямах, ничего нельзя было достать кроме водки. «Пусть уж лучше пьет хорошее вино». В последнее же утро, перед самым отъездом, Ольга Ивановна собиралась положить в погребец, в мешочеках, кульках, картонках, *рогалики*, черный хлеб, еще горячий из булочной, масло и два фунта бекетовской икры прямо со льда. Подумала было, чтобы развеселить его в Константинополе, не положить ли в один из чемоданов старинную книгу, перешедшую к ней от матери: «Опасной спор или сколько женщины могут полагаться на верность мужчин», — но не положила: «Наверное где-нибудь потерял бы».

V

He never sat up when he could lie down; and
never stood when he could sit*).

O. Henry.

Тятенька сидел у них в кабинете накануне отъезда Лейдена, в одиннадцатом часу вечера. В этот день обедало человек шесть. Другие гости давно ушли. Он остался, как ближайший друг дома. Клятвенно обещал Константину Платоновичу бывать во время его отсутствия каждый день и «за всем следить». Впрочем, Тятенька и без того бывал в доме Лейденов чрезвычайно часто. Он был как бы членом семьи. Но теперь Ольга Ивановна была не очень довольна, что он засиделся: в последний вечер мог бы оставить их пораньше.

Все, даже не близкие, люди называли его Тятенькой или реже Тятей. Это прозвище ему когда-то дали из за какого-то малоинтересного, давно забытого происшествия; едва ли теперь и друзья могли бы объяснить, почему именно его так прозвали. Но прозвище к нему подходило, и главное, совершенно к нему не шло его необычное, чуждое русскому уху и даже трудно-произносимое имя-отчество. Тятенька был старый холостяк, чуть молодившийся, необыкновенно благодушный, жизнерадостный армянин. Он перепробовал в жизни много профессий, немало поездил по свету, видел знаменитейших людей мира, — именно только видел, ибо ни с кем знаком не был. Когда-то в царскосельском парке он встретил Екатерину II, и она, в ответ на его низкий поклон, сказала ему: «Здравствуйте, сударь». Из этого люди заключали, что, если Тятенька был уже «сударем» при скончавшейся полвека тому назад императрице, то верно ему не шестьдесят девять лет, как он говорил, а побольше. В 1814 году он, не то как чиновник по провиантской части, не то как поставщик, сопровождал русскую армию, застрял в Париже по случайности, —

*) «Он никогда не сидел, когда можно было лежать, и никогда не стоял, когда можно было сидеть».

скорее же потому, что ему очень хотелось там пожить, и видел Наполеона в момент его возвращения с острова Эльбы. Рассказ об этой сцене был, как говорила Лиля, «коронным номером» Тятеньки. Впрочем, он видел императора еще и раньше, в Эрфурте, куда тоже как-то попал. Тятенька очень любил рассказывать о своих путешествиях, в частности, о том, что юн в разных странах ел и пил. Хранил карты блюд и вин из тех заграничных ресторанов, где они уже были, и любил показывать меню Верги и Роше-де-Канкаль. Впрочем, всегда добавлял, что в России едят еще лучше: — «Что-ж, когда они до шашлыка не додумались!». Однако видел он в Париже не только рестораны; бывал и в театрах, и на лекциях, и даже в парламенте. Был еще чрезвычайно бодр. Волосы он красил, так что его, несмотря на его не-военную фигуру, на улицах, случалось, принимали за генерала, почему-то гуляющего в штатском платье (военным предписывалось красить седины). Это ему льстило. Офицером он никогда не был, но имел каким-то образом медаль за взятие Парижа и по торжественным случаям надевал ее.

Тятенька давно осел в Киеве. У него был кабинет для чтения, называвшийся «Аптекой Души». При кабинете была книжная и писчебумажная торговля, одна из лучших на всю южную Россию. Названия он не выдумал: кабинеты для чтения со сходными названиями существовали и в других местах. Он даже и обставил свой магазин так, как тогда обставлялись аптеки: на вывеске были изображены лев и единорог. Благодаря опыту и связям Тятеньки, торговля в «Аптеке души» шла отлично. Он имел небольшое состояние. Происходил он из бедной семьи, со вздохом сообщал, что остался последний в роде, и добавлял: «Ожитворен средь небогатого люда. Мал бех в братии моей и юнейший в доме отца моего, и многому бех в жизни соглядатаем». Читал почти с одинаковым удовольствием и превосходные, и плохие книги, — не только потому, что не очень знал толк: находил много поучительного и в плохих книгах. Чтение у него стало такой же привычкой, как водка перед обедом или сон после обеда: он и засыпал

всегда с книгой или с ведомостями. Знал на память много стихов и любил их цитировать (обычно перевирал). Заграницей и в Петербурге он проводил часы в музеях, в картинных галереях, всё изучал, многое помнил, кое-что даже записывал; непонятно было, для чего он всё это делает (как впрочем, и множество других людей): ни одной своей мысли это у него не вызывало. По делам своей торговли он часто ездил в Гамбург, в Берлин. Немцев почитал за порядок и отчаянно ругал за еду. Любил повторять присказки какого-то немца, вроде “*Frish ins Leben hinein!*” или “*Kein Leichtsinn, aber einen leichten Sinn*”.

Так как Тятенька был человек хорошо воспитанный и остроумный, да и торговля у него была благородная, — не какие-нибудь сапоги, а книги, — то его принимали в хороших домах, звали — правда, лишь на большие приемы — к гражданскому губернатору Фундуклею и даже иногда к генерал-губернатору. Он, как и Лейден, нисколько за этим не горялся, хотя, в отличие от Константина Платоновича, обиделся бы, если-бы совсем не звали.

Жил он, как почти все киевляне, не принадлежавшие к «простому народу», в собственном доме, — в подольной части города, недалеко от Днепра. Дом был всего в четыре комнаты, но тоже с садом, двором, беседкой, конюшней и сараем. На всех восьми окнах стояли горшки с цветами, покрытые кисейными занавесками. Полы были некрашеные, ковры рваные и дешевые; обои, не наклеенные, а прибитые гвоздями, кое-где углом отваливались вниз. Тятенька легко мог бы иметь то, что было у других: не очень дорогую обстановку, сносно подделывающуюся под дорогую. Но это его не интересовало, и ему и думать не хотелось о покупках, ремонте, чистке, переделках. Впрочем, у него было несколько не очень дурных картин, а на полках в столовой стояла старинная дорогая посуда. Он ее и называл как-то по старинному: штофа, штопка, фляша, збаночек, раstrуханчик, пуздерко, так что гости не всегда понимали. Его «Аптека Души» находилась довольно далеко, на Крещатике. Тятенька ездил туда в своей обитой

синим сафьяном бричке (неправильно называл ее «бидкою»), проверял счета, просматривал новые книги, давал общие указания главному приказчику, которого называл управляющим. Трудом себя Тяте́нька не угнетал: как Людовик XV, находил, что работать в день один час человеку совершенно достаточно. Вставал он с рассветом, выпивал несколько огромных чашек кофе, варившегося «по польски» в молоке, съедал густо намазанную маслом булку в фунт весом. В десять часов завтракал, еду предпочитал простую, — подавались ветчина, икра, гусиный полоток, борщ с сушеными карасями, зразы с кашей или жаркое по гусарски, сочни с сыром и сметаной, а к ним кальмусовка, брусликовский гольдвассер, старый мед. В два часа он обедал еще гораздо плотнее, хотя обычно говорил старухе-ключнице: «Ох, что-то не обедается», — когда не говорил: «К завтраку еду, а к обеду домой приеду». Днем пил чай с бутербродами, паштетами, бабками. Вечером ужинал в гостях «как Бог пошлет», но бывал он обычно в таких домах, где Бог посыпал хороший ужин. За едой особенно ссыпал прибаутками. Вместо «выпьем» говорил «зашибем муху» или «задавим буканда», с умоляющим выражением просил хозяйку «уж не обнести его чарочкой», — она изумленно-обиженно вскрикивала от такого предположения, — а шипучее вино называл «стаможенным квасом», — в пограничных городах шампанское продавалось по рублю бутылка. Любил поиграть в карты и за игрой изумлял тех, кто этого еще не слышал, сообщением, что колода из пятидесяти двух карт допускает шестьсот тридцать пять миллиардов комбинаций, — называл даже совершенно точную цифру.

Несмотря на свое обжорство, Тяте́нька особенно толст не был, так что дородные люди, евшие вдвое меньше его, недоумевали и завидовали. И только короткая шея и толстые синие жилы на его лбу вызывали печальные мысли. Сам он никогда о смерти и о болезнях не думал, да и было некогда, хотя он почти ничего не делал. Из развлечений любил рыбную ловлю или, скорее, притворялся, что любит: был и для нее слишком ленив. Иногда один уезжал на Труханов остров и

щупал там раков, — по словам же друзей, покупал их на обратном пути на Подоле, хотя врал реже большинства людей: и не любил, и не умел.

Не менее раза в месяц он приглашал к себе на обед всех, у кого ужинал, и тогда их закармливали. Поздно вечером, когда гости бурно возражали, что больше не могут ни есть, ни пить, готовил жженку и при этом обычно декламировал: «Когда могущественный ром — С плодами сладостей Мессины, — С немногого сахара, с вином — Переработанный огнем — Лился в стаканы исполнены», и не упускал случая добавить: «Вот и великоросс Языков, а русского языка не знает: «С немногого сахара»! А впрочем именно потому, что великоросс, и не церемонится: *его* язык». Иногда Тятенька, фальшивя, затягивал песни, чаще всего малороссийские. Он любил говорить по украински, хотя говорил не слишком правильно. Был дружен с Костомаровым; тот был такой же веселый, жизнерадостный человек, как он сам. Шевченко же недолюбливал и за слишком резкие стихи, и за то, что тот предпочитал ром всем напиткам: Тятенька стоял за коньяк. Гостили у него часто и великороссы, и украинцы, иногда живали неделями. Он и их кормил точно на убой, но иногда проговаривался: «Гость что рыба: три дни хорош, а потом портится».

Одевался он небрежно, носил с утра довольно потертый фрак с перламутровыми пуговицами, фуляры, широкие клетчатые брюки без штрипок, — штиришки почему-то ненавидел и презирал. Жилеты носил необычайно яркие, иногда, как в старину, сразу по два, и на цепочке от часов у него всегда уютно звенели огромные брелоки. От него и вообще веяло уютом. За дамами он ухаживал по стариинному. После пятой или шестой рюмки говорил соседкам, вздыхая, что-либо весьма галантное, тоже обычно по малороссийски, вроде «Купидон пронизав у мне наскрізь сердце стрілою». После десятой же рюмки, случалось, становился даже игрив и, глядя на шею соседки, спрашивал ее: «А что у вас здесь, прелестная Солоха?» Дамы делали вид, что сердятся, но были довольны. На Тятеньку, по его благодушию, люди вообще не сердились.

Впрочем, вольные цитаты он позволял себе лишь редко, да и в этих случаях не забывался; с барышнями же их никогда не допускал. Непристойные анекдоты очень любил, но исключительно в мужском обществе. Писал он и мадrigалы в стихах, и даже эпиграммы, при чем, несмотря на свою доброту, следовал лучшим образцам: чем была грубее и бесстыднее эпиграмма (даже о dame), тем считалось лучше. Шутки же предпочитал старинные. Так порою устраивал какой-нибудь Софье Васильевне сюрприз: помещал в губернских ведомостях или в календаре сообщение о том, что на небосклоне внезапно появилась новая красавица-комета, которую в честь богини мудрости назвали Софией; но в Испании духовенство опасается, как бы грешники не обоготворили ее и не переименовали в Диану или в Венеру. Эти, не им выдуманные, шутки имели большой успех. И только Лейден мрачно говорил: «А все-таки болван ты порядочный! Пора бы тебе о душе подумать». Тятенька не обижался и отвечал: «О душе думай о своей. А что болван, то не скажи: я много тебя умнее».

Он имел репутацию порядочного и очень доброго человека. Даже не близким людям давал взаймы деньги, разумеется без процентов, назад не требовал или требовал без настойчивости. Только книги давал неохотно, записывал и предупреждал: «Если кто зачитывает книгу, то я его считаю последним подлецом, хуже отцеубийцы», — люди иногда после этого с испугом от книги отказывались. Тятенька хорошо знал два иностранных языка, получал популярную тогда “Augsburger Zeitung” и знал имена правителей в главных странах Европы.

При своих книжных связях он доставал и запрещенную литературу. Называл себя «партизаном представительного правления», правительство втихомолку поругивал и, например, шутливо говорил «департамент подлостей и вздоров», поясняя: «департамент податей и сборов». В молодости ненавидел Наполеона за деспотизм и рассказывал, что когда-то назвал свою собаку Наполеонкой. Однако, после встречи с императором, простил его и собаку назвал Талейранкой. В

литературе он от моды отставал, Пушкина, случалось, поругивал, когда им уже опять принято было восхищаться, и одобрительно вспоминал ходившие в давнее время стишки: «И Пушкин стал нам скучен, — И Пушкин надоел, — И стих его не звучен, — И гений охладел»... Зато еще не всеми признанного Гоголя обожал и вечно цитировал. Дипломатом или светским человеком Тятечка никогда не был, но, как позднее несколько поколений дипломатов и светских людей, находил чрезвычайно остроумными «Сенсации госпожи Курдюковой» Ивана Мятлева, которого, как придворные в Зимнем Дворце, называл Ишкой, хотя отроду его не видел. По русски он говорил без малейшего акцента и чуть по старинному, — воспользовался при Екатерине II. Писал «естли», «щастье» и даже произносил эти слова не совсем так, как люди следующих поколений. Новых писателей часто ругал за слог, за новшества, за то, что вместо «всё-таки» говорят «всё-же», вместо «не достает» — «не хватает», вместо «вероподобно» — «вероятно». Впрочем, и сам слово «вероподобно» теперь уже произносил редко, как бы с вызовом, и, наряду со старинными выражениями, употреблял новые, так что выходило не очень складно. Точно так же он, употребляя слова, перешедшие в русский язык из французского, род им придавал произвольный, иногда правильный, как в словах «монограмм», «корветта», иногда и нет. Вставлял и простонародные выражения, часто говорил «быдто» или даже «быдто-шта», хотя во Владимире никогда не жил. Употреблял и польские, и украинские слова.

Тятечка собирал разные рукописи и даже читал их. Обожал Киев, прекрасно знал его прошлое, мог долго и интересно рассказывать о Золотых Воротах, об Оскольдовой могиле, о Крещатицком ущелье близь Государева Сада, где князь Владимир крестил своих сыновей, о Выдубецком или Выдубаевском монастыре, на месте которого *выдыбал* из Днепра брошенный в реку идол Перуна. Знал в молодости стариков, которые своими глазами видели, как над Крещатиком в воздухе пронесся змей с огневыми глазами и с длинным

гремучим хвостом. Это рассказывал со смехом. Тятечка был вольнодумец, и, как многие вольнодумцы, знал духовную литературу. Любил озадачивать людей вопросами о малопонятных выражениях в молитвенных книгах. Знал, чем киевское богослужение отличается от великорусского и как случилось, что в церквях Киева в такие-то дни вместо трезвона бьют только в один колокол, вместо серебряных лампад вешают медные, а вместо белых свечей зажигают зеленые. Ризницу же Киево-Печерской Лавры он знал не хуже ее хранителей; водил туда приезжих и безошибочно называл им исторические панагии, золотые сосуды Самойловича и княгини Гагариной, золотопоставной крест, пожертвованный Мазепой.

С Лейденом Тятечка часто разговаривал о таинственных предметах. По существу они не слишком его интересовали. Но в разговорах о загробной жизни было что-то уютное. Обычно Тятечка, в меру поспорив за чаем, соглашался, что «во всем этом что-то есть», и прибавлял: «Есть, Горацио, много такого на свете»... Шекспир незадолго до того вышел в переводе Кетчера прозой, так что перевирать было удобно.

VI

*Je mets tout mon plaisir à être triste...
Mais, au fond, cher lecteur, je ne sais pas ce
que je suis: bon, méchant, spirituel, sot. Ce que
je sais parfaitement, ce sont les choses qui me
font peine ou plaisir, que je désire ou que je
hais*).*

Stendhal

Они и теперь говорили об ученых предметах. Говорил больше Тятечка. Лейден отвечал ему кратко и рассеянно. На письменном столе стояли бутылка и два стакана. Найти для

* «Всё мое удовольствие в том, чтобы быть печальным. Но в сущности я, дорогой читатель, не знаю, что я такое: добр ли я или зол, умен или глуп. Зато я знаю отлично, что мне доставляет горечь и что удовольствие, знаю, чего я желаю и что ненавижу».

них тут место между книгами, бумагами, тетрадками было не так просто. Несмотря на деловитость Лейдена, у него на столе всегда был хаос; он сам с трудом находил то, что ему было нужно. Ольга Ивановна только вздыхала; и ей, и прислуге строго запрещалось прикасаться к бумагам письменного стола. Иногда в грустные минуты она думала, что этот беспорядок отражает хаос мыслей в голове ее мужа.

— Ну, хорошо, так объясни-ка мне следующее: в книге пророка Даниила задается вопрос: «Когда будет конец сих дивных происшествий?» А муж в льняной одежде отвечает: «К концу времени и времен и полувремени». Что это означает? — спросил Тятенька, подливая себе наливки. Впрочем, он тоже говорил без увлечения. То, что Лейден называл его «безграничной потребностью в чесании языка», было за день удовлетворено. Тятеньке давно хотелось на перины. Он засиделся, желая развлечь хозяев. Ему и в голову не приходило, что он где-либо может быть в тягость: так была прочна — да и заслужена — его репутация души общества. И уж совсем он не думал, что может иногда, правда чрезвычайно редко, тяготить семью Лейденов. К этой семье он чувствовал нежную любовь; такие семьи бывают у большинства одиноких старых холостяков.

— Не знаю, брось. Лучше скажи, где же мне квартировать в Константинополе? Впрочем, ты там был при царе Горохе.

— В самом конце царствования царя Гороха. Еще до того, как султан Магомет, царство ему небесное, не гной его косточки, вырезал янычар. Теперь лежу у себя на полатях и отлично делаю. Человек, особенно пожилой, должен сидеть дома. Ни к чему, братец мой, путешествия. Всего всё равно не перевидаешь. Кой чорт тебя несет в Турцию? Сидел бы во своясах. Хочешь работать, писчий стол отличный, книг видимо невидимо. Но в тебе братец, есть авантюристическая жилка.

— Жилка, может, и есть. Мой родственник по матери, Штааль, был, кажется, совершенный авантюрист. Принимал участие в убийстве Павла... Да на этот раз жилка ни при чем.

Я еду, как ты знаешь, просто по делу, а что лучше бы не ездить, в этом ты, быть может, прав. Предчувствия у меня самые мрачные.

— Какой вздор несешь! Предчувствия! — проворчал Тянька. — Против предчувствий нет ничего лучше хорошего вина. В Турции ты, братец, пей Тенедос: очень недурное красное вино и дешевое; в мое время я там платил на наши деньги что-то вроде двадцати копеек за бутылку. Теперь верно цены поднялись. Водка их, дуэтика, это не Бог знает что, но и ее пить можно. Всякую водку можно и должно пить. А о предчувствиях и думать не смей, стыдно. И свою философию вообще брось. Вот ты и теперь сидишь в кресле с видом Мария на развалинах Карфагена. Брось, брат! И Карфаген твой, слава Богу, цел и благополучен. Жена и дочь у тебя одно очарование. Денег достаточно, дом полная чаша. Чего тебе еще?

— У тебя счастливый характер. Ты верно о смерти никогда и не думаешь. Мне многие говорили, что никогда не думают, и говорили почему-то с гордостью. Людям нашего с тобой возраста, в сущности, решительно нечего больше ждать в жизни. Чего мне ждать? Ну, Лиленька, Бог даст, выйдет замуж и, как говорится, будет счастлива. Я этого слова и употреблять не могу иначе как в кавычках. Ну, создам большую плантацию, новый завод. А дальше что?.. Нет, правду говорит Гамлет в своем монологе «Быть иль не быть». Всё там правда, кроме одного: «Быть может, видеть сны», “*Perhaps to dream*”. Нет, это соображение, конечно, никого от самоубийства не останавливало, ведь скорее это в пользу самоубийства: значит, еще что-то будешь видеть. Что угодно могло остановить, но не это. И никак не мысль, будто это грех! По моему, тут не только нет «греха», а единственный достойный вид смерти это именно самоубийство.

— Какой ты вздор говоришь! Слушать гадко!

— Я говорю правду. Важно сознание, что ухожу когда хочу и как хочу, сам выбираю и срок, и способ. Не нужно мне отвратительных болезней. Ведь все болезни и безобразны, и постыдны своим безобразием. Без мучений ухожу, и прежде

того времени, когда стану глупеть... Греки признавали счастливцами тех, кто умирал рано. Жрица Аргоса торопилась в свой храм, но что-то случилось с лошадьми. Тогда ее два сына впряженлись в колесницу и доставили ее во время. Она помолилась Гере, чтобы та вознаградила ее детей за такую добродетель. Гера исполнила ее желание: в ту же ночь оба сына умерли.

— Дуры они были обе: и жрица, и Гера, уж это неотменно! — сказал Тятенька. — И плюнь ты на идиотские мифы! Уж есть ли и самоубийства коснулся, то, значит, братец, у тебя ум за разум зашел. Настроение души у тебя в последнее время такое, будто ты живешь в больнице чахоточных и потерял там в весе полпуда. Брось ты Геру, пей венгерское и ухаживай за милыми женщинами. Куда бы хорошо сделал!.. А то, засохнешь, брат от мыслей-то. Французский филозоф Фонтенелль заспорил о чем-то с какой-то дамой-красоткой, она взъярилась и приложила руку к его сердцу: «Здесь, говорит, сударь, у вас тоже мозги!» Добро бы еще, ежели бы мыслишки твои были путные... А то, право, они у тебя как у семи греческих мудрецов, уж если ты о греках заговорил. Помнишь, они свою мудрость записали в Дельфийском храме: Биас сказал: «Большинство людей дурны», Клеовул сказал: «Соблюдай во всем меру», еще кто-то сказал: «Всё обдумывай»... Ишь какую нашли мудрецы мудрость! — смеясь, сказал Тятенька. — Брось, брат, свою филозофию!

— Нет, не могу бросить. Буду уж думать до конца моих дней, — сказал Лейден. Ему впрочем было совестно говорить со своим другом о смерти. Тятеньке было семьдесят четыре года и его апоплексический вид показывал, что жить ему недолго. «Как вообще находят силу жить эти глубокие старики? Ведь ясно же: еще год-два и обчелся. Мне *всё-таки* осталось верно гораздо больше», — думал Константин Платонович. — «И вообще эти наши споры бесполезны. В спорах люди часто говорят первое, что им приходит в голову, иногда и такое, что вовсе не соответствует их действительным взглядам: подумали бы, сказали бы совершенно иное».

Вот и иссохнешь, — сказал гневно Тяте́нька. — А кстати с твоей стороны премило говорить: «нашего с тобой возраста». Я старее тебя на десять лет. Только ведь, братец мой, будешь ты о смерти думать или не будешь, это ровно ничего не меняет: с думами умрешь, и без дум умрешь. Смерть сама обо мне думает, авось ли малость подождет. А я тихонько сижу и делаю вид, будто не замечаю. А то сам перехожу в наступление и смеюсь над ней: подождешь, подождешь, я тебе скажу, когда будет время: как только хватит кондрашка, сейчас же приходи, голубушка, приходи поскорее, чего уж теперь ждать. А потом Ведомости напечатают некрологию: замечательный был человек, царство ему небесное, редкий ум, чуткое сердце, помогал вдовам и сиротам, таких людей больше не будет. Мастера газетчики врать. Я бы для них заказал готовый листок, могли бы только проставлять имя-отчество и фамилию.

— Не нов, Тяте́нька, твой подход к смерти. У тебя слишком трезвый и земной склад ума. Иначе ты и не называл бы всего этого «филозофией». Конечно, и то, что я говорю не так уж оригинально. Но для каждого из нас это в известный момент из теории превращается в муку жизни. Вопрос ведь не в том, что придется умирать, а важно *как* умрешь.

— «Земной склад ума!» — сердито передразнил Тяте́нька. — У меня склад ума правильный: против непременяемого не спорить. Ни с природой, ни с царем я не борюсь. Запиши это своеручно, я ведь знаю, что ты ведешь дневник, как барышня. Лиля тоже ведет. И то, что ты говоришь о смерти, это действительно старо как мир. Тут, братец, никто ничего нового не скажет. А как этакий там Бальзак начнет описывать, так ничего, кроме каких-нибудь синих ногтей у покойника или покойницы, не выдумает. А доморошенный Бальзак еще добавит о своих чувствах: «Ах, я так страдал над ее гробом! Ах, этот запах ладана!... Ах, все в моей жизни посерело, точно солнце скрылось!» Всё это правда, и я очень люблю правду, только ты мне подавай правду повеселее. И притом что же: вот у тебя другой склад ума, философский, а ты все же едешь

закупать платаны, и землицы прикупил, — съязвил Тяте́нька и тотчас смягчился. — И куда хорошо сделал, что прикупил. Надо жить земными интересами. Их, слава тебе, Господи, достаточно.

— Так-то оно так, да у меня и для земных интересов в конец испортился характер, — сказал со вздохом Лейден. — Едва ли меня кто в Киеве считает несчастным человеком. — Он бросил вопросительный взгляд на Тяте́ньку, который только пожал плечами. — Но я-то знаю, что я несчастен.

— А ты лечись, — проворчал Тяте́нька.

— Заснуть без впрыскивания морфином не могу. Некуда уйти от тяжелых мыслей... И еще странно. Теренций сказал: «*Nomo sum, humani nihil a me alienum puto:* я человек и ничто человеческое мне не кажется чуждым». А вот я тоже человек, но с каждым днем всё более удивляюсь, сколь многое мне чуждо. Большинство наук «алиенум», и музыка «алиенум», и живопись. Собственно и литература «алиенум», хотя, мне кажется, в ней у меня верный взгляд.

— Кстати, об литературе, — сказал Тяте́нька. — Заходил ко мне в «Аптеку» покупать бумагу управляющий Верховни. Говорил, что туда скоро пожалует Бальзак к своей «графине». Они ее там называют графиней, хотя она такая же графиня, как мы с тобой.

— Не совсем такая же: по рождению она в самом деле графиня Ржевуская.

— По рождению да, да кто же считает титулы дам по рождению? А Ганский никакой не граф. Она хитрая, как все Ржевуские. Поляки говорят: «Надо жить с Чарторыйскими, пить с Радзивиллами, есть с Огинскими и разговаривать с Ржевускими». Умная баба, а чтоб сказать красивая, то нет, не бардzo, проще пана... Что-ж, у Бальзака, слышно, нет ни гроша за душой. Ты его любишь?

— Терпеть не могу. Он подхалим. Такие, к несчастью, есть среди писателей, философов, артистов! А я больше всего на свете ненавижу подобострастие и логоню за связями. К нам в Киев приезжают люди из деревень, и я по лицам их

вижу, что их единственная цель в жизни: обзавестись домом, хорошо его обставить и затем принимать в нем каких-нибудь господ с положением. Это, по моему, самые ничтожные и пошлые из людей... Обо мне говорят, что я расчетлив. Это вздор, я просто независим. Мне самому ничего не нужно. Если я откладываю деньги, то это чтобы Лиля не знала нужды и ее унижений.

Тятечка слушал с видом означавшим: «Незачем врать, и незачем также доказывать, что дважды два четыре».

— Наполеон тоже сказал, что ему ничего не нужно кроме коня и трех франков в день. Только врал он, Наполеон. Ох, желтицы великолепная вещь, — сказал Тятечка, вздыхая. Он так называл золотые монеты.

— И ведь сам же Бальзак где-то говорит, что талант есть создание моральное: по дешевке великим человеком не станешь, он не peut être grand homme à bon marché. Вот это верно. Нет, я у него больше люблю его фантастические вещи. Как и у Пушкина больше всего люблю «Пиковую Даму».

— Пустая штука, — сказал Тятечка. — Как раз этот самый Бальзак говорит, что естьли иностранный писатель по-желает вывести немца, то он непременно назовет его Германом. Так твой Пушкин позднее и сделал.

— Уж Бальзак-то бы лучше молчал об этом вопросе. Нельзя было бы на заказ придумывать более неудачные иностранные имена, чем это делает он. У него русские аристократы, помнится, носят фамилии князей Галактионов, князей Нарциковых и далее в том же роде.

— Хоть бы у какого русского знакомого спросил! --- сказал, смеясь, Тятечка. — Легкомысленный человек. Нет, он с твоим Пушкиным равнозначителен: первый сорт из второго сорта. Настоящий гений — Гоголь. Он их всех гораздо превосходнее.

— Не говори мне об этом тупом крепостнике! После его «Переписки с друзьями» я о нем слышать не хочу. Читал просто с отвращением!

— Ну, что-ж, ошибка большого писателя, — сказал смущенно Тятечка. — Он, слышно, и болен.

— Самый замечательный писатель нашего времени, если хочешь знать, Гофман.

— Не люблю: не умеет изображать женщин. Кстати, я в Питере познакомился прошлого года с начинающим писателем Тургеневым. С тем, что написал поэму «Поп».

— Не слышал. Где она появилась?

— Ну, брат, она нигде не появилась и никогда не появится. Я в списке читал. Хочешь, дам тебе? Только не затеряй.

— Нет, я до таких поэм не охотник. Верно, «сатира»? Терпеть не могу сатириков.

— Тогда прочти в первой книге «Современника» его же рассказ «Хорь и Калиныч». Недурно. Так вот, брат, этот самый Тургенев, или он, кажется, Тургенев-Лутовинов, говорил при мне, что все русские писатели совершенно не умеют писать женщин.

— И Пушкин не умеет?

— Значит, и твой Пушкин не умеет. Нешто его Лиза на что-нибудь похожа? Или даже Мария Кочубей?

— Да уж всё-таки получше женщин твоего Гоголя.

— Не учи рыбу плавать, — сказал Тятечка наставительно, хотя сам критиковал известных писателей.

В комнату вошла Ольга Ивановна. Она незаметно бросила взгляд на почти опорожненную бутылку. Затем села рядом с мужем и взяла его за руку.

— Всё вы спорите! Кто кого побеждает?

— Я, конечно, — ответил Тятечка. — Твой сейчас уйдет в кусты. И отыдоша посрамлен.

— Уж будто? — заступилась она за мужа обиженно. — Да о чём это?

— О смерти. Есть, Олеся, загробная жизнь или нет?

— Разумеется, есть, — убежденно ответила Ольга Ивановна. Она не любила этих разговоров, хотя замечала, что они размягчают душу даже у неверующих людей.

— Все народы признают существование загробной жизни, — подтвердил Лейден. — Особенно глубоко поставлен этот вопрос у греков. И не только у Платона. Большая глубина и в суде Эака, Миноса и Радаманта.

— Да ведь они были язычники, — сказала Ольга Ивановна и оглянулась на мужа, догадавшись, что замечание вышло неудачное. Он подавил зевок. — По моему, лучше думать обо всем этом возможно меньше.

— Вот и я говорю, — сказал Тятенька. — Да его не переумиши.

— Повторяю, так делают почти все. Это единственный легкий выход, все остальные трудные. А какой там может быть оптимизм, какое жизнерадостное понимание мира, когда существует смерть? Вот и я слишком часто болтаю о пустяках, а жить, быть может, осталось недолго. Для чего же я родился?

— Для того, чтобы чесать язык, — ответил Тятенька. Конечно, ты Киша Мокиевич. Родился, ну и родился. Для чего рождается лягушка? Разница лишь в том, что ты проживешь сто лет, а лягушка, скажем, десять дней. Могло бы быть и обратное: люди жили бы несколько дней, тогда, брат, никаких Шекспиров бы не было: за десять дней «Гамлета» не напишешь, — сказал Тятенька и подумал что, помимо невозможности создания «Гамлета», жить десять дней было бы странно: даже поесть как следует не успеешь.

— Вот и видно, что ты не изучал естественных наук: лягушки живут долго.

— Ах, какие там лягушки! Ни причем тут лягушки! — сказала Ольга Ивановна, одинаково недовольная словами и мужа, и Тятеньки. — Вот он жалуется, что ему тяжело жить. Всем тяжело. Ты думаешь, мне легко вести дом?

— Он будет жить сто лет, сначала нас всех замучит, а затем всех нас и похоронит, — поспешно вставил Тятенька, признавший не совсем удачным и второе замечание Ольги Ивановны. Он считал ее не глупой, по своему думающей

женщиной. «Что-то она нынче не в ударе», — подумал он с сожалением. — Только уж что-то быстро он стал у тебя, Оленька, лысеть. Смотри, как ему Бог за добродетель привил лица.

— Уж будто так полысел? — тревожно спросил Лейден.
— Ну, да что-ж, годы... Я вступил в тот возраст, когда у каждого человека начинается пора смертей. Не его собственной, так друзей и близких.

— Грех так говорить! — сказала испуганно Ольга Ивановна.

— Не только грех, но это просто глупо! Весь этот вздор несут твои доктора! У какого нового болвана ты на днях лечился? — спросил Тятечка. Сам он врачей терпеть не мог и почти никогда их к себе не звал, даже в гости. Боялся, что они запретят ему есть и пить вдоволь. Если же случалось вызывать в крайнем случае врача, и тот ему действительно это запрещал, Тятечка чрезвычайно сожалел об истраченных трех рублях и думал, что на эти деньги мог бы купить, например, две бутылки отличного вина. Предписаниям же не следовал, а друзьям, наставившим на посещении врача, говорил: «Пусть он идет ко всем чертям!». Это его отношение к болезням благотворно действовало и на людей мнительных.

— Да, я *так* это сказал, — поспешил поправиться Лейден. — К счастью, ты и Лиленька совершенно здоровы. Но как вообще не думать о *выходах*? Их есть пять или шесть, я и людей по тому делю, как они относятся к вопросу о загробной жизни.

— Тут и вопроса никакого нет, — сказала Ольга Ивановна. — Загробная жизнь есть, и сомневаться в этом большой грех. А главное, не надо каркать. Я и так волнуюсь, что ты уезжаешь, а тут еще такие разговоры и мрачные предчувствия!

— Да я *тебе* не говорил, что у меня мрачные предчувствия.

— А я догадалась. Я тебя наизусть знаю.

— Чего же волноваться, что я уезжаю? Я часто уезжал.

В Киеве холера кончилась, но кто его знает, вдруг, не дай Господи, появится там, где ты будешь! В Константинополе верно всегда холера?

— Холера-морбус, — сказал Тятечка, — появилась в Европе в первый раз лишь после Наполеоновских войн. Теперь она к нам приходит уже в третий раз, и ученые сделали свои выводы. Установлено, что она распространяется вдоль больших дорог по пути следования чумаков. Так как на Востоке люди путешествуют медленно, то едва ли она может прийти в Константинополь скоро.

— Установлено? Как же это могли установить?

— Наблюдениями и статистикой.

— Бальзак сказал: “*La statistique est l'enfantillage des hommes d'Etat modernes*”. Он умен, этого я не отрицаю.

— Лиля бредит Бальзаком, — сказала Ольга Ивановна. Я сама его очень люблю, — тотчас добавила она. В суждениях об искусстве большой уверенности не чувствовала.

— Какие первые симптомы холеры, ты не помнишь, Тятечка?

— При азиатской морбус ломота, холод и жажда. Через несколько часов судороги в ногах, в желудке, затем рвота с пеной, икотка, понос и эти самые синие ногти.

— Спаси Бог! — сказала, побледнев, Ольга Ивановна. — Первым делом, если о чем-нибудь таком услышишь, беги и лучше всего прямо домой! Дела подождут.

— Натощак жри хлеб с чесноком и пей дегтярную воду. А запивай эту дрянь чаркой водки. Если найдешь полынную или зверобой, лучше всего, да не найдешь, тогда пей простяж. И перво-наперво в случае чего пошли за рудометом, кровь пусти.

— Ну, ладно... А это верно, будто Константинополь так красив?

— Издали очень красив. Прямо как на виде у Айвазовского: и тебе восход солнца, и тебе заход солнца, и все цвета радуги. Когда подъезжаешь с моря, думаешь, что попал в рай. А потом видишь, что в этом раю целые кварталы это сплошной

клоак. Улицы кривые, грязь неимоверная, ходить в этом аде по каменным лестницам нет хуже. Чтобы не отравиться, ешь там только в самых дорогих местах и пей как следует.

— В этом его и убеждать не надо, не беспокойтесь, — сказала Ольга Ивановна. — А как по вашему, Тятенька, войны быть не может?

— Не скажу, — ответил Тятенька. Несмотря на то, что Лейден так долго жил в Киеве, это выражение, означавшее «не знаю», все еще резало ему слух. — Может, война будет, а может, войны не будет. Все заграничные поляки стоят за войну с нами (Тятенька говорил «полякИ» с ударением на последнем слоге, и это не нравилось Константину Платоновичу). — Вот верно и твой Ян Виер хочет войны.

— Все не все, — хмуро ответил Лейден. — А Ян и не очень заграничный, и даже не совсем поляк. Виеры не то из евреев, не то из голландцев. Ян легальный и приезжал в Россию, ты отлично это знаешь. И я его очень люблю, он мне почти как сын! — с вызовом в тоне добавил он. Ольга Ивановна вздохнула.

— Да люби его на здоровье, я ровно ничего худого о нем и не говорю, — ответил Тятенька, налив себе в бокал остаток вина. — Естьли он и хочет войны, то верно чтобы стать этаким Косцюшкой, проше пана. Будешь ему из заграницы писать, скажи ему мой поклон... И это делает тебе честь, что ты всегда заступаешься и за друзей, и за сыновей друзей, и за внуков друзей. А о смерти говори поменьше, а то всем надоест слушать. У одного немца медленно умирала жена. Всё жаловалась, что скоро умрет, а между прочим ела и пила вполне исправно, как и ты. Надоела мужу именно смертельно. И вот, доктор ему сказал, что у нее начинается агония, а она как раз попросила дать ей малины со сливками. Муж развесил и сказал ей: «*Jetzt wird nicht gegessen, jetzt wird gestorben*».

Ольга Ивановна сердито махнула рукой. Дверь с легким шумом отворилась и на пороге появилась Ульяна, огромная женщина с лицом, действительно не выражавшим большого

ума. В руке у нее был зажженный огарок. Она делала страшные знаки барыне, из которых можно было бы заключить, будто только что случилось большое несчастье. Впрочем, все в доме знали, что это ничего страшного не значит: так она иногда появлялась на пороге столовой в дни больших обедов, и обычно оказывалось, что соус не совсем удался или что нужно бы еще прибавить варенья к пирожному. Что-то такое оказалось и теперь, — хотела спросить, не приготовить ли для барина несколько крутых яиц в дорогу. Лейден с досадой покал плечами. Ольга Ивановна вышла и, оценив предложение кухарки, утвердила его. Возвращаться в гостиную ей не хотелось: слишком скучный был разговор. А главное, нужно было подать Лиле в кровать бутерброд и пирожное. Так повелось с давних времен: это скрашивало жизнь.

На кольце у Ольги Ивановны было не менее пятнадцати ключей. Она тотчас нашла нужный, всё в хозяйстве ей было известно до мельчайших подробностей, она замечала, если кто-либо передвигал стул в комнате. Ольга Ивановна отворила правое верхнее отделение буфета, достала всё необходимое, приготовила два бутерброда с икрой, намазав предварительно маслом булочки, нарочно для Лили оставленные в буфете. Достала пирожное, переменила в графине отварную воду, поставила всё на небольшой поднос, тоже специально предназначенный для ужинов дочери, и понесла в ее комнату. — «Ох, балуешь ты, девчонку!» — говорил Тятенька. — «Что она в кровати закусывает, люблю, да могла бы и сама о себе позаботиться, ручки авось не отвалились бы». — «Где уж там ей, и ничего она не нашла бы», — отвечала Ольга Ивановна. На самом деле Лиле было особенно уютно оттого, что всё ей приносила мать, да Ольга Ивановна и себе не хотела отказывать в этом удовольствии. С подносом в руке она прошла через неосвещенный корridor в боковое крыло дома, где были комнаты, выходившие окнами в сад. Споткнувшись в темноте не могла бы, так хорошо знала каждый уголок в своем доме.

VII

Спи — еще зарею
Холодно и рано;
Звезды за горою
Блещут средь тумана.
Петухи недавно
В третий раз пропели;
С колокольни плавно
Звуки пролетели;
Дышут лип верхушки
Негою отрадной,
А углы подушки
Влагою прохладной.

Фем

Родители не стесняли дочь. Константин Платонович в ее воспитание почти не вмешивался. Им ведала Ольга Ивановна. Она и вообще вела всё в доме, дипломатически притворяясь, будто никакой власти не имеет. Строилось ее влияние преимущественно на том, что мужу было скучно с ней спорить. Ольге Ивановне большие всего хотелось, чтобы дочь сохранила навсегда самые радостные воспоминания о родительском доме. Она помнила свои детские и юные годы, старалась лучшим руководиться в воспитании дочери, а худшего тщательно избегала. Ее учили не очень хорошо, — для Лили не жалели денег на гувернанток и на уроки у дорогих учителей. Ей дома воли не давали, — ни одна барышня в Киеве не имела такой свободы, как莉莉: она даже выходила на улицу одна, без гувернантки или горничной, что вызывало у их знакомых несочувственное недоумение. Одна ходила莉莉 — разумеется, лишь днем — и на концерты, когда в зале Контрактового дома выступали столичные и иностранные гастролеры: Ольга Ивановна была слишком занята домашними делами, а Константин Платонович никогда спектаклей не посещал, — еле-еле вытаскили его жена и дочь на Подол послушать Листа. Лейден зевал во время долгого концерта и, с раздражением поглядывая

на вдохновенное лицо пианиста, повторял чей-то глупый каламбур: «Le soliste!» («Le sot Liste»).

Заграницей мать и дочь никогда не были: паспорты выдавались нелегко и стоили очень дорого. Летом они отправлялись на дачу. Модной Пущи-Водицы не любили, предпочитали Боярку с ее удивительным сосновым лесом. Дачу снимали всегда одну и ту же, пустую, поговаривали, что давно следовало бы ее купить и обставить, а не возить туда каждое лето на подводах мебель и утварь: «Была бы навсегда своя дача». Против этого возражала Лиля. Ее слово «навсегда» приводило в ужас. Хотя она любила Киев, но твердо про себя решила, что жить будет в Петербурге или в крайнем случае в Москве. Однако, ей было очень весело и в Боярке, куда к ней приезжали подруги. Они там чуть не целый день ездили верхом, гуляли по просеке, закусывали на траве, собирали грибы, а в девятом часу отдавали себя на съедение комарам и засыпали мертвым сном в комнатах с окнами, выходившими прямо в лес. Впрочем, болыши разницы между Бояркой и Лишками собственно не было. Шелковичная улица, с ее большими садами, с липами, акациями и черемухой, мало отличалась от деревни.

А когда Лиле исполнилось шестнадцать лет, мать повезла ее в Петербург. Лейден с ними не поехал, ссылаясь на дела. Эта поездка была огромным событием в жизни Лили. Приготовления начались месяца за три. Останавливаться в гостинице считалось не совсем приличным для дам. Тятенька и то ворчал, что они едут одни, без мужчин, так не полагается. — «Уж есть ли великий мудрец не хочет ехать с вами, то я поехал бы с радостью», — говорил он. Но они, особенно Лиля, обошли молчанием его предложение. — «Тятенька, конечно, очень мил, но достаточно с нас его и в Киеве», — говорила матери Лиля. Было снято помещение в очень известном семейном пансионе на Миллионной, который содержала такая почтенная англичанка, что придраться не мог бы и самый злой сплетник.

Разумеется, поездка имела цель, тщательно и тщетно скрывавшуюся от Лили: надо было людей посмотреть и осо-

бенно себя показать. Тятенька и Ольга Ивановна шутливо вспоминали поездку Лариных в Москву. Популярность «Евгения Онегина» всё росла. Лиля впрочем предпочитала Пушкину Лермонтову. В «Минерашках» она с ужасом и ненавистью смотрела на Мартынова, и ее красивые голубые глаза при этом сверкали. «Задушила бы его собственными руками!» — кровожадно говорила она.

Однако, в отличие от Лариных, Лейдены цели не достигли. Приятельницы-княжны, у которой можно было бы остановиться, у них не было. В «свет» они не попали и не могли попасть по скромному общественному положению Константина Платоновича. Да и знакомых было очень мало. Мать и дочь осматривали достопримечательности, катались в только что появившихся в столице омнибусах, посещали императорские театры, не пропуская ни одного нового спектакля. Главным развлечением было заказывать туалеты. У Лили была настоящая страсть к нарядам. Она испытывала почти физическое удовольствие, перебирая шелковые и бархатные материи, рассматривая модные картинки, выбирая и заказывая платья. Продавщицы заверяли их, что всё у них по последней парижской моде, — это еще усиливало радость. Ольга Ивановна и в Петербурге для себя почти ничего не заказала, хотя дочь умоляла ее об этом, а Константин Платонович, как всегда, денег дал много. Но наряды дочери занимали ее почти так же, как Лилю. После того, как всё было заказано, три-четыре раза примерено, доставлено, они стали скучать, тщательно это скрывая одна от другой. Ольга Ивановна беспокоилась, как муж, всё ли в порядке дома. Лиле хотелось показывать приобретения. Она уже соображала, куда что наденет. В петербургских театрах никто на них внимания не обращал: Лиля одевалась *против* киевских барышень.

И, точно на зло, лишь дней за пять до отъезда, они случайно в театре встретились с одной подругой детства Ольги Ивановны. Дамы не виделись лет тридцать, не переписывались лет двадцать пять, давно потеряли друг друга из виду, очень обрадовались, ахали над тем, как изменились, говорили: «но

я тотчас тебя узнала, тотчас!», кратко сообщали о себе сведения; еле помнили, кто муж подруги, и обе боялись выдать свое незнание. Оказалось, что Вера Николаевна давно овдовела, что сопровождавшая ее барышня — ее дочь Нина и что они живут в собственном доме на Васильевском острове.

В этот дом они тотчас вчетвером и поехали из театра ужинать. В последние дни уже почти не расставались. Вера Николаевна, как Лейдены, имела состояние и тоже к свету не при надлежала. И она, и ее дочь умоляли Ольгу Ивановну еще остаться в Петербурге. Однако это оказалось невозможным. От Константина Платоновича пришло письмо, он писал, что соскучился и ждет их с нетерпением. Он не лгал, хотя и полной правды в его словах не было: ни по ком он никогда особенно не скучал, так был занят и делами, и особенно своими мыслями. Иногда про себя думал, что нет человека, без которого он не мог бы обойтись. Его письмо умилило Ольгу Ивановну. К тому же, столичный сезон кончался, найти жениха для Лили было бы всё равно невозможно, и они решили отъезд не откладывать. Дали слово, что приедут опять. — «Оленька, уж если тебе никак нельзя будет, то пришли Лильеньку. Она у нас и будет жить. Я так рада, что они подружились с Ниночкой», — говорила перед их отъездом Вера Николаевна.

После возвращения в Киев Лиля, повысившаяся в ранге у киевской молодежи — побывала в столице! — еще недели три, закатывая глазки (это очень к ней шло), рассказывала о «Северной Пальмире», — так и говорила «Северная Пальмира», точно это было официальное или общепринятое обозначение Петербурга. Необыкновенной естественности матери она не унаследовала, была чуть жеманна. Немного стыдилась того, что живет в провинции, говоря по французски картавила и употребляла модные парижские выражения, которые тайком выписывала из романов.

Справа из под дверей пробивался свет. Ольга Ивановна вошла. У Лили была очень милая уютная комната. Стены были

обиты синим бархатом. В Киеве у всех стены либо были выкрашены, либо оклеивались обоями. Но Лиле во французских романах, после любовных сцен, больше всего нравились описания домов и мебели, разные “*Cuir de Cordoue*”, “*Velours d’Utrecht frappé*”, “*murs tapissés de vieilles étoffes*” и т. д. Поездка в Петербург была подарком родителей Лиле к ее шестнадцати годам. А за год до того они ей дали денег для того, чтобы она могла устроить свою комнату как захочет. В киевских мебельных магазинах на нее только смотрели, выслушав глаза, когда она спрашивала о Кордовской коже; ничего не слышали и об Уtrechtском бархате. Ей пришлось ограничиться бархатом — просто, да еще без выцветших тонов. Впрочем, более доверчивым из своих друзей она нерешительно называла этот бархат “*velours d’Utrecht*”, — не была уверена, как надо произносить: «Ютрешт» или «Ютрект».

На ночном столике у Лили стоял серебряный *шандаль*, — она не говорила «подсвечник». Ольга Ивановна поставила рядом с ним поднос, Лия окинула его деловым взглядом, оценила трубочку с желтым кремом. Приняла все как должное, но поцеловала матери руку.

— Спасибо, *mon chat*. . .

Она всегда называла мать самыми неподходящими словами: «*mon chat*», «*mon bijou*», «*mon rat*». Ольга Ивановна называла ее «чудо мое», «моё сокровище», «Лиленька», «Лилька» и только изредка, когда бывала недовольна, говорила, в наказание, «Лиля». Хотя в комнате все было в порядке, Ольга Ивановна чуть передвинула платье дочери, лежавшее на стуле *dorure éteinte*, — пояс чуть касался ковра, — и села на кровать. Лиля отодвинула ноги к *Velours d’Utrecht*.

Они поговорили о том, что Тяленька очень засиделся, что завтра надо встать в шесть часов, что переезд у папы будет трудный, что на Черном море в ноябре очень качает.

— Ах, зачем только он едет? — сказала со вздохом Ольга Ивановна.

— Мама, да ведь вы сами уговаривали папу!

— Уговаривала, потому что он очень стал скучать. Раз-

ве я не вижу? И я с вами обоими всегда на всё согласна, вы делаете что хотите... Да и не очень я папу уговаривала. Это он мне сказал, что либо теперь ехать, либо совсем отказаться от поездки. А зимой всётаки из за холеры спокойнее... Так я тебя завтра рано разбуджу. Еще позавтракаем втроем.

— Мама, правда ведь, что у меня руки тоньше, чем у Нины? Смотрите, — сказала Лиля.

— Это всё равно, у кого руки тоньше, у кого толще... Твои тоньше.

— Я очень люблю Нину, но, по моему, она только хорошенькая, правда?

— Нина очень мила, очень... Ну, спи спокойно, чудо мое, — сказала Ольга Ивановна и поцеловала дочь. — Довольно тебе читать. Что это у тебя? — спросила Ольга Ивановна, прочла “Splendeurs et misères des courtisanes” и рассердилась. — Бог знает что такое! Совсем тебе, Лиля, не следует читать такие книги!

— Мама, чего я только не читала! Я в сто раз хуже вещи читала! — сказала весело Лиля. — Вы очень отстали, милая маменька! Liebe Mutter... Или нет, начало у немцев тоже на agen, только забыла какое: Liebe “Agen” — Darf ich fragen — Wie viel Kragen — Sie getragen — Wenn Sie lagen — Krank am Magen Kopenhagen...

— Что за ерунда! Ну, спи, я тушу.

— Ах, нет, я еще почитаю, — сказала было Лиля без настойчивости. Читать было очень приятно, но и спать тоже. Яблоко уже было съедено.

Ольга Ивановна своей властью задула свечу и вышла. Еще в столовой она услышала доносившиеся из передней прощанья. «Слава Богу, уходит, старый»... Но гостеприимство тотчас взяло в ней верх.

— Что же вы, Тятенька, спешите? — спросила она, входя в кабинет. — Еще посидели бы.

Лиля улыбалась наивности матери. С подругами она постоянно разговаривала о таких предметах, о которых ни Бальзак,

ни другие романисты не писали и не могли писать. Их больше всего на свете интересовало то, что в старых романах называлось «тайнами любви»; каждая из барышень испуганно-восторженно делилась с другими тем, что случайно узнавала; всё это испуганно-восторженно обсуждалось, тем не менее большой ясности не было.

Теперь в кровати она всё себя примеряла к прекрасной куртизанке, еврейке Эстер, сводившей с ума мужчин. Самое слово «куртизанка» казалось ей обольстительным и страшным. «Могла ли бы я быть такой? — спрашивала она себя. — Нет никак не могла бы». Особенно не выходило с мамой: Лилия невольно улыбалась при мысли о том, как бы это Ольга Ивановна оказалась матерью знаменитой парижской куртизанки. «Я обожаю маму, но между ней и мной целая пропасть», — думала она. — «А может быть, здесь и никто меня не понимает»... Несмотря на «Velours d'Utrecht», на французские словечки и на некоторую жеманность, Лилия была очень милая девочка. Она жила в ожидании «его» появления, но откуда «ему» было взяться на Шелковичной улице, в бывшем Кловском урочище? Так можно было ждать и два, и три года, — она чувствовала, что просто этого не перенесет. Как всем девочкам ее лет, ей было нечего делать для достижения того, что было единственной целью, единственным смыслом ее жизни. Да ей и вообще было нечего делать. «Мальчики поступают в университет. А чем заниматься мне? Так сидеть и ждать: кто-то придет? А может быть, и никто не придет? Вот мы съездили в Петербург, я ведь понимаю, что мама меня повезла туда для этого. Даром только ездили»... В такие минуты она чувствовала себя очень несчастной. У нея бывали и «бессонные ночи»: вдруг при пении петухов просыпалась и плакала. Иногда плакала целых полчаса. Перед тем, как снова заснуть уже часов до десяти утра, утешалась: «И Маша так живет, и Нина, и Наташа, не я одна». Очень помогали и развлечения, и наряды, и шоколад, и особенно то, что она большую часть дня проводила на людях, а когда оставалась одна, читала французские романы и русские поэмы, жила чужой воображаемой

жизнью, вечно примеривая ее к себе. В романах Лиле нравились преимущественно *безнравственные* герои: Растиньяк, Люсьен де Рюбемпрэ, Печорин, Арбенин, всего больше Демон. Она знала Лермонтовскую поэму наизусть и «Клянусь я первым днем творенья» никогда не могла читать без слез и без зависти к Тамаре. Тятенька где-то на Кавказе раза два видел Лермонтова. И Лилия не хотела ему верить, что так благородно, на дуэли, погибший поэт был некрасив, сутуловат и постоянно шутил, — Демон не шутил никогда. Тятенька, обожавший Лию, ее дразнил:

— Нет, Лиленька, за Демона ты вряд ли выйдешь, — говорил он. — У нас в Киеве помещики есть, чиновники есть, врачи есть, а демона, как на беду, ни одного! Ах, как жаль!

Лия презрительно отворачивалась: с Тятенькой вообще было бы невозможно говорить без шуток. Он то обещал подарить ей чудную куклу, то грозил поставить ее в угол. «А вот, естьли будешь хорошо себя вести, оставлю тебе свое достояние». Лия была равнодушна к деньгам, и только недоумевала: что она будет делать с Аптекой Души? Его домик решила подарить няне.

VIII

Il y a des moments où la crainte de me réveiller vieux, malade, et incapable d'inspirer aucun sentiment (ce qui commence), me prend, et alors je deviens fou. Je vais me promener mélancoliquement dans des endroits déserts, maudissant la vie et notre exécrable pays, le seul où il soit possible de vivre...

J'ai écrit cette année en tout seize volumes*).

Balzac.

Бальзак в конце лета приехал в имение Ганской, с которой давно был в связи и на которой надеялся жениться.

*) «Бывают минуты, когда меня охватывает страх, что я проснусь старым, больным, не способным внушать какое бы то ни было чув-

Биографы так толком и не разобрались в этом странном романе, как не разобрались и в романе Наполеона с Жозефиной, кое-в-чем похожем на этот. Бальзак влюбился в Ганскую лет за четырнадцать до того. Она была миловидна, умна, привлекательна. Их связь началась еще при жизни «графа». Когда он умер, стал возможен брак, но Ганская очень долго не хотела выходить замуж за Бальзака. Она любила его. Он был так талантлив, умен и обаятелен, несмотря на свою прозаическую, вульгарную, чуть только не безобразную наружность. Быть может, она не хотела терять свой весьма сомнительный титул. *Партией* он при всей своей славе действительно для нее не был. Ганская знала, что он беден и кругом в долгу. Вероятно, знала, что он не *de* Бальзак, как подписывался, и даже не Бальзак просто, а сын провинциального чиновника со странной, неблагозвучной фамилией Бальсса. Быть может, знала даже, что родной брат этого чиновника, Луи Бальсса, был казнен в Альби и отнюдь не как контр-революционер в пору Террора (что, напротив, в смысле *партии* было бы отлично), а гораздо позднее, при Людовике XVIII, за то, что убил свою любовницу. Бальзак был так откровенен с Ганской, что мог сообщить ей и об этом, хотя едва ли думал, что преступление и казнь его дяди не будут иметь для графини никакого значения.

Когда-то он был, повидимому, в нее влюблен. Она давно вышла из возраста, который уже назывался Бальзаковским. Но он пятнадцать лет подряд писал ей совершенно одинаковые страстные письма, говорил — не только самой графине, а всем, — что обожает ее, восторженно отзывался об ее талантах. Даже очень опытный притворщик не мог бы пятнадцать лет так притворяться. В России он приобрел печать с еврейской надписью, — в ту пору кольца с надписью на еврейском или арабском языках были в моде, особенно среди писателей. В Париже Каган, учитель детей Ротшильда, перевел ему над-

ство (это уже начинается). Тогда я схожу с ума. Гуляю в меланхолии по пустынным местам, проклиная жизнь и нашу отвратительную страну, — единственную, где можно жить... Я в этом году написал шестнадцать томов».

пись. Это было слово из «Песни Песней» и означало «Любимая». Купленной в России печатью Бальзак запечатывал свои письма к Ганской.

Ему были чрезвычайно нужны ее связи, ее положение в обществе и особенно ее богатство. Об этом он сам писал матери и сестре. Восторженно отзывался о графине, но порою добавлял, что она принесет ему «кроме богатства, драгоценнейшие социальные преимущества». Раз даже — несколько неожиданно — вставил, что графиня «скуча и предусмотрительна до невообразимости». Повидимому, полусознательно преувеличивал свою влюбленность, как и прежде преувеличивал влюбленность в письмах к другим женщинам. Больше всего на свете он любил свои книги, свое творчество; богатство давало возможность работать спокойно, хорошо, не торопясь. Женитьба на Ганской стала одной из главных целей его жизни. Для женитьбы он и выехал в Россию, хотя графиня не очень его звала: должно быть, думала о том, что скажут люди. Об их романе и без того говорили достаточно.

Бальзак прежде был уверен, что Бердичев, около которого была расположена Верховня, имение Ганских, находится где-то поблизости от Москвы. Теперь он навел справки, достал деньги, приготовил паспорт. Французов пускали тогда в Россию чрезвычайно редко и неохотно, но Бальзак, знаменитый писатель, известный своими консервативными взглядами, получил визу по протекции русского министра народного просвещения.

Из Krakova в Радзивиллов он ехал частью дилижансом, частью в тележке, которой правил почтарь в коричневой свитке с рожком, перекинутым через плечо на австрийском черно-желтом шнурке. Его несколько раз останавливали и расспрашивали, — видимо не одобряли поездки француза в Россию. Еще не очень давно французские газеты печатали о России сведения, которые могли к ним перейти разве из книг путешественников семнадцатого столетия. Иные провинциалы еще, быть может, верили, что царь и бояре моют руки после того, как здороваются с иностранцем, особенно если он като-

лик, и что послов держат взаперти, доставляя им каждый день невообразимое количество еды и напитков, — совершенно так, как описывал Олеарий прием голыгинского посольства в Москве в семнадцатом веке. В Париже этому уже никто не верил, а Бальзак и до своей первой поездки в Россию встречал немало русских. Однако подъезжал он к Радзивиллову с тревожным чувством.

Его любезно и почтительно пригласил на обед Гаккель, занимавший в Радзивиллове важную должность. Но до того Бальзака допрашивали разные чиновники; каждое его слово записывалось. Поглядеть на путешественника пришел какой-то допотопный человек. Это был прежний пограничный цензор, служивший еще при императоре Павле, и оставшийся доживать свой век в Радзивиллове. В свое время он давал отзывы об иностранных книгах, чаще всего неодобрительные: «Довлеет одного воззрения к презрению»... «Сilitся дать самой французской революции вид восхитительный»... «В сием аглицком романе россиянка графиня Орлова говорит служанке Павлине: «ты, Павлина, не дочь ли фермера Петровича?», а камердинер Лагрен ведет с означенным графом дружественный разговор, что сумнительно»... «На странице 96-ой сией книги сказано: «Полицеймейстер, несмотря на свой чин, верил добродетели». Сие не предполагает ли, будто полицеймейстры добродетели не верят?» Теперь цензоры, и пограничные, и столичные, больше таких отзывов не давали (впрочем, в одной статье самого Бальзака петербургский цензор выпустил слова «*La majesté de la nature*», указав, что слово «величество» говорится только о коронованных особых, — петербургские сановники хохотали, читая этот отзыв). Допотопный старичек только поглядел с отвращением на Бальзака и ушел.

Обед у Гаккеля оказался превосходным. Хозяин был очень интересный собеседник. Разговорившись за вином, сказал, что России скоро будет принадлежать весь мир, так как живет в ней самый послушный в мире народ. Бальзак слушал с недоумением, хотя и сам высказывал довольно сходные мысли. Иногда говорил даже, что примет русское подданство. Но он не

понимал, зачем такие мысли высказывает русский чиновник. Правда, Гаккель был по крови не русский, и даже было не совсем ясно, рад ли он тому, что думает о будущем России, или же, наоборот, говорит сокрушением.

Гостя долго не отпускали, и сел он в кибитку лишь вечером. Ему дали провожатого. Поездка была долгая и трудная. Днем стояли облака пыли. Ночью особенно мучили комары. Ночевал он чаще всего тоже в кибитке, так как постоянных дворов боялся. Кюстин говорил о мириадах блох и клопов. Тем не менее все нравилось Бальзаку чрезвычайно. «Нельзя себе представить богатство и мощь России. Надо это увидеть, чтобы поверить», — писал он сестре. Он все замечал: пригодится. Поразило его обилие лесов. Во Франции строились железные дороги. Что, если отсюда вывозить лес на шпалы? Бальзака всю жизнь занимали разные коммерческие проекты, на которых он неизменно терял деньги. С тревогой думал о том, как встретит его Ганская и выйдет ли, наконец, за него замуж. И больше всего — днем и ночью — думал о своих книгах.

Не зная по русски, он при перемене лошадей кричал ямщикам и провожатому одно слово: «Бердичев!» Но верно и это слово произносил плохо, не понимал вопросов, и попал в Житомир. Впрочем, это было по дороге. На Бердичевском почтовом дворе его окружили евреи, с изумлением смотревшие на странного человека, который не знал ни слова ни по еврейски, ни по польски, ни по русски. С таким же изумлением смотрел на них и он. На Гейне они похожи не были, а кое-чем могло быть сходство с его бароном Нусингеном, — кое-что он и занес на память: жест у одного, выражение глаз у другого. В Бердичеве оказался французский портной, владевший, как все в городе, еврейским языком. За ним побежали, и дело разъяснилось. Лошадей из Верховни на станции не было: графиня предполагала, что он приедет значительно позднее. Пока искали «балагулу», Бальзак вышел на улицу. Проходила еврейская погребальная процессия, хоронили холерного. Он приподнял дорожную шапочку. Все изумленно на него взглянули, — он и это занес в память и поспешно отошел.

В Верховне его встретили с любовью, с восторгом, с легким смущением и с дружеским негодованием: как же можно! отчего не дал знать раньше? В ожидании обеда гостю дали чаю и повели осматривать «дворец». В сущности это был самый обыкновенный большой поместичий дом, не ставленный и не слишком роскошный. У графини было двадцать тысяч десятин земли, много тысяч крепостных и человек триста дворовых. На стенах зал висели Грэзы, Ватто, Каналетто и даже Рембрандты. Он всем восторгался, говорил: «да это Версаль, просто Версаль!» Бальзак знал, что только люди, посвятившие живописи долгие годы, могут отличить, и то не всегда, оригинал от хорошей копии. Но, разумеется, делал вид, что в подлинности картин не сомневается, да и поверил, когда ему объяснили, что эти картины принадлежали последнему польскому королю. Всё же кое-что в доме его изумило. Из разговора выяснилось, что печи и камни топят соломой, — это было тем более странно, что везде были леса. Подали обед из невообразимого числа блюд. Он всё хвалил, но про себя думал, что за такой обед у Вери или у Вефура посетители устроили бы скандал. Позднее писал племянницам, что телята в имении Ганской «отличаются республиканской худобой», что блюда из говядины и баранины невозможно есть, а овощи просто отвратительные; только молочные продукты и чай выше всяких похвал.

После обеда его отвели в помещение для гостей, состоявшее из кабинета, гостиной и спальней. На стенах тоже висели картины, он и от них пришел в восторг. Вид из окон на парк, на лесистые холмы был в самом деле изумительный.

Он объявил, что тотчас ляжет спать: не спал девять ночей, но заснуть сразу не мог, именно из за крайней усталости. Настроение у него было тяжелое. С Ганской разговора наедине в первый день не было. Она долго выражала радость по случаю его приезда, однако он видел, что ее радость несколько преувеличена. «Верно, опять скажет, что еще не приняла решения, что надо подождать, что надо закончить процесс». Ганская всегда ссылалась на какие-то судебные и административ-

ные дела. Думал, что, быть может, против брака, по денежным соображениям, высказалась дочь. Графиня Мнишек очень ему нравилась, но он обычно объяснял действия людей дурными побуждениями.

И в Верховне, и в Париже, и везде он часто испытывал то чувство, которое Фонтенель в конце своей жизни называл «*difficulté d'être*». Фонтенеллю было без малого сто лет, а ему не было пятидесяти. Это чувство у него особенно сказывалось во время путешествий. Всю жизнь переезжал — и всю жизнь ненавидел переезды. Не хотел покидать Париж, теперь с ужасом думал, что скоро надо будет покинуть Верховню. С отчаянием думал о своих болезнях, о нищете, о кредиторах. Ему больше не хотелось *ничего*. Не хотелось даже жениться на Ганской.

IX

A l'écrivain toutes les formes de la création, à lui les flèches de l'ironie, à lui la parole douce et gracieuse qui tombe mollement comme la neige au sommet des collines; à lui les personnages de la scène; à lui les immenses dédales du conte et des fictions; à lui toutes les fleurs, à lui toutes les épines; il endosse tous les vêtements, pénètre au fond de tous les coeurs, souffre toutes les passions, devine tous les intérêts).*

Balzac.

Когда он проснулся на следующий день, комната была залита светом, — ставни не были затворены. Он подошел к окну. Парк был необыкновенно хорош. Подумал, что работа пойдет отлично: никто беспокоить не будет. И тотчас настроение духа у него изменилось.

*) «Писателю все формы творчества, ему стрелы иронии, слово ласковое и изящное, падающее мягко, как снег на вершины холмов.

Вещи уже были вынуты из чемоданов и размещены по шкафам и комодам. За них в этом богатом доме ему было неловко перед прислугой. Давно прошло то время, когда он щеголял платьем (почему-то в особенности жилетами), тростью, о которой сам, кажется, распространял вздорные рассказы, бельем, кольцами, когда ездил в карете с ливрейным лакеем, с графской короной, — он уверял не только других, но, верно, и самого себя, что происходит из старинного рода графов Бальзак д-Антрэг. Собственно денег у него и тогда было не больше, чем теперь, быть может даже меньше. По настоящему он не был элегантен и в то время; в свете над ним посмеивались и едва ли его принимали бы, если бы он не был так талантлив и известен. С годами он потерял интерес к этому роду вздора. В Верховню привез с собой довольно мало вещей, и всё было не слишком высокого качества. Разыскал расшитые золотом красные сафьяновые туфли, надел белый халат с золоченой цепочкой, на которой висели ножницы: без ножниц и клея писать было бы трудно. Подумал было, не затворить ли ставни: предпочитал даже днем работать при свечах. Но решил, что приставленный к нему лакей сочтет его сумасшедшим. Да и слишком хороши был вид из кабинета. Это не Париж, совершенная типшина.

Ганская знала его привычки, — беспокоить нельзя, за работой пьет крепчайший кофе и ест в огромном количестве фрукты. Всё это было ему тотчас принесено. Было очень тихо. Шум во время его работы или появление в его кабинете людей доставляли ему что-то, напоминавшее физическое страдание. Знаком хозяйского внимания было и то, что на письменном столе лежали очищенные перья, карандаши, стопка веленевой бумаги. Он первым делом всё внимательно осмотрел, разобрал даже марку бумаги, но произнести не мог: Jeziorna. Над маркой

Писателю все действующие лица, беспредельные дебри рассказа и выдумки. Ему все цветы, ему все шипы. Он надевает все одежды, проникает вглубь всех сердец, переживает все страсти, разгадывает все интересы».

была императорская корона. Бальзак всё-таки не слишком ясно представлял себе, как в этом доме надо говорить о царе. С одной стороны Николай I поработил Польшу, с другой же стороны под его властью в это тревожное время только и жилось спокойно богатым помещикам. Графиня старалась поддерживать добрые отношения с русскими властями в Киеве.

В первый день нужно было выйти к хозяевам пораньше, и Бальзак в халате просидел за столом не более часа, думая сразу о нескольких книгах, которые собирался написать в Верховне. Его тотчас «обступили образы».

Это забавное выражение было в отношении Бальзака почти верно. «Образы» и были тем, для чего он жил. Они были и главной радостью, и главным мученьем его жизни. Он с полным правом говорил, что носит в своей голове целый мир. Говорил, что создал две тысячи «образов». Почти невозможно понять, как он сам разбирался в их сложных семейных, личных, имущественных отношениях. В грандиозном замысле — больше, чем в его выполнении — и есть главная ценность «Человеческой Комедии». В каждом новом романе Бальзака были и прежние, и новые действующие лица. Прежних выводить снова было легче, но и они могли и должны были измениться на протяжении десяти, пятнадцати, двадцати лет. Создание же новых характеров было гораздо труднее. Он знал французскую жизнь как никто другой, встречал на своем веку бесчисленное множество самых разных людей. То их портретно и изображал, то начисто всё выдумывал, то соединял в одном действующем лице черты нескольких человек. В отличие от многих больших писателей (особенно в отличие от Достоевского), он не заботился о том, чтобы его действующие лица совершенно не походили на людей, уже созданных воображением других романистов. Это едва ли и считал возможным: думал, что люди приблизительно стоят друг друга, что у всех у них есть общий фонд, составляющий верно три четверти их характера; творить, менять, заострять можно лишь в пределах одной четверти, и это само по себе уже необычайно труд-

но. Еще меньше заботился о том, чтобы не повторять самого себя, — это делали ведь все великие писатели; должно быть, он не слишком огорчался от того, что Люсьен де Рюбампрае всё-таки уж очень похож на Растиньяка. Думал же обо всем своем мире целый день. Ко многим из своих книг относился как должно: переделывал, переписывал, правил в корректуре каждую строчку.

В это утро ничего не писал, делал только заметки к планам. Так приятно, так непривычно было то, что здесь он мог бы ничего не делать месяц, два, три — и всё-таки были бы у него и кров, и стол, и все удобства жизни. Ближайшие кредиторы находились на расстоянии тысяч километров и сюда ни один из них явиться не мог бы; конечно, они могли писать ему, но отвечать кредиторам на письма было настолько легче, чем разговаривать с ними; еще проще было им вовсе на письма не отвечать. С улыбкой представил себе, что теперь о нем говорят враги, недоброжелатели и даже добрые друзья: «Поехал жить на чужой счет»... «Поехал жениться на богачке»... Почти за это и не сердился: привык к тому, что люди, даже хорошие, *должны* говорить именно так, — он сам на их месте, верно, говорил бы то же самое. Он знал, что в их брани есть правда, но знал также, что из враждебных ему людей ни один не работал так много, как он. Ему часто случалось проводить за своим крошечным письменным столом по шестнадцати, даже по двадцать часов в сутки. Иногда он думал, что для своего *дела* имел бы право не только жить на чужие деньги, но воровать и грабить.

В одиннадцатом часу он спустился в гостиную. Молодых членов семьи не было. Вероятно, они хотели дать матери возможность поговорить с гостем наедине. И тотчас произошло то, чего он ждал и боялся. Робко на него поглядывая, Ганская сказала как будто небрежно, но вместе с тем и твердо, что должна *сначала* перевести свои имения на имя дочери, — себе оставит только пожизненную ренту. Как он ни готовился к этому известию, оно всё же было тяжким ударом. Он сто раз

обдумывал, что ей ответить в этом случае. Не показал ни огорчения, ни злобы, — принял известие как джентльмен: сказал, что она прекрасно делает, что для него будет счастьем содержать ее своим трудом. Понимал, что она ему не верит, понимал, почему она отдает состояние графине Минишек: боится его долгов и расточительности: его дела были ей известны так же хорошо, как ему самому. Он понимал даже, что она преувеличивает (быть может, чтобы его испытать): *всего* дочери не отдаст. И действительно перед его отъездом графиня дала ему на дальнейшее устройство *инездышика* девяносто тысяч франков.

Надежда на большое богатство исчезла, но, по крайней мере в имени он мог жить и работать спокойно.

(Продолжение следует)

М. Алданов

Бог с ним, со счастьем, — вещь неверная.
 Куда надежнее беда.
 Но этот холод, тьма пещерная,
 Со стен текущая вода,
 Ненарушимое молчание
 И теснота и тяжесть скал, —
 Что это — месть иль испытание?
 Зачем? И кто его послал?
 Иль это — ад, существование
 Которого я отрицал?

Владимир Злобин

ДРЕВО ЖИЗНИ

*«О, вей, попутный ветр, вей тихими устами
В ветрила кораблей».*

Б а т ю ш к о в.

ПОСЛЕДНЯЯ МОСКВА

Весна пришла в Прошино, как приходила сотни лет, как будет приходить тысячи: в сырых теплых ветрах, половодье, в пестроте обтаявшей земли и снега, в первых фиалочках, в тех запахах апреля, вспоминая о которых, можно плакать.

Мать знала все это и относилась почти равнодушно. Рazuмеется, была довольна, что зима кончилась: вторая зима полного ее одиночества. Кончилась, ну, и слава Богу.

Если б жив был отец, он подходил бы к термометру за окном, следил бы за ветром, неудачно предсказывал бы погоду. Но отец давно покоился на кладбище Поповки, оставив мать наперекор всему обитать в Прошине в лето от Рождества Христова 1922-е.

С матерью оставались Прасковья Ивановна и Ксана. Их связь с домом шла из глубины времен. Ксана при матери и родилась и взрастала в длительном к ней почитании, а Прасковья Ивановна длительно готовила в кухне на всю семью: была полна, тиха, покойна, обожала дочь.

Матери шел семьдесят пятый год. Старилась она медленно. Трудно было ее сломить. Войны, революции гремели, близкие умирали, жизнь менялась, мать же со своей всегдашнею прохладой в прекрасных с молодости глазах, в темно-скромной одежде, опираясь слегка на палку, когда выходила, являла все тот же, прежний непререкаемый облик, призраком проплывавший над окружающим — все уже другое, она одна прежняя, для

Ксаны — «бабушка» (так, впрочем, ее многие называли), для взрослых, даже для комиссара Федора Степаныча, которому говорила «ты» — «барыня». Нос ее резче означился резкой горбинкой, и когда теперь, одинокая и вполне без защиты — ее можно было в любой момент обобрать, выгнать, убить — проходила мать в теплой своей шапке и с палкой мимо амбара, будто амбар ей еще принадлежал, явно напоминала она, особенно в профиль, Данте Алигиери Флорентинца, о котором знала лишь то, что его переводил Глеб (значит, хороший поэт), тут же, в Прошине.

И вот теперь, когда весна дальше и дальше шла, уже пообсохло, дрозды весело перелетывали в большом саду и почки тополей у балкона стали развертываться, полные сладкого духа, комиссаров сын Петька, восьми лет, принес ей однажды письмо.

Время было перед вечерним чаем. Мать лежала в столовой на диванчике, накрыв лицо носовым платком. Приняла потомка комиссара милостиво, дала даже кусочек сахара. Он покорно подал ей пенснэ в футляре со стола и удалился.

В окно смотрел тихий вечер, в нежных отсветах заката. Мать прочитала, положила письмо рядом на стул и вновь накрыла лицо платочком. Трудно было сказать, что она чувствует.

Прасковья Ивановна внесла самовар в клубах пара. За ней появилась Ксана. Прасковья Ивановна ни за что не осталась бы с барыней в столовой. Но Ксана, девочка лет двенадцати, медлительная и слегка лимфатическая, оставалась. Теперь она принесла свою чашку, осторожно села за стол напротив и сквозь всю скромность свою чувствовала, что «бабушке» с ней все-таки веселее.

Как прежде, во время войны, при отце, когда Глеб приходил к этому чаю из флигеля, а Элли сидела с маленькой Таней направо, мать села сейчас за самовар. Это ее капитанский мостик. Пока ноги носят и руки служат, пока бьется сердце, она не покинет его, хотя бы корабль шел ко дну. И в этот апрельский вечер, при розово-зеленоватом отсвете из окна — по

закатному небу тянулись нежные космы облачков — мать тою же твердой рукой наливала чай Ксане, в ее цветистую чашку.

Когда Ксана налила на блюдечко и, дуя на него, поднесла к губам, мать сказала:

— Я получила письмо от Глеба, из Москвы.

Ксана подняла на нее бледные, со слегка золотушными веками глаза:

— Они, наверно, скоро приедут?

Таня была двумя годами моложе ее. Здесь же в этом Прoshине, во время войны и начала революции проходили ее детские годы. Ксана ее обожала.

— Нет, не приедут.

— А как же... в Москве летом жарко.

Она говорила негромко, робко.

— Совсем не приедут?

Мать налила себе в чашку и положила кусочек сахара.

— Глеб пишет, что они уезжают за границу. Ему разрешили. Он хворал, ему нужно оправиться.

— Надолго уедут?

— Не знаю.

Ксана допила с блюдечка, отодвинула чашку. Смотрела она теперь выше стола, на фотографическую группу в рамке на стене — среди инженеров там сидел моложавый еще и веселого вида отец.

— И Танечка уезжает?

— И Танечка. И тетя Лена. Все.

Мать вздохнула и перевела разговор на школу, на новую учительницу в Поповке, куда ходила Ксана. На уроки. Труднее ли теперь задачи? (Арифметика всегда была бедой для Ксаны. Когда Глеб жил здесь, он спасал ее иногда от курьеров, которые неизвестно где встречаются, или выручал по части бассейна, который неизвестно когда наполнится. Но теперь она была беззащитна). Ксана отвечала односложно, и чем дальше, тем кратче. Потом вовсе замолчала.

Мать надела пенснэ и не без строгости на нее поглядела.

— Ты что же это, не слышишь? Почему ты не отвечаешь?

Плечи у Ксаны вдруг дрогнули, она всхлипнула и неловко припала головой к руке «бабушки».

— Я теперь... Танечку... никогда не увижу. И тетю Лену...

Мать всегда считала ее слабой и нервной.

— Перестань, перестань... Как не стыдно. И Таня вернется, и тетя Лена, и Глеб.

Но Ксана только пуще рыдала.

— Нет, я уж знаю... бабушка, я уж знаю...

— Ничего ты не знаешь и не изволь хныкать. Неси тетрадки, я подиктую тебе.

Ксана повиновалась. Но не Бог весть что вышло из этой диктовки. Слезы промыли по щекам Ксаны, пухло-бледным, дорожки. Кой-где блестело в них влажное серебро. Голова же плохо работала.

Взяв тетрадки, мать сквозь пенснэ строго посмотрела на ее произведение. Ошибок было достаточно.

— «Хлеб» пишется через ять, — сказала она.

Серые, слегка воспаленные глаза Ксаны от слез покраснели. Она была теперь покорна, безучастна. Зачеркнула е, написала ять.

— В школе у нас учат без ять.

— Да, новое правописание... Я забыла. Ну, зачем же ты поправляешь? Если учат так, то и оставь.

Ксана молча взяла ее руку и поцеловала.

— Я хочу так, чтобы тебе нравилось.

Мать улыбнулась.

— Дурочка, дурочка... Я старая. Мало ли что мне нравится.

Теперь все по другому.

Она обняла Ксану и поцеловала в прямой пробор на голове — редкий знак нежности.

— Я скоро умру, а тебе еще долго жить. Ты должна деться, как другие.

Ксана подняла на нее глаза. В них было нечто серьезное и не совсем детское.

— Нет, я хочу, как ты. Я тебя люблю.

Мать не весьма одобряла чувствительность. Полагала, что это расслабляет, а теперешняя жизнь сурова. Поэтому перевела разговор на арифметику и другие уроки.

Вечер протекал, как полагается. Через комнату отца, где стоял все еще его верстак и на рогах висело ружье, старый патронташ времен Устюга и сетка для дичи, мать проходила к себе, что-то разбирала в комнате, вынимала, перетряхивала, выносила в столовую. Что-то штопала и чинила, потом ужинала и раскладывала пасьянс. Теперь отец не мешал ей, не учил стратегии. Из его комнаты шло то же молчание вечности, которое наступило, когда затихли последние его хрипы, два года назад.

Мать раскладывала карты беспрепятственно. Ксана спала в кухне, Прасковья Ивановна также.

— О Боже мой, Боже мой! — вздыхала мать — скрываться было уже не от кого.

Перед тем, как ложиться спать, она вдруг взяла свечку и подошла к окну — взглянуть на термометр. Это делал всегда отец. Нередко она говорила ему: «Не понимаю, для чего это тебе каждый день смотреть на термометр?». Но сейчас не могла бы объяснить, для чего это ей самой нужно и почему она это сделала.

**
*

Зима была нелегка для Элли, но она чувствовала себя бодро. Огромная комната в Кривоарбатском, где посреди помещалась печь, сложенная слепым каменщиком, в этом году обогрелась. Таня в ушастой шапке и валенках ходила в школу. Глеб в литературную кооперацию — работал среди своих. Но хозяйство — на Элли. Дрова, печка — на Элли. Ее быстрые ноги таскали салазки и по Арбату, забредали и дальше: вплоть до родительского дома на Земляном Валу, где у Курского вокзала росла она некогда нервной, болезненной девочкой, потом выросла и окрепла, распустилась пышным цветом жизненности и горячности. Как всегда бывает, из родного гнезда ушла.

Иногда даже ссорилась с отцом, Геннадием Андреичем (но никогда с матерью), опять мирилась, вновь вскипала гневом и потом таяла в слезах — но теперь многое уже навсегда прошло, жизнь с Глебом сложилась, на Земляном Валу положение было признано (как великая держава признает, наконец, после долгих колебаний, вновь возникшее, не совсем подходящее государство).

Глеб бывал там иногда, вполне благополучно. До войны Геннадий Андреич даже угощал его красным вином (*Brâne Cantenac*, боченки которого выписывал из Бордо).

Кроме Исторического Музея, которым заведывал, нумизматики, где имел европейское имя и сфрагистики — науки о древних печатях, отцом которой для России почитался, любил Геннадий Андреич и литературу.

— Разумеется, не эту современную-с, — говорил, презрительно потряхивая головой, вскидывая пенснэ на карие, умные глаза. — А Пушкина...

Пушкина он обожал, как и Петра Великого. (Элли с детства помнила страшный, с выпученными глазами, бюст императора в кабинете отца). Когда бывал в добром настроении, то, наливая Глебу за обедом вина, он приговаривал многозначительно и весело:

«Но ты, бордо, подобен другу,
Который в горе и беде
Товарищ завсегда, везде
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует бордо, наш друг!»

— да-с, это винцо. Пушкин в нем понимал.

Теперь времена *Brâne Cantenac*'ов ушли. Дом на Земляном Валу, приземистый, с полуподвальным этажем, палисадником на Садовую и садом слева, где рос дубок из жолудя Элли-девочки, дом с бюстом Юпитера при входе, копией Каналетто в зале с роялем и фикусом в кадке, с восковыми слепками монет, медалей, древних печатей в кабинете Геннадия Андреича, был теперь уплотнен. Охранные грамоты Музея охраняли еще

некоторые комнаты, в кабинет со слепками не въезжал еще товарищ деревообделочник, но уже корабль дал течь и шел с креном.

Из этого-то давнего гнезда, с Земляного Вала на Арбат, по Воронцову полю, мимо Хитрова рынка по Солянке и влекла раз зимой, этой зимой 1922 года, Элли салазки с барабанщиком — среди коего целый комод: напрягала в горку молодое еще, резвое тело, когда у Варварских ворот неожиданно встретила отца.

Геннадий Андреевич в мерлушковой черной шапке, в пальто на меху, с бобровым воротником, шел из Исторического Музея, где принимал нынче на хранение архив князя Урусова. Увидев дочь, тащившую, как ему показалось, целый воз, содрогнулся.

— Что же ты извозчика не взяла?

Элли была в запале, усмехнулась лишь. Он нахмурился.

— Нет, так нельзя-с, в гору невозможно одной...

И став рядом, взявшись за верёвку, пошел с ней рядом, помогая тащить.

— Зачем, папа, не надо...

— Нет-с, уж в гору одной невозможно. Уж я повезу тоже.

Элли знала характер отца: раз сказал — конечно. И действительно, он помог, до самого Политехнического Музея.

Но это было одно только из ее странствий, одно из испытаний зимы.

Странствовала она и за дровами, и с Глебом вместе на Воздвиженку за академическим пайком. Зимой возили муку, сахар, бараний бок на салазках, а весна подошла — на деревянной тележке со скрипучими деревянными колесиками.

Но главное в этой весне была тяжкая болезнь Глеба: та самая, о которой писал матери в Прошине. Эта болезнь, когда тринадцать суток Глеб лежал без памяти, в жару, когда, казалось, все было потеряно и только Элли продолжала верить и бороться (в смертный час положила на грудь Глеба иконку Николая Чудотворца и к утру он ожила) — болезнь эта и выздоровление стали в семье легендой и рассказывались друзьям долгие годы, всегда волнуя. Да и как мог не волновать рассказ

о полуживом Лазаре, верою и любовью спасенном — никогда потом Элли не жалела свечей Николаю Угоднику, никогда не пропускала служб ему.

В конце апреля Глеб — худой, стриженый наголо, с ощущением обруча, надетого на голову, мог уже выходить. У него появился волчий аппетит. В Москву навезли в это время с севера рябчиков и куропаток — он съедал в день по куропатке. Вскоре начал хлопоты об отъезде: предприятие, давно занимавшее головы их обоих.

— Мы всего на год, на полтора, — говорила Элли, говорила так и на Земляном валу (Геннадий Андреич покачивал головой), так написал Глеб и матери, и они действительно считали, что так вот оно и будет: сядут и уедут, поживут в Берлине, а потом в Италию. Эта Италия, как и в юные годы, виднелась вдали в голубом сиянии и туда вели все пути. Ну, а дальше? Очень просто, все переменится, можно будет в Москву вернуться.

В начале июня, после месяца хождений, мытарств, Глеб получил, наконец, все бумаги и свидетельства: направляется заграницу в отпуск по расстроенному здоровью.

**

Таня раннее свое детство провела в Прошине — во флигель Глеба въехала годовалою девочкой в начале войны, там же и укрывалась с родителями в бурные времена. Пока можно было, Глеб и Элли нередко уезжали в Москву. Таня оставалась с бабушкой, Прасковьей Ивановной, Ксаной. В десятилетней ее дупле иерархия создавалась такая: Ксана приятельница, с ней можно ходить на деревню, летом купаться в речке, петь «Костромушку-Кострому». Прасковья Ивановна полу-друг, полу-прислуго. Элли — мать: особый, хоть и ежедневный, но всегда праздничный мир, шумный и светлый, несколько странный (как и мир отца) — во всяком случае необыкновенный. Здесь нерассуждающая любовь. Бабушка же в своем роде вершина.

Мать могла бурно ласкать, потом вспыхивать, говорить

что-нибудь наперекор себе самой и здравому смыслу, волноваться или восторгаться. Бабушка всегда ровна и покойна. С ней нельзя ни ласкаться, на ссориться, ни по-своему поступать. Матери можно еще не послушаться. Бабушки невозможно.

Когда Глеб и Элли возвращались из поездок в Москву, бабушка встречала их, держа Таню за ручку, и на вопрос, как без них было и все ли благополучно, отвечала:

— Слава Богу, отлично.

Однажды добавила, когда Таня, с болтающимися косичками, тщательно заплетенными, побежала с Ксаной на огород:

— У вас такая дочь, которой вы оба никак не заслужили. И все трое тогда рассмеялись.

А теперь, этой неуклонно-надвигающейся весной, с каждым днем приближавшей к отъезду, мать однажды, в сопровождении Ксаны, собралась в Москву — предприятие и нелегкое теперь, и даже небезопасное. Но не такова мать, чтобы остановиться, раз решила.

Не в коляске, как в былые времена, а в простой тележке добрались до города Каширы, прославленного вишнями, Окой и пьесой «Каширская старина». По знакомству достали им билеты до Москвы, по знакомству посадили в облепленный мешочниками поезд, а утром на другой день извозчик высадил их на Плющихе, у подъезда Сони Собачки.

Собачка давно уже была замужем, за инженером полупольского происхождения. Жили они на своей Плющихе в небольшом двухэтажном особнячке, не уплотненном: Мстислав Казимирович был спец, служил в таком советском учреждении, имени коего всё равно не запомнишь — охранная же его грамота была много сильнее, чем на Земляном валу.

Собачка встретила мать и Ксану восторженно: еще бы, времена Устов, Калуги, да и этой же Москвы, когда она училась еще на фельдшерских...

— Тётечка, дорогая, я так счастлива... ты у меня будешь в отдельной комнате, и всё по твоему вкусу. Как скажешь, так и будет... Я хочу, чтобы ты у меня себя, как дома, чувствовала.

Мать поцеловала ее прохладно-ласково, но, правда, была довольна. Да и Собачку любила. Та устроила ее в большой лучшей комнате, рядом с гостиной. Ксана жалась к бабушке, ей полагалось спать тут же, смиренно, на кушетке. Так оно все и вышло. Так и оказалась Ксана невидным охранителем своей «бабушки».

— Ксана, Ксана, ты не робей, — говорила Собачка: — раз ты с тётечкой, ты мой гость, мой друг.

Ксана с тихим восторгом смотрела на эту веселую, полную женщину с румяными щеками, тискавшую бабушку в объятиях. Но не могла развеять своей сдержанной задумчивости.

А Собачка продолжала хохотать.

— Когда я была девочкой, как ты, Глеб любил, чтобы я кота делала, вот так... — и она сжимала с боков свежие свои щеки, шурила глаза, что-то кошачье появлялось в ней, правда.

К завтраку пришел Мстислав Казимирович, высокий, бородатый, довольно красивый, и тоже обнимал мать, хотя мало знал ее: по доверию к Собачке. А потом пил какие-то воды, принимал пилюли, волновался, захлебываясь говорил о путешествии Глеба и Элли:

— Вы не беспокойтесь, они отлично доедут, у нас из учреждения многие в Берлин ездят, там все превосходно устроено, мы в Германии многое закупаем, и меня самого, очень возможно, отправят в приемочной комиссии.

Он воодушевлялся, закатывал под лоб небольшие, голубые, вечно нервные и тревожные глаза, и всякие главметаллы, северолесы, промторги, как рой небольших кошмаров, так и летели, пригоршнями, с его языка. Вести общий разговор было невозможно.

— Никому слова не даст сказать, — шепнула Собачка матери. Но ничего не поделаешь.

Мать была довольно покойна. Еще со времен отца, разных инженеров, толпившихся у них в Людвинове и Москве, привыкла она слушать не слушая, думая о другом. Мстислав

Казимирович не был ей интересен. Она терпеливо ждала конца завтрака, чтобы итти к Глебу.

— Тётечка, тётечка, — говорила Собачка, когда Мстислав Казимирович, вышив последний глоток минеральной воды и с беспокойством взглянув на себя в зеркало (всегда казалось ему, что заболевает), уехал в свой главметалл. — Оставайся у нас подольше. Отдохни. Они уезжают, в пятницу, а ты поживи здесь недельку-другую, да вообще, сколько понравится.

— Нет, нет, спасибо. Мы послезавтра трогаемся.

Почему именно послезавтра, Собачка не знала. Подумала: до отъезда Глеба на вокзал. Но помня с детства характер «тётечки», не настаивала.

**

Родители Элли держались на Земляном валу прочно, Глебову мать Собачка звала жить к себе в Москву (но та ни за что не хотела бросать Прошина), во всяком случае Глебу Собачка поклялась именем детской дружбы и любви ко всему их дому, что «в случае чего» тётечку не оставит и перевезет к себе. Глеб и Элли считали (или обманывали себя, бессознательно), что уезжают на год, полтора. Тяжело расставаться, но они оставляют близких устроенными, покидают их временно.

Для Глеба, однако, во всем этом был один слабый пункт: хорошо, мать остается в условиях неплохих, но... мог ли бы он пожертвовать для нее своей деятельностью, свободой?

Вспоминая впоследствии не раз это время, Глеб лишний раз уверялся, что тогда его несла неодолимая сила, ему надо было жить, осуществлять то, для чего он пришел в этот мир — это главное, и этого нельзя было здесь сделать. Значит... что могло его остановить? И он, и Элли летели сейчас безудержно, как бы не по своей воле — он не спрашивал, кому от этого больно.

Мать держалась покойно. С любопытством рассматривала огромную комнату Глеба со сложенной слепым печкою. Поцеловала Элли приветливее, чем раньше — о болезни Глеба всё знала уже подробно («она выходила его, нечего говорить»).

Прощаясь, негромко сказала ей:

— *Там* его берегите. Ну, Господь с вами.

Ксана во всем подражала здесь «бабушке»: тоже не плакала, накануне отъезда ушла только с Таней на Никитский бульвар. Там сидели довольно долго. О чем разговаривали — неведомо. Вернулись бледненькие, с холодными ручками.

— Я тебе из Берлина сейчас же напишу, — сказала Таня, когда вечером Ксана с «бабушкой» уходила к Собачке (завтра утром уже уезжали).

Таня была серьезна, она сейчас взрослая и все понимает.

Глеб рано утром ушел на Плющиху к Собачке провожать мать. И видение матери на извозчике, медленно отъезжавшем от ворот дома, матери все в той же шляпе со страусовым пером, с Ксаною рядом — они махали ему платочками и скрылись за углом переулка... — вот это видение навсегда в нем осталось: будто не прошлое, а всегда есть, не уехала мать, а уезжает, и где бы Глеб ни был, что бы ни делал и как бы ни жил, мать со страусовым пером всегда уезжает в вечность.

А дома был уже полный разгром. Через два дня и сами трогались. Эти два дня Элли носилась по Москве, целовалась и плакала со своей матерью, сестрами, одним раздарила остатки вещей, другие приносили чемоданы, примеривая, как бы удобней укладываться. Шкура медведя с огромной головой и стеклянными глазами, убитого еще отцом в Устах, служившая им ковром, отправилась кончать дни свои к знакомому доктору. Шкаф — к сестре Анне, Глебов письменный стол к приятелю.

Накануне отъезда Геннадий Андреич, кончив занятия в Музее, нанял извозчика в Кривоарбатский. Извозчик вез его по знакомой Воздвиженке, через Арбатскую площадь, Арбатом. Было почти жарко. Но на всякий случай Геннадий Андреич надел пальто, на голове теплая шляпа, из-под брюк рыжеватые голенища сапог, внизу ярко начищенных.

— Да, да, четвертый номер, вот тут и остановись, товарищ-извозчик, тут вот и остановись...

Чтобы не ошибиться в мелочи, вынимая из кошелька, на-дел пенснэ тем же привычным жестом, каким вскидывал его на нос в Историческом Музее, когда какой-нибудь мещанин

принесил монету, утверждая, что она древняя. Расплатившись, медленно стал подыматься во второй этаж, к Глебу и Элли.

Огромная комната их являла вид довольно-таки ужасный — незапертыe чемоданы, все разбросано, беспорядок полнейший. И Глеб и Элли в изнеможении. Таня сидела на подоконнике — ее сейчас должны были отправить к Собачке, чтобы хоть немногого дать спокойствия.

Элли бросилась и обняла Геннадия Андреича.

— Вот чудно! Папа!

— Да-с, заехал повидать перед отъездом. Ну, как вы?

Сняв пенснэ, улыбнувшись, протянул Глебу руку очень приветливо.

— Слава Богу, Геннадий Андреич. Устали, конечно, но завтра все кончится — едем.

— Понимаю-с. После болезни надо бно вам отдохнуть. Вы такой стали худой, и вот стриженый-с, я не совсем еще к вам привык.

Подошла Таня. Он к ней наклонился, ласково поцеловал.

— Ну, а ты рада ехать?

— Я с мамой, папой..

— Тебе тут было плохо?

— Не-ет... я в школе даже очень интересно училась.

Геннадий Андреич засмеялся.

— Довольно-таки дипломатический ответ.

Таня не совсем поняла, что значит «дипломатический» — отчасти смущалась, но не чувствовала осуждения, скорее обратное. Дедушку Геннадия Андреича знала она мало, но он ей нравился, и со своими книгами на Земляном валу, монетами, медалями казался даже особенным, на других непохожим. В нем было для нее нечто почти загадочное.

Сейчас она была смущена беспорядком в комнате (всегда таки такой важный посетитель! Вроде генерала). И отступив тихенько на задний план, за папу и маму, незаметным образом положила подушку на место и заперла чемодан.

— Радость моя, — шепнула матери: — эту картонку можно поставить на шкаф, так будет лучше.

Косички ее деловито покачивались и весь вид — спокойной, толковой девочки очень русского типа — как бы говорил: если б она уезжала, никогда бы такого кавардака не было.

— Да, да, Танечка, я сейчас... А, может быть, папе чаю? Вон там чайник, Таня, спроси хозяев, есть у них кипяток? Тогда я сейчас заварю... чай, кажется, там остался, в коробочке... Ах, нет, он не в коробочке, а вон в той баночке...

Но Геннадий Андреич отказался решительно. Не время, не место. Не привык он пить чай в этакой суматохе (так он подумал, но выразился иначе).

Глеб придинул ему уцелевшее кресло. Геннадий Андреич расположился удобно, посидел полчаса, расспрашивал, как именно едут, когда будут в Риге, Берлине.

— И в Италию собираетесь?

— В Италию у меня даже виза есть, — отвечал Глеб.

— Так-с, так-с. Хорошее дело. Я, когда молод был... мы с Агнессой Ивановной тоже в Италии были, даже до Неаполя доезжали... но не при таких обстоятельствах, как вы теперь. Меня там интересовали некоторые монеты из Сицилии. И тогда в Неаполе находился в научной командировке профессор Цветаев, основатель музея Александра III-го. Давно было — конец семидесятых годов.

— Вот хорошо бы, папа, если б ты и теперь собрался туда, — сказала Элли. — Знаешь, устрой себе научную командировку, возьми маму, вот бы чудно во Флоренции встретиться...

Геннадий Андреич всегда считал Элли отчаянной головушкой. «Фантазерка... впрочем и муж у нее такой же. Только более тихий».

Он надел пенснэ, посмотрел на нее почти строго.

— Времена не те-с. Нет, голубчик, мы во Флоренции не встретимся.

Потом встал, вынул из жилетного кармана небольшой предмет, тщательно завернутый в мягкую бумажку. Протянул его Тане.

— Это старинный образок, твоей прабабушки. Николай

Чудотворец. Береги его, ты девочка умная и основательная. Будешь молиться, вспоминай дедушку. А когда вырастешь, передашь своим детям. Вот так и будет хорошо.

Элли и Глебу он подарил по золотому империалу.

— Для усиления эмиграционного фонда-с... — сказал, улыбнувшись. — Ну, а теперь прощайте.

Элли обняла его и заплакала.

— Папа, мы увидимся... скоро, в Италии.

Он ее перекрестил.

— Нет, мой друг. Господь вас храни. В этой жизни мы больше никогда не увидимся.

**

Два извозчика везли их через всю Москву — два вековых извозчика московских, на невидных лошаденках, трусцой, погромыхивая железными шинами по булыжной мостовой, направляя неторопливый бег от краев Арбата, по Воздвиженкам, Лубянкам, Сретенкам к Сухаревой и Виндавскому вокзалу. Вещи, чемоданы, картонки подрагивали на толчках, извозчики понукали лошаденок, и все это странствие напоминало путь двух баркасов, нагруженных добром, увозящих во время наводнения подтопленную семью.

На вокзале встретили их сестра Анна, Соня Собачка да несколько друзей. Носильщики, все еще в белых фартуках, как и в юности Глеба, подхватили их чемоданы, на тележке повезли к вагону дальнего следования: «Москва-Себеж». Первый класс, отдельное купэ. Еще Россия, но какой-то уже новый мир, иной воздух — как бывает, что в окно доносит запах дождя, которого еще не видно.

— Глеб, Глеб, ты за тётечку не беспокойся, я ее в обиду не дам, а если что — сейчас же к себе возьму... Я и навестить ее съезжу, и она к нам приедет... Ну, с Богом! Элличка, дорогая, обнимаю тебя, пишите! Таня, Христос с тобой! Расти.

Сестра Анна — высокая, с огромными глазами луиниевской Мадонны, мать многочисленной семьи, сдержанная и стро-

гая, крепко обняла Элли. Глаза ее были влажны, но собою она владела.

— Ну вот, ну вот... Елена, в добный путь...

Добный путь начался в назначенную минуту. Вагон дрогнул и платформа с остающимися, в солнечном июньском дне поплыла назад, не уходя из Москвы. А Глеб, Элли и Таня, из окна махавшие идущим по платформе и тоже махавшим, медленно, но все же убыстряя ход, отдалялись от Москвы. Москва шла еще за ними будками, семафорами, водокачками, потом пригородами, но когда они кончились, лишь голубой ветер полей российских стал веять над уходящим.

ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ

Некогда Геннадий Андреич учился в Коммерческом училище, носил фуражку с темнозеленым околышем. Его отец, Андрей Тихоныч, был уверен, что хотя Геннадий слишком пристрастился к книгам, всё же отлично поведет кожевенное дело, тут же на Земляном валу основанное дедом, выходцем из земли Владимирской, Егором Камышниковым.

Но не так вышло. Андрей Тихоныч рано скончался, много раньше, чем думал. Геннадий Андреич рано женился, рано стал обладателем всех средств, доходов дела — мог свободно теперь изучить любимое: историю, археологию. Это сидело в нем крепко.

Вскоре женился на Агнессе Шмидт, юной барышне из московско-немецкого коммерческого мирка. Мать Агнессы была итальянка, жена известного русского художника времен Гоголя. Он изобразил ее некогда в виде вакханки, в венке из виноградных листьев. В Агнессе ничего не было вакхического, но глаза ее сияли бледной синевой редкостной чистоты, нечто эмалевое было в их ласковом, приветливом блеске: являлся он и отражением ее далекой родины. Весь ее характер, доброта, некоторая восторженность и сентиментальность, ранняя полнота, плодовитость — всё отвечало московско-германо-итальянскому корню.

Кожевенное дело на Земляном валу понемногу заглохло. Появился Исторический Музей, где Геннадий Андреич получил место по сердцу.

Элли девочкой помнила еще кожевенные склады на дворе, но при ней приказчиков, живших тут же, в полуподвальном этаже, не гоняли уже ко всенощной в церковь Ильи Пророка, через улицу, и не запирали на ночь («чтобы не ходили в город баловать»). А другие остатки прежнего сохранились: старая прислука, приживалки, повар Иван Лукич, как всегда повара тех времен, — пьяница.

Жива была еще и бабушка Ульяна Семеновна, занимала флигель во дворе. Некогда была она красива и дородна. Так дородна и так неподвижна, что знаменитый московский врач, талант и самодур, невозбранно грубивший купцам и бравший огромные деньги, сказал ей однажды: «Если будете так есть и неподвижно жить, кончите кондрашкой».

Полакомившись сам особыми конфетами, которые ему выставляли, он уехал, Андрей-же Тихоныч и она сама не обратили на слова его никакого внимания. Как же так меньше есть? Иван Лукич обидится: у Потаповых повар берет цельный ростбиф, у Евстигнеевых тоже, чем же Камышниковых хуже? И неужели Ульяне Семеновне ходить к Илье Пророку пешком, как простой мещанке, когда есть пара вороных, летом пролётка, зимой сани с синею сеткой, и — хотя церковь всего в ста шагах — всё же приличней Камышниковой подъезжать на своих лошадях.

Этих лошадей, сани с синею сеткой тоже отлично помнила Элли. Когда кучер возвращался, отвезши бабушку, то сестер-девочек Анну, Лину и Элли возил он катать по Воронцову полю около дома Богау: вот, мол, у Камышниковых тоже хоть куда лошади.

Все же знаменитый доктор не ошибся. Ульяну Семеновну рано разбил паралич и она несколько лет прожила в своем флигеле во дворе — еще не старая, прежде почти красавица, ныне жалкая туша, которую дворники подымали и переворачивали, перекладывали на простынях.

Но ее несчастная жизнь шла как бы на окраине камышниковского бытия и с ее уходом исчез последний след давнего.

Анна училась в гимназии, Элли в пансионе Виноградской и вместе с сестрой Линой играла в детском оркестре Эрарского — Элли на цитре, Лина на рояле.

У Агнессы Ивановны был абонемент в Симфоническое: музыку она очень любила. По вечерам — духовитая, в нарядном платье с турнуром, сия эмалевыми глазами и бриллиантовой брошкой со стрелой, крестя и целуя детей на ночь, уезжала она слушать Рубинштейна (а Элли, по нервности своей, часто не могла заснуть без нее, томилась и плакала. Ей казалось, что мать погибла и никогда не вернется, мерешились ужасы вплоть до минуты, когда та же пара вороных в санях высаживала у подъезда Агнессу Ивановну. Через несколько минут по комнате проплывало чудесное для Элли шуршание шелка и ручей духов. Мать снова ее целовала и тогда блаженно засыпала она). Но случалось, когда мать бывала и дома, и в зале с картиною Каналетто играла Шопена, Элли у себя в постели плакала. О чем? Не могла бы сказать.

Позже, когда подросли, сами ездили с матерью в сияющий зал Дворянского Собрания, в Охотном ряду близ церкви Параскевы Пятницы. Там видела Элли впервые на эстраде худенького седого человека во фраке, неважко дирижировавшего собственную симфонию, но что бы он и как бы ни дирижировал, овации ему были обеспечены: звали его Петр Ильич Чайковский.

Всё это было то прошлое, что удалялось теперь с Элли, Глебом и Танею на дальний запад, но никогда не умирало, так и жило в душе, как в Глебе отец, Усты, Прошино, мать за самоваром, разливающая чай.

— Браво! Браво Чайковский!

Это хлопает и вызывает дядя Карлуша, мамин брат, музыкант и поклонник Данте. Он розов, несколько пухл и мягок, с такими же синими, как у сестры глазами, ходит как бы приседая, энтузиаст и фантазёр. Данте читает ежедневно, по несколько строк, как евангелие. Кроме него, никого и не при-

знает в литературе. Собрал целую о нем библиотеку. Совершил поездку по его следам в Италии и считал некоторых поклонников Данте и его исследователей, даже умерших, личными своими друзьями.

— Ах! Озанам! Озанам! Вы читали Озанама?

И блаженно закатывал небесные свои глаза.

Геннадий Андреич знал Данте мало, но по наслышке уважал. А к Карлу Ивановичу относился и покровительственно и слегка насмешливо.

— Чудак-с! Настоящий дилетант и чу-у-да-к-с!

(Считал, впрочем, дилетантом каждого, кто не знал монет царя Митридата или не понимал ничего в аптекарской посуде Петра Великого).

Геннадий Андреич времен детства Элли был крепок и даже суров. Пустяков не любил. Почитал силу и волю, как у любимого им Петра. Если Агнесса Ивановна сентиментальна, это еще ничего, она женщина. Но мужчине впадать в слезу из-за Озанама считал он зазорным. А слез вообще не любил (на всю жизнь осталось у Элли, как девочками они собрались в театр, на «Евгения Онегина» и мать была уже одета, и все заранее условлено... — отец вдруг запретил, отменил выезд по каким-то своим соображениям — объяснять даже не стал. Обида была неожиданна, но воля, хоть и далекая от Петра, в семейном владычестве оказалась неколебимой. «Нет, нет-с, не-зачем по театрам таскаться...». Плакали, но не поехали).

Летом выезжали на дачу, в Царицыно. Это Элли любила с детских лет и еще больше, когда подросла, когда близилось шестнадцать-семнадцать и она вытянулась в легкую, стройную девушку. Мелкие кудельки светлых волос, очень мелких, всегда в беспорядке, нежный румянец, дух ветра и света носил ее невозбранно по рощам Царицына, над прославленными прудами, беседками, руинами Екатерининского Дворца, недостроенного и брошенного. Геннадий Андреич снимал из году в год огромную дачу в Кавалерственном корпусе. Окна выходили на озеро, было просторно, светло, свободно. Геннадий Андреич не каждый день приезжал из Москвы — Исторический Музей

для него важнее Царицына («дачи все эти для дам-с, говорил: «дамы, барышни там вот и пусть любуются природой и катаются на лодках!»).

Без него было свободнее. Больше мир матери, блаженно сиявшей эмалевыми глазами, полневшей, немало вкушавшей разных тортов, печений, конфет, варений.

Дядя Карлуша невозбранно вращался здесь, приезжала и тетя Лота, благодушная, как сестра, но еще могущественней: пройти в вагонную дверь ей было уже трудно.

Являлись разные юноши, дальние мамины родственники, больше с фамилиями немецкими. Вокруг жили тоже дачники. Немало московских немцев, любивших пить пиво в саду Диттмана, шумевших вечерами там — иногда и танцовавших. Но была и молодежь, студенты, барышни из Москвы. Анна держалась серьезней, она и вообще была строже. А Лина — веселая, белокурая, со склонностью к полноте, и Элли — шалили как хотели. Устраивали, например, состязание: кто больше съест конфет? Забирались в беседку, усаживались с удобствами, ноги в иоги, распускали корсеты и потребляли, потребляли... Эйнемы, и Флеи, и Абрикосовы беспрекословно работали на камышниковских девиц.

— Какие дуг'ы! — говорила Анна, слегка картавя, поблескивая серьезными глазами. — Совершенные дуг'ы!

— Невеста, осторожнее! — кричала Лина, потрясая светлыми, как и у Элли локонами. — Мы не дуры, а отчего же нам и конфет не поесть?

Вот в жаркий полдень встречают они в аллее дядю Карлушу. Он в светлом костюме, соломенной шляпе — снимая ее, отирает с розового лица, безбородого, рыхлого, капли пота.

— Ах, душеньки мои, я только что перечитал... начало «Чистилища»... вы понимаете, Казелла, музыкант. Это во второй песне. В милой жизни, там наверху, был другом Данте, и вот у входа в Чистилище, ну, знаете, это мистическое утро, таинственная ладья, привозящая души... Там ведь такой лазурный воздух, и загадочные камыши по побережью — вдруг

Данте встречает Казеллу и тот его узнает, и тотчас начинает петь лучшую канzonу самого Данте...

Лина толкает локтем Элли.

— Да, знаем, знаем канzonу!

Дядя доволен.

— Какие умницы! Вот, значит, недаром я Рatisбоннов перевод давал с итальянским текстом...

— Сейчас, сейчас! Мы сейчас споем... Элли, слушайся меня, я регент...

И Лина начинает. Дуэт недлинен. Слова из Рatisбонна.

«Оркестр играет,
А Данте шагает,
И шум и гром,
И беатричин вой!
Что такой?»

Дядя меняется в лице.

— Что такое? Что за идиотство?

Но дуэт крепнет:

«Когда была я крошкой,
Я Данте обожала,
К нему одной дорожкой
Всегда бе-е-ежа-ала!»

Тут дядя уже в ярости.

— Прекратить! Немедленно!

И бросается на них. Но это-то и забава. Они быстрей, ловчей его, с хохотом, визгом, удирают по аллее, за ними бежит с палкой дядя Карлуша. Но куда же догнать быстроногих... за ними юность, солнце, полет.

Из-за поворота долетает последняя строфа Казеллы:

«Ах, я к Данте,
Я к Данте хоч-ч-ч-у-у!»

Платыща мелькают в чаще и их больше нет.

Пофыркивая, отирая лоб и обмахиваясь соломенной шляпой, Карлуша направляется к Кавалерственному корпусу, где камышниковская дача.

Агнесса Ивановна полулежит в летнем кресле у раскрытоого окна, в своей комнате — очень просторной, беспорядочной и изящной. Внизу видно озеро, на нем лодочка. Светло, легкий ветерок, зыбь на озере, зыбь в занавесках, в мягких локонах Агнессы Ивановны. Благословение погожего лета, запах лил цветущих, веянье света и тени в эмалевых, невинных глазах.

Стриженая приживалка Маркан раскладывает на столе гадальные карты.

— А-а, Карлушенька, раскраснелся, такая жар-р-а! (Агнесса Ивановна, как и Анна, сильно картавит). Ты пиджак бы снял, тут все свои... Хочешь шоколадинку? Флеевские, замечательные...

На подоконнике коробка с голубой ленточкой. Но Карлуша отмахивается.

— Конфеты, конфеты. Только и делаете, что конфеты едите... Вот и девицы тоже, вместо того, чтобы учиться, читать серьезные книжки, вечно что-то жуют, носятся по парку, придумывают всякие глупости.

— Карлушенька, они молоденъкие, им хочется побегать...

— Пускай бегают сколько угодно, мне их ног не жаль, но надо, чтобы культуру уважали. Дочери известного нумизматы и такое отношение к великой поэзии...

— Да что же они такого сделали?

Дядя Карлуша слушает только одного себя.

— Я и не жду от них, чтобы они были знакомы с большим комментарием Скартаццини, но сочинять пошлые күплетики и распевать их, издаваясь над Данте... — верх безобразия!

Волнуясь, рассказывает, наконец, о преступлении.

Агнесса Ивановна съедает шоколадку (уже которую!). поколыхивается от смеха.

— Карлушенька, ведь это они не со зла...

— Еще бы со зла! У вас в доме ничего не делается со зла, всё всегда мило, благодушно, как ты сама, и потому всё распущено. А Геннадию, разумеется, не до того.

Маркан встает из-за гаданья. Стриженые седые волосы

ее торчат, в коричневых от табаку пальцах недокуренная папироса.

— Не понимаю. Туз червей, дама пик... Какой-то пожар в зимнее время... к чему бы это? Не понимаю.

Дядя отмахивается рукой.

— Вот, вот! Вместо музыки, Моцарта, Баха... гаданье... А юношество оскорбляет Данте — и где же? В доме Геннадия!

— Карлушенька, ты преувеличиваешь. Девочки учатся, и на рояле играют, даже недавно «Кориолана» исполняли в четыре руки, очень недурно. А ко мне Павлик иногда приходит, читает вслух Герцена... он так хорошо читает!

Маркан курит и презрительно пофыркивает.

— Барон! Его всё и чтение то в том, что он у вас рублику другой выпросит.

— Ну, уж ты, Маркан всегда недовольна и несправедлива.

— Потому что жизнь знаю... Разве я не верно говорю? — Она оборачивается к Карлу Ивановичу. — Вот и про Уменышкина всегда говорила, что он бабник. Он и бросил жену с детьми. Разве не правда?

Маркан, некогда Марья Аркадьевна, некогда барыня, дама со средствами, потом учительница, ныне околачивалась около сътных столов — гадала и отличалась несколько мужским складом натуры, а главное мрачностью: ее звали Кассандрай. Уменышкина этого, мелкого служащего и прихлебателя Агнессы Ивановны, она всегда ненавидела и теперь радовалась падению его и своей проницательности.

Но Карлу Иванычу это мало интересно. Да и Маркан раздражает гаданьями, зловещестью своей и — с его точки зрения — невежественностью.

— Прорицатели, прорицатели! — бормочет он. — Данте считал это страшным грехом... Тирезий-то у него где сидит? Тирезий сидит в глубоком аду, в самых нижних кругах.

Маркан ворчит, что ее не надо ни в какой ад пускать: довольно и тут навидалась, намучилась, ее адом не удивишь...

Но это для него тоже вовсе не важно. Если бы нашелся сочувствующий, с кем можно бы поговорить о графе Уголино,

поспорить о знаменитом 75-м стихе, он оживился бы. Но Маркан понятия не имеет о Данте, а сестра Агнесса сентиментально вздыхает, но дальше Франчески да Римини ничего, в сущности, не знает. Нет, в этом распущенном доме ему совершенно нечего делать.

Вид у него недовольный, но в конце концов он тоже съедает две-три шоколадных конфетки, а там близится уж и завтрак. Чтобы развлечься, он идет к пианино. Тут нет ни дерзких девченок, ни Марканов, ни Павликов, выдающих себя за баронов и знатоков Герцена. Вот Бах не выдаст. В его бесконечных и строгих лестницах дядя Карлуша успокаивается, глаза его приобретают мечтательно-потустороннее выражение. Так что когда к столу, преизобильно насыщенному Иваном Лукичем, являются — как ни в чем не бывало — Лина и Элли, он уж вполне мирен: нет, это не враги, не обидчицы, просто юные девушки, полные жизни, огня, света. Может быть, завтра залезет Элли с каким-нибудь Павликом на такую развалину, что потом неизвестно, как ее снять оттуда, может быть, через неделю поедет с отцом на раскопку древней могилы, тут же вблизи Царицына. (Когда поперек разрывают курган, Геннадий Андреич важно шепчется с бородатым археологом, а потом Элли видит, с замиранием сердца, останки — браслеты, кольца: тоже была молодая девушка, тоже ревилась, цвела, смеялась, а теперь из разрытого глядит череп да пряди волос, да тонкий скелетик)... Но самой Элли долго еще бегать и восторгаться, страдать и радоваться, болеть и быть здоровой, любить, быть любимой.

**
*

Время идет, юность проходит. Анна первая вышла замуж — за доктора, много старше ее: неизвестно зачем, но уж так получилось. За ней Лина и Элли. Всех выдавал Геннадий Андреич основательно, с шумными свадьбами и приданым, свадебными путешествиями и устройством квартир в Москве. Анна осела крепче. Нельзя было понять, любит она мужа или не любит, но у них оказался особнячек на Девичьем поле, муж

лечил, зарабатывал. В первые годы, когда пошли первые дети, первые внуки и внучки Геннадия Андреича, все шло покойно: Анна жила прохладно, с той же серьезностью, что и в девушках, для детей, в детской, озарённой прекрасными ее глазами — напоминали они Мадонн Луини.

Лину постоянно ревновал муж-адвокат. Элли наобум вышла за молодого инженера и ее дела оказались особенно плохи: не без ужаса скоро она убедилась, что совсем мужа не любит. Но жить с ним без любви...

Когда дочери были детьми, Геннадию Андреичу трудно не приходилось — это особенный мир, там Агнесса Ивановна, гувернантки и приживалки. Но вот теперь свадьбы сыграны, всё будто бы на своих местах: в некий час полагается девицам Камышниковым менять фамилию. Так делали матери, бабушки — достойно менять, достойно плодить потомство. А он бы, Геннадий Андреич, попрежнему ходил в Исторический Музей, писал бы статьи о печатах Иоанна III-го, составлял бы описания монет древнего царства Боспорского, беседовал бы с седобородыми археологами об интереснейших вещах, потчую их славным вином *Brâne Cantepas...* — и вообще жил бы вполне спокойно, ожидая внуков и внучек. А потом делал бы им подарки, но всё это — «на полях» жизни. А вот оказывается, что Лина, того и гляди, сбежит от своего адвоката, хотя у него отличная практика и человек он порядочный. Элли уехала в Новгородскую губернию, и муж жалуется ему, ищет поддержки, утешения. Анна при всей серьезности своей неудовлетворена, заводит знакомства с какими-то декадентами.

— Помилуйте, ходит в Литературный кружок и в этот знаете ли, новоявленный театр Станиславского! Смотреть Ибсенов и прочую чепуху-с...

Так теперь жалуется он, Геннадий Андреич, сослуживцу Чижкову, знатоку скифских древностей — как и он сам, ходит Чижов в сапогах с рыжими голенищами под брюками, в отложной крахмальной сорочке при черном галстучке поперек.

Чижов играет пальцами в длинной бороде, точно перебирая струны арфы.

— Мода, Геннадий Андреевич. — C'est la mode, как говорят французы. Ничего не поделаешь. У меня племянница, хорошая девушка, недавно вернулась домой, с какого-то там собрания, прямо и заявляет: «Я хочу горящих зданий...». Да, и безо всяких...

Геннадий Андреич надевает пенснэ, смотрит на него строго. Умные его, карие глаза довольно-таки суровы.

— Что же она этим хотела выразить-с? И откуда эти бесмысленные стихи?

Чижов поглаживает рукой старинный кубок, фигуры звёзд на котором ему очень нравятся.

— Я, разумеется, этих стихов не знал. Но она объяснила: современного поэта Бальмонта.

— Так ведь моя Анна лично с этим Бальмонтом знакома-с! Ко мне зять заявляется и сообщает, что Бальмонт этот у них недавно обедал и потом читал подобную же ахинею-с. Анне же и еще там каким-то молодым барыням это как раз нравится... Вместо Пушкина они восторгаются Бальмонтом!

Но одно дело жаловаться Чижову, другое объясняться с Анной. Анна дочь своего отца и в луиниевских ее глазах нет благодушной эмали матери. Что нравится, то и нравится, чего она хочет, того и хочет, и мнений своих не меняет, даже для отца, которого в детстве боялась, а теперь нет.

— Эти люди мне интереснее всяких археологов и приживалок, которыми кишит наш дом. И я жить буду, как хочу и как умею...

После такого разговора настает полоса мрака: Анна перестает бывать на Земляном валу. Агнесса Ивановна полутайком ездит к ней на Девичье поле, вздыхает. После блинов, сидя в глубоком кресле в комнате Анны наедине с ней, старается всё смягчить. Московский закат глядит в окна, мартовский закат, освещдающий на стене «Остров мертвых» Бёклина, гравюру Штука, на столике книжечку Пшибышевского: *Homo Sapiens*. Анна волнуется. Она разrumянилась, огромные ее глаза блестят почти сурово.

— Мама, ты понимаешь, я не девчёнка и мной поздно ко-

мандовать. У меня свои вкусы, у отца другие, но меня не переделаешь...

— Милая, тебя никто и не собирается переделывать, но у папочки же такой характер... ты понимаешь, я то его хорошо знаю, за всю жизнь много терпела и переносила. И ты будь уступчивей... сдержанней.

— Нет, нет, переносить, уступать не намерена. Тебя люблю и отца люблю, но подчиняться не намерена и в ваш распущенный дом, где всякие твои приживалки, кормёжка, как в Большом Московском, и деспотизм отца — я не ходок. Пускай он любит Пушкина, а вот я — Бальмонта! И никто мне не указ.

Некоторое время и не бывает Анна в «Большом Московском», где Иван Лукич удивительно приготовляет рябчиков и для супа делает прехитрейшие фрикадельки, — потом вновь появляется, но за это время Геннадий Андреич успел уже поссориться с Линой: та слишком много играет в преферанс, ездит по ресторанам, к Яру — Геннадий Андреич, находит, как и муж ее, что это легкомысленно.

С Элли же получается совсем странное. Тут он не знает, что и подумать. Элли всегда была ему мила (хотя он и скрывал это), даже более других дочерей, он, пожалуй, ее и любил, хотя считал слишком нервной и неуравновешенной... Все-таки, все-таки... — во-первых, она тоже знакома с Бальмонтом, не вылезает из Художественного театра, читает «бессмысленного» писателя Гамсона и восторгается им, окружена еще более юной и бесшабашной компанией, чем Анна, но главное: с некоторого времени совсем бросила мужа, поселилась одна, начала развод и через знакомства, связи двинула его довольно успешно. Сняла большую квартиру, сдает в ней комнаты, помогает разным студентам во время забастовок и чуть ли не видели ее около Бутырок — там она хлопотала об арестованных студентах, устраивала им передачи. А в своей среде, среди разных поклонников Гамсона и никому непонятного модного Ибсена, выделила юного студента, начинающего писателя. («Воображаю, что он такое пишет! Наверное, какую-нибудь современную галиматию-с!»). И как-будто бы даже она собирается выходить за

него замуж. Ну, разумеется, без всякого родительского благословения. «У них всё теперь так: обведёт вокруг аналоя какой-нибудь захудалый попик, и готово дело!».

Домой Элли давно не являлась, и знал он о ней только от Агнессы Ивановны да еще от Дмитрия Дмитриевича. Этот Дмитрий Дмитриевич состоял другом семьи, другом Музея и поклонником учёности нумизматической. Элли он знал еще девочкой и всегда любил — он то и смягчал всё, сколько мог, перед Геннадием Андреичем. А так как был очень богат, сам отчасти собиратель древностей, так как к дому Камышниковых был особенно внимателен: присыпал девочкам корзины цветов к именинам, Геннадию Андреичу дарил дорогие книги, а Историческому Музею завещал библиотеку, — то Геннадий Андреич весьма считался с ним.

Как бы то ни было, Геннадий Андреич удивился, когда раз, в Музее, когда он рассматривал восковые слепки печатей Василия Тёмного, услыхал от служителя, что его хочет видеть «ихняя дочь Елена Геннадиевна».

— И с ними молодой человек-с!

— Ну, что же, зови!

Встал, несколько нахмурился, застегнул пуговицы пиджака, поправил пенснэ, будто для встречи с неким странным и чуждым миром — если не сказать: враждебным.

Чуждый мир заявился, однако, довольно скромно. Элли, хотя и была в большой шляпе и элегантном синем платье в талию, с лорнетом в руке, легко двигая тонким, стройным телом, распространяя запах духов, однако, сказала отцу даже слегка смущенно:

— Если мы тебе не мешаем, папа, может-быть, ты покажешь нам кое-что в Музее... вот позволь представить Глеба Николаича, ему хотелось с тобой познакомиться, он много о тебе слышал, как об учёном... Ну, хотел бы посмотреть... тут у тебя столько интересного...

Геннадий Андреич улыбнулся. С Глебом поздоровался весьма вежливо.

— Всякое обо мне могли слышать-с, от одних хорошее,

от других худое, как и всегда бывает в жизни. Во всяком случае сам я ничего интересного из себя не представляю и что же меня смотреть-с... (в этом месте Элли вдруг показалось, что сейчас отец рассердится — и тогда все пропало. Но это была лишь минута). — Меня смотреть нечего, а в Музее нашем есть, действительно, хорошие вещи. Разумеется, интересно это тому, кто имеет расположение к истории, археологии.

Перед ним стоял худенький студент в университетской тужурке, с остроугольным лицом, юношеским румянцем на щеках, пробивающейся бородкой клинушком — она еще удлиняла лицо. Вид у него был совсем не воинственный: как на экзамене перед профессором.

Геннадий Андреич поправил пенснэ на носу и спросил тоном именно экзаменатора:

— Филолог? Историк?

— Нет, юрист.

— Юрист! Что ж, вас интересует какой-нибудь особый отдел? Скифские древности или памятники Москвы? Или доисторические времена?

Глеб сбивчиво, явно стесняясь, объяснил, что специального ничего... а так хотелось бы... вообще посмотреть...

Геннадий Андреич знал этот тип посетителей и не весьма ценил («Так, вообще... посмотреть. Несерьезно».).

Но продолжая быть вежливым, повел любителя древностей по своим залам. А залы, правда, свои.

В некоторых находились предметы, которые сам он и доставал, покупал или выкапывал из вековых тайн погребения. В других плод трудов других знатоков, таких же одержимых ушедшим, как и он сам, иногда друзей его, иногда научных врагов. А в общем всё это истинный и бесспорный *его* мир, из-за которого стоит жить, который действительно сущее, а остальное так себе, вроде призрака, вплоть до дома на Земляном валу, где живет Агнесса Ивановна и где жили дочери, а теперь разлетелись, и их жизнь — для него странная — дает новые уже ростки, в новых детях, его внуках, внучках. Это всё изменяющееся, это всё движется. А вот тут — прочно, веч-

ное. Для других — пёстрый набор отжившего, для него вечно живое, всегда важное и замечательное.

Проходили по залам Киевской Руси, Новогородской. Кое-где Геннадий Андреич останавливался, серьезно постукивал пальцем, как будто барабаня, или ласково гладил стекло витрины. Глеб и Элли покорно следовали, где надо было, удивлялись, и где надо — восхищались. Во всяком случае, смиренно вели себя. Углубляясь в века, дошли до каменных баб юга.

— Вот это, так называемый, Тмутараканский болван-с, изволите видеть, глыба, по виду ничем не замечательная, но обратите внимание, на ней надпись, гласящая, что князь Борис измерил по льду ширину Керчинского пролива... Вероятно, во время одного из походов на юг России, где, как известно вам, находились некогда и греческие колонии. Эта область называлась в отдаленные времена царством Босфорским.

— Странно, — сказал Глеб, — Босфор же ведь очень далеко, почему назвали Босфорским?

Геннадий Андреич усмехнулся.

— Босфор и Константинополь ничего общего не имеют с царством Босфорским, монеты которого вот ваш покорный слуга изучает более четверти века. Оно находилось в России, по берегу Черного моря. Киммерия входила-с в него тоже.

Глеб никогда не слыхал о таком царстве. Почувствовав, что вопрос его неудачен, покраснел.

Геннадий Андреич понимал, что со студента юриста да еще столь юного, много не спросишь. И сказал примирительно:

— Это мало кто знает и обычно удивляются, обычно пугают... Но вот Киммерия больше вам говорит? Вы бывали в Крыму?

— Да, был раз. В Ялте.

— Ялта, Ялта... извините меня, город для дам-с. Шашлы есть да с проводниками по горам катать...

— Я был и в Феодосии.

— Вот это другое дело. Значит, знаете Киммерию.

Дошли до скифских чащ, кубков. Геннадий Андреич воодушевился, а у Глеба пестрело уже в глазах и голова тяже-

лела. «Ничего я не знаю и, наверно, не узнаю никогда во всей этой путанице, а все-таки лестница замечательная». Она, может быть, и была для него путаницей, в действительности же вела извивами, темными своими путями в таинственную даль бытия.

«В нашей науке ничего не понимает, но довольно приличный, всё-таки, молодой человек», определил одновременно Геннадий Андреич, не словами, собственно а неясным ощущением, которое потом можно словами означить — и всегда приблизительно.

Про Элли он даже и не подумал. Она женщина, что же ей знать... Хорошо еще, что относится уважительно.

Несмотря на то, что, как выяснилось на обратном пути через Киевскую залу, Глеб не помнил даже года, когда были убиты князь Борис и Глеб, имя одного из которых он носил (помнил какого-то Святополка Окайенного, помнил, что жалостно они погибли от подосланных убийц — и только) — вопреки всем этим прегрешениям Геннадий Андреич Глеба не отверг. Удивился, что его интересует Данте, был даже любезен, на прощанье поцеловал Элли.

— Давно что-то не была у нас, — сказал ласково. — Приходи как-нибудь к обеду. И Глеба Николаевича приводи.

Потом обратился к Глебу.

— Мой шурин, Карл, человек очень увлекающийся и неплохой музыкант, весьма поклоняется Данте. И знает его. Он может вам быть полезен.

Глеб был польщен приемом. Искренно благодарил.

* * *

Так произошла встреча нумизматики с начинавшейся литературой. Глеб, действительно, стал бывать в доме на Земляном валу, не весьма часто, но с постоянством, хотя не был еще ни мужем, ни даже объявленным женихом Элли (в какой-то момент Геннадий Андреич решил на всё махнуть рукой: «время другое, жизни не переделаешь»).

Он оказался и прав. Всё протекало довольно благополучно. Агнесса Ивановна приняла Глеба сразу, как близкого, благодушно потряхивала кудряшками на лбу, улыбалась доброй улыбкой и сияя небесно-эмалевыми глазами, закармливаила пирогами и жареными индюшками. Он целовал ей ручку, она обнимала его, и он тонул в теплых ее изобилиях. А за спиной тихо шипела Маркан: «Вот, появился еще молодчик! Добра не быть!». Но ничего недоброго не случилось. Так же, как и во времена дачи в Царицыне, всегда здесь кишили приятели, полуродственники и прихлебатели, и родные настоящие: то Анна приезжала с детьми, то Лина, в меру того, кто из них был в ссоре с отцом. Юный «барон» подрос сильно, всё еще, был и молод, сухощав, элегантен. Играя в теннис, являлся с ракетками и без денег, читал теперь Агнессе Ивановне Диккенса, наедался за двоих и элегантным жестом «изымал» у двоюродной тетушки то «тройку», то «пятерку» — «заимообразно, в виду стесненных обстоятельств».

Дмитрий Дмитриевич присыпал на именины цветы — неизменно, иногда зимой драгоценную клубнику, являлся и сам, высокий, худой, изящный. Когда в Большом театре танцевала его жена, знаменитая балерина Замбелли, присыпал ложку. Но Замбелли никогда почти не бывала у Камышниковых — вела жизнь замкнутую и скромную, при божественном своем даре, сверхземной легкости полёта на сцене, в жизни была робка и застенчива: занималась воспитанием дочери, принимала поклонение Дмитрия Дмитриевича и сама очень его любила. А он так был богат, что не проживал десятой доли доходов своей мануфактуры, хотя раздавал направо и налево, хотя рабочие его были устроены не в пример другим фабрикам: исключительно.

Глеб впервые видел столь богатого и непонятно застенчивого человека. («Да-с, совершенно верно-с»... Он ни с кем не спорил, на Геннадия Андреича смотрел с благоговением нескрываемым и у него был такой вид, что вот сейчас он вынет чековую книжку, кому-нибудь поможет, за кого-нибудь похлопочет).

— Дмитрий Дмитриевич странный человек, особенный-с, —

говорил о нем Геннадий Андреич. — Редкостный. Если бы все богатые люди были такими, то возможно, что было бы похоже на рай. К сожалению, однако, это вовсе не так-с. До рая весьма далеко. И даже вовсе непохоже.

Дядя Карлуша временно перестал бывать на Земляном валу, обиделся за Баха, о котором непочтительно отозвался у Камышниковых один зоолог. Но потом вновь стал появляться. Глеб познакомился и с ним. Узнав, что Глеб уже был в Италии и даже поклонник Данте, он ласково закивал ему пухлым жено-подобным лицом с лазурными, как у сестры, глазами.

Но когда выяснилось, что Глеб собирается даже переводить Данте, на лице его изобразился почти ужас.

— А вы его хорошо знаете?

— Ну, не особенно, конечно.

Начался экзамен. Оказалось, что «Рая» Глеб вовсе не читал, «Чистилище» приблизительно, с литературой о Данте почти не знаком. Подумать только, о любимом Озанаме даже не слыхал. Ни Витте, ни Скартаццини...

Карл Иваныч вздохнул.

— И вы собираетесь переводить Данте...

Вид у него был такой, что он разговаривает с безумцем. Но, наверно, смущение Глеба подействовало. Он налил себе и ему белого вина и сказал более мирно:

— Если вы обещаете, что будете обращаться с книгами аккуратно, я дам вам — для начала — Крауса, это очень полезно. А там посмотрим. Имейте в виду, что переводу «Божественной Комедии» люди отдавали целую жизнь.

Глеб так сам еще был полон жизни, так хотел брать, а не давать, что это мало ему подходило. Тем не менее дядю Карла искренно поблагодарил.

— Вот видите-с, — обратился к Глебу с вежливо-покровительственной улыбкой Геннадий Андреич, — я всегда полагал, что Карл вам подходит и будет даже полезен.

Сам он считал, что и Карл и Глеб, каждый в своем роде, со странностями. Один носится с Данте, другой примыкает к

«новой-с» литературе, «делает вид», что понимает «самоно-вевшего психопата с нелепым прозвищем: Андрей Белый».

Эта «новая литература», к которой Глеб отчасти и себя причислял, могла бы послужить поводом к раздору для него на Земляном валу, но не послужила. Глеб охотно пил с Геннадием Андреичем Brâne Cantenac, охотно слушал рассказы о Рейнаке и поддельной тиаре Сайтаферна, изготовленной в Одессе, почтительно рассматривал медали, в которых ничего не смыслил, но Геннадий Андреич тоже понимал, что этот будто бы скромный и вежливый студент с весьма малыми познаниями, очень сомолюбив и упрям, в некоторых вещах совсем не уступит и задевать его не надо. Глеб тоже не приставал к нему с Блоком и Белым, а когда Геннадий Андреич восторгался «Русланом и Людмилой» на сцене («каждый раз хожу-с»), Глеба это не раздражало. Вооруженный мир продолжался. И весьма тем поддерживался, что Глеб занят был писанием своим и любовью, а Геннадий Андреич монетами царя Митридата.

Развод Элли кончился, подошло время брака. Венчание так и устроилось, как предвидел Геннадий Андреич: без всяких оповещений.

На Земляном валу, да и в Прошине, о нем узнали, когда оно уже совершилось. За сокрытие Геннадий Андреич довольно долго дулся. Виновные не бывали временно в доме у Ильи Пророка, но потом произошло объяснение. Глеб волновался и убеждал, что «никак не хотел обидеть, но думал, что просто это неинтересно». «Неинтересно!» Геннадий Андреич был поражен. Такого взгляда на дело он еще не встречал. «Ну, да у них, у молодых, все по-особенному». И это его успокоило.

Понемногу всё и прошло и забылось, снова стали бывать. Земляной вал всё прочнее входил в жизнь Глеба. Занимал меньше места, чем Прошино, всё-таки занимал.

А теперь, вытянувшись на мягким ложе вагона, неторопливо катившего его к Себежу, Глеб, усталый, замученный последними днями в Москве, всё-таки навсегда увозил с собой все облики прежнего, не говоря уж о матери и отцовской могиле, Собачке, но и Геннадия Андреича и дядю Карлушу, Агнессу

Ивановну, и приживалок, и множество тех мелочей, которые казались иногда и неважными, но из них складывался весь план бытия его.

Разве не важно было то лето перед войной, которое провели они с Элли целиком как раз в доме на Земляном валу? Геннадий Андреич уезжал в Крым на два месяца — Элли была несоразмерно толста, ходила в широчайшем капоте, но веселая, оживленная. Они занимали небольшую зеленую гостиную, обращенную теперь в кабинет Глеба, и жили счастливо. В книжных шкафах за стеклами книги Геннадия Андреича — переплеты их основательны. Наверху маска Петра Великого выпучивала белые, страшные глаза. Окно выходило в тот сад, где Элли девочкой посадила жолудь — из него вырос теперь славный дубок. Росли там и клёны, и липы, и сквозь зелень их лилось золото погожего лета. Зеленовато-золотистые струи его ложились в комнату с зеленым бархатным диваном, наполняли прелестью прозрачного полумрака. Здесь целыми днями работал Глеб над своей рукописью, а рядом в зале, под копией Каналетто, Элли перестукивала на машинке написанное. В доме, кроме них, жила только Агнесса Ивановна, топившая их в поцелуях.

Из этого дома ездили иногда, по вечерам, на Тверской бульвар в маленькое кафе грека Бляциса и сидели в тени дерев, и встречались с юными своими друзьями из литературной богемы — пили турецкий кофе в крошечных чашечках.

И однажды, когда выходили, некто сказал, обернувшись на Элли:

— Вот поэтому-то в Москве и растет население!

А в один светлый августовский вечер, в тот самый, когда Глеб поставил точку последней фразе рукописи, Элли увезли к Красным Воротам, где дядя Штраус, муж тети Лоты, известный в Москве гинеколог, устроил ее в своей лечебнице.

Мог ли бы Глеб забыть о тех часах, когда вместе с Агнесой Ивановной сидел он в гостиной у телефона и ждал звонка, и наконец ровно в полночь раздался он. Голос из лечебницы сказал:

Благополучно, девочка.

Эта девочка, с порядочными уже косичками, сидела теперь у окна в вагоне. Подъезжали к Себежу. Поезд остановился. Прошли таможенники. Потом он тронулся и явились другие. Они тоже рылись и спрашивали. Но и они ушли. Поезд постоял, постоял да и двинулся.

— Мама, теперь Россия кончается?

Элли лежала на нижнем диване, тоже в изнеможении.

— Кончается. А что?

— Нет, радость моя, ничего.

Таня вышла в корridor. В сквозняке покачивались ее косички. Ленточки на концах трепетали. В руке у нее были две незабудки, остатки того, что им поднесли на вокзале.

Она постояла у открытого окна и возвратилась. Незадубок не было больше в ее руке.

Россия теперь кончилась, — сказала она. И отвернулась.

Б. Зайцев

МАРТ

Март — это лужи в разгаре самом,
Март — это капли, бьющие в жесть,
Март — это блеск распахнутой рамы,
И перекличка двух этажей.

Март — это ветер, почки и вербы,
Как он пройдет, не увидишь сам —
В марте бы жить по секундомерам,
А не по этим старым часам.

Март, как рубеж ожиданьем встретишь,
Ищешь небывшего до сих пор —
Ждешь, что душа, как гонщик на трэке,
В жизни поставит новый рекорд.

Олег Ильинский

ДВА СЕВОСТЬЯНА

Р а с с к а з

Окно госпитальной дежурки выходит на прямую дорогу, уставленную унылыми черными метелками в деревянных кадках. Месяца два тому назад в госпиталь приезжало большое начальство: для его приема по сторонам дороги расставили пальмы, собранные со всей округи, из вилл местных фабрикантов, — когда начальство уехало, о пальмах забыли. В первые легкие заморозки пальмы помёрзли, — они стоят теперь, с обвислыми лохмотьями листвьев, нелепо и безобразно. За дорогой, вдалеке, начинаются домики небольшого села, затянутые сеткой мелкого, как изморозь, дождя гнилой немецкой зимы.

От дождя, или от вида безобразных пальм, которые ему примелькались до одури, у Севостьяна, младшего сержанта обслуживающей госпиталь команды, подавленное настроение. Он сидит на широком подоконнике и тоскливо смотрит в окно.

Севостьян, азербайджанин, призванный в армию в 1942 году, собственно, не Севостьян, но у него такое мудреное имя, непривычное русскому уху, что солдаты окрестили его, по звуанию с настоящим именем, Севостьяном. А это имя прилипло так крепко, что, пожалуй, Севостьян и сам забыл, как его зовут по настоящему.

Севостьяну скучно. Время тянется медленно, делать Севостьяну нечего: сиди и жди, когда позовут и куда-нибудь пошлют. Севостьяна держат на побегушках: на другое он вряд ли способен. Сегодня его никто не зовет и неизвестно, куда убить время.

Вздохнув, он опускает голову и закрывает глаза. В памяти смутно, как туманная пелена дождя за окнами, проплывают не-

ясные картины. Родная деревня: глубокая лощина между холмов, подняться на них — совсем близко лиловеют вершины Кавказа. Склоны холмов в зелени садов и виноградников, желтеют домики дач: недалеко большой город. За дачами темнеет лес, а сверху пылающее солнце льет жару, истому, лень. Хорошо бы очутиться сейчас дома, бродить босиком по саду, лежать под пляющим солнцем — Севостьяна мобилизовали шестнадцати лет.

Севостьян вздохнул еще раз. А какие девушки, наверное, выросли за те четыре года, что он не был дома! Какое было бы ему, Севостьяну, раздолье: мужчин мало, перебили на войне, а он молодой, здоровый. И почему его держат здесь? На днях спросил об этом замполита — тот обругал. Что ему делать в Германии — смотреть на эту проклятую дорогу? На кой чорт ему сдалась эта Германия? А дома томится, ждут Севостьяна девушки. Теперь бы жениться, в самый раз, и спокойно жить...

Он чувствовал себя очень несчастным, обиженным, только неизвестно, ком или чем. Судьбой, что ли? Верно, судьба к нему несправедлива. Вот, вчера, в пивной встретил девушку, — у Севостьяна зашумело в ушах, когда он разглядел нежную белую кожу лица и рук, голубые глаза, завитые, как у барашка, волосы немки-блондинки. Мучительно, до пота, силясь придумать, что бы сказать ей для первого знакомства, он совсем было собрался пересесть за столик блондинки, как пришли три летчика с соседнего аэродрома. Конечно, ничего не вышло: этим летчикам везде первое место! Блондинка смеялась, болтая с летчиками, а Севостьян остался ни с чем и бессильно злился. Почему летчикам привилегии: разве Севостьян не такой же человек? И чего они суются в пивную, облюбованную госпитальной командой?

Глубоко обиженный, он заказал у стойки пива, — пожалуй, только для того, чтобы почувствовать себя еще несчастнее: пиво было кислое, противное, пахло гнилой трухой. Глотая пиво, он увидел на стойке очки хозяина пивной, простые, круглые, в железной оправе. Севостьян вспомнил об Ольге Петровне и, не заметно взяв очки, сунул в карман. Это его обрадовало и немногого примирило с жизнью: какой он, Севостьян, ловкий, как хо-

рошо ему удалось стащить очки! Поскорее заплатив за пиво, он ушёл.

Вспомнив вчерашнее, Севостьян достал из кармана очки и повернулся. У стены за столом сидит Ольга Петровна. Ворчливая старушка, но Севостьян испытывает к ней чувство, которое он не умеет объяснить. Справедливая старушка. Севостьяну иногда хочется сделать для неё что-нибудь хорошее, приятное, но получается как-то так, что он каждый раз забывает об этом. У старушки очки связаны ниткой, одно стекло лопнуло: она, наверно, плохо в них видит. Севостьян подошёл к Ольге Петровне и положил перед ней очки.

— Возьми, тётка, тебе, — он всегда называл её тёткой.

Ольга Петровна подняла глаза, удивленно посмотрела на Севостьяна.

— Что за очки? Откуда взял?

— Тебе очки. Где ни взял, взял, тебе принес. Твои плохие бери.

— А кто тебя просил?

Севостьян почувствовал раздражение: почему не берет? Дают, а она не берет!

— Зачем просить? Я сам захотел, для тебя. Бери, даю, — настойчиво сказал он и подвинул очки ближе к женщине.

Ольга Петровна улыбнулась, примерила — стол перед ней расплылся. Она сунула очки в руку Севостьяна.

— Когда ты, Севостьян, чему-нибудь научишься? Очки, чудак-человек, надо подбирать по глазам, по номерам. Эти мне не годятся, возьми.

Севостьян, ещё не понимая, не убирал руки со стола.

— Не берешь? Почему не берешь?

— Я уже сказала, что они мне не годятся. Где ты их взял? Небось стащил? Иди, пожалуйста, не приставай, у меня работы много.

Севостьян ещё постоял у стола, вертя очки в руке. Судьба к нему не благоволила. Вздохнув, он огорченно отошёл на свое место, открыл окно и выбросил очки во двор. Тщательно закрыв

окно, сел на подоконник и опять стал смотреть на пальмы, похожие на метелки.

Украдкой наблюдая за Севостьяном, Ольга Петровна покачала головой и тоже вздохнула. «Детинушка! Господи, что же с ним и делать? Что сделаешь с таким детинушкой, способным, наверное, свалить быка? Руки, как рычаги, упрямое, цвета порыжевшего, давно не чищенного сапога лицо, — а ведь сущий ребенок. И не плохой», — думала Ольга Петровна. На прошлой неделе его поставили старшим в палату легочников. Он зашел на минуту к Ольге Петровне, довольный, радостный, что ему поручили такой ответственный пост, сделал таинственное лицо и сказал:

Знаешь, кто я теперь?

— Кто? — с любопытством спросила Ольга Петровна.

— Я... я... — тараща глаза, не находил слов Севостьян, потом махнул рукой, словно отрубив, и выпалил: — Я — два Севостьяна!

Она удивилась. Заглядывая ей в глаза, Севостьян немного подождал, радуясь произведенному впечатлению.

— Не веришь? Нет? Один Севостьян — я, сам, младший сержант. Второй тоже я — старший палаты. Теперь веришь? — и столько простодушного довольства светилось у него в глазах, что оно обезоруживало.

К вечеру, впрочем, опять остался один Севостьян. В палате легочников строго запрещали курить, но легочники всё-таки иногда покуривали, — рьяно взявшийся за свои обязанности Севостьян сначала предупредил больных, а потом, застав за курением двоих, одного чуть не задушил одеялом, у другого отнял папиросу и силой уложил больного в кровать, так, что солдат жаловался, будто Севостьян сломал ему спину. Больные взбунтовались — главврач жестоко распек Севостьяна и прогнал на старое место. Севостьян не понимал, почему его прогнали: он же только наводил порядок? А как с ними поступать, если они не слушаются?

Эмигрантка с 1919 года, Ольга Петровна работала в гос-

питале переводчицей. Начальство косилось на неё, не совсем доверяя, — с солдатами она была своей. Прямая характером, привыкшая «резать правду-матку в глаза», Ольга Петровна сурово выговаривала солдатам за проделки, но и писала им письма, подолгу с ними разговаривала: отвыкшие от семьи, от матерей, многие охотно поверяли ей свои несложные думы об оставленных семьях, о доме, советовались с нею. Умея слушать, Ольга Петровна внимательно выслушивала длинные рассказы, поддакивала и старалась помочь, чем могла, чтобы подбодрить, поддержать этих простодушных людей. За душевную ласку солдаты платили тоже, чем могли и как умели: зная, что ей живется не сладко, они старались передать ей что-нибудь из пайка, или папирос, махорки, чтобы она могла обменять у немцев на продукты. Как она ни отказывалась, ей редко удавалось отказаться. Позавчера один из солдат позвал её и за дверью, чтобы никто не видел, сунул в руку пакетик и убежал. В канцелярии Ольга Петровна развернула сверток: в грязной газете была половина жареной курицы, почерневшей, с прилипшими обрывками бумаги, сдавленной, — солдат, наверное, прятал её под подушкой, если не под матрацем. Диэтик, он не съел курицу за обедом, а оставил Ольге Петровне. Она не знала, радоваться ей или плакать, глядя на этот подарок, который вряд ли можно будет съесть, — жалкий подарок, но и такой дорогой, щедро данный от чистого сердца:

— Дети, дети, — часто повторяла Ольга Петровна, долгими вечерами вспоминая окружавших её солдат.

И Севостьян, сильный, здоровый, ударом одной руки могущий сбить с ног, тоже ребенок и надо только по-человечески относиться к нему, он послушается и будет хорошим, не будет воровать очки, чтобы потом выбросить их. Слушают же её другие? Но иногда Ольгу Петровну пробирал безотчетный страх. Она тревожно присматривалась к Севостьяну: понимает ли она его? Послушается ли он, если случится что серьезное, важное?

В коридоре загромыхали быстрые шаги, с шумом открылась дверь и в дежурку не вошёл, а вбежал помглавврач, за ним молодая женщина-военврач.

Почему сразу не доложили, что лаборантки нет? — раздраженно говорил помглавврач.

— Но я вступаю на дежурство в десять, а Ильза приходит в девять. Я ничего не знала, — оправдывалась военврач.

— У нас никогда никто ничего не знает! Всегда так! — горячился помглавврач. — Севостьян! Возьми винтовку, пойдешь в село! Ольга Петровна: не вышла на работу Ильза Кранц, а сейчас прибежала её соседка и говорит, что к ним забрались какие-то два солдата и безобразят. Чорт знает, что! Пойдите с Севостьюяном, узнайте, в чем дело, Ильзе скажите, чтобы шла на работу: дело стоит. Севостьян! Действуй энергичнее! Солдат забери и приведи сюда! Живо: одна нога здесь, другая там!..

Гордый возложенной на него задачей Севостьян так спешил, что Ольга Петровна едва поспевала за ним. Входя в село, Севостьян бубнил:

— С аэродрома солдаты, я знаю! Они всегда шляются, где не надо. Узнают они Севостьяна! Севостьян им даст!

Он был не на шутку разозлен. Опять с аэродрома и опять за девушками! На Ильзу Севостьян не обращал внимания: маленькая, черненькая, запуганная, она тенью проскальзывала на работу, также уходила домой — посмотреть не на что. Ильза работала в госпитале, когда он ещё был немецким, новые хозяева оставили её, пока не было замены. Нет, Ильзой Севостьян не интересовался, но то, что к ней пришли чужие солдаты, распалило Севостьяна.

У небольшого двухэтажного домика остановились, Севостьян забаранил прикладом в дверь.

— Тише, не надо прикладом! — попросила Ольга Петровна, но он продолжал стучать.

Сквозь грохот можно было услышать, как в домике поднялась беготня. Через две-три минуты дверь открыла старая заплаканная женщина. Что-то бормоча, вскрикивая, жалуясь так, что не разобрать, она пропустила их.

Севостьян бегом ворвался в первую комнату — посередине на столе стояла пустая бутылка из под водки, два стакана, но в

комнате никого не было. В кухне легкий ветерок колыхал оборванную занавеску на открытом окне.

— Они выскочили в окно! — по-немецки кричала женщина. Севостьян подбежал, глянул — окно выходило в узкий дворик, никого в нем не было.

— Ушли, — буркнул Севостьян. Раздраженно захлопнув окно, он глянул на женщин: что предпринять? Потоптавшись, махнул рукой и недовольно поплелся в первую комнату.

Женщины вошли следом. Встав у притолки, немка-мать продолжала невнятно стонать и жаловаться, а дверь во внутреннюю комнату открылась и показалась Ильза. На её лицо спускались растрепанные пряди темных, почти черных волос, от них лицо казалось еще белее. Синенькая кофточка была разорвана до пояса и открывала такие же белые плечи и ничем не прикрытую грудь, жалкую и трогательную в своей беспомощности. Сжавшись, нагнув голову, Ильза стояла, не шевелясь, и молчала.

Ольга Петровна начала было утешать плачущую мать, но заметила взгляд Севостьяна и остановилась: Севостьян слишком пристально смотрел на Ильзу. Медленно, словно не решаясь, он шагнул к ней, сделал еще шаг — и уже быстро подошел к Ильзе и крепко взял за руку. Девушка вздрогнула, еще ниже опустила голову.

Поняв, Ольга Петровна бросилась к Севостьяну, схватила за рукава:

— Ты чего? Назад, Севостьян!

Не видя, он глянул на неё горящими глазами:

— Уйди.

— Оставь, Севостьян! Идем, нам время...

— Уйди.

— Что ты хочешь?

— Я сказал, уйди, — бормотал Севостьян, отрывая Ольгу Петровну и оттесняя в сторону. Ольга Петровна упорствовала, борясь изо всех сил.

— Севостьян, перестань, как тебе не стыдно!

— Я тебе говорю: уйди! Хуже будет! — тяжело дыша, он

оттолкнул её и бросился в комнату, втолкнув туда и девушку. Ольга Петровна вцепилась в шинель:

— Стой, Севостьян!

— А, — рассердившись, вскрикнул Севостьян. — Тебя не хватают, ты не дрыгай! — и с силой толкнул её.

Падая, Ольга Пётровна видела, как захлопнулась за Севостьюяном дверь. Немка стояла, притихнув, остановившимися глазами тоже смотрела на дверь.

Ольга Петровна почти ползком добралась до кресла в углу, села, прикрыла глаза рукой. Она чувствовала себя словно окаменевшей, в ней всё будто вдруг застыло, опустело.

Минут через десять Севостьян вышел, одной рукой оправляя шинель, а другой волоча за собой винтовку. Хмуро и немного смущенно посмотрев на Ольгу Петровну, он буркнул:

— Идем, тётка. — Видя, что она не встает и не отнимает руки от глаз, помолчав, Севостьян добавил: — Ты не серчай. Я говорил, уйди. Зачем в мое дело мешаешься? Ей все равно, два иль три...

Г. Андреев

ПОСЛЕДНИЙ КРУГ

Вскипают волны тошноты нездешней
И в черный рассыпаются туман.
И вновь во тьму, которой нет кромешней,
Скользят к себе, в подземный океан.

Припадком боли, горестно-сердечной,
Зовем мы это здесь. Но боль — не то.
Для тошноты подземной и навечной,
Все здешние слова — ничто.

Пред болью — всяческой — на избавленье
Надежд раскинута живая сеть:
На дружбу новую, на время, на забвенье...
Иль, наконец, надежда — умереть.

Будь счастлив, Дант, что по заботе друга
В жилище мертвых ты не всё узнал,
Что спутник твой тебя отвел от Круга
Последнего — его ты не видал.
И если б ты не умер от испуга —
Нам все равно о нем бы не сказал.

ПРЕЖДЕ. ТЕПЕРЬ

Не отдавайся никакой надежде
И сожаленьям о былом не верь.
Не говори, что лучше было прежде...
Ведь как в яйце змеином, в этом Прежде
Таилось наше страшное Теперь.

И скорлупа еще не вся отпала,
Лишь треснула немного: погляди,
Змея головку только показала,
Но и змееышей в яйце не мало...
Без возмущенья, холодно следи: —

Ползут они скользящей чередою,
 Ползут, ползут за первою змеею,
 Свивая туго за кольцом кольцо...
 Ах, да и то, что мы зовем Землею —
 Не всяль Земля — змеиное яйцо?

З. Гиппиус. Париж. 1940.

**

Там, где лодки на причале
 Чуть поводят сонным дном,
 На песке смолёный ялик
 В блеске черном и тугом.

Бьет о берег влажным хрустом
 И назад шишит прибой.
 Теплый воздух пахнет густо
 Высыхающей смолой.

Пахнет сочно, пахнет звонко, —
 Черным блеском говоря
 Сердцу чайки и ребенка,
 Ялика и дикаря.

**

Я привыкла трястись в дороге
 И не будят тоски во мне
 Спящий кот на чужом пороге
 И герань на чужом окне.
 Но молюсь, как о малом чуде,
 Богу милости и тепла,
 Чтоб кота не вспугнули люди
 И чтоб жарче герань цвела.

Лидия Алексеева

Два стихотворения З. Н. Гиппиус печатаются впервые. Они присланы нам из ее архива В. А. Злобиным. Ред.

ОНО

Вымывали крещенской водою,
Выжигали свечой от Страстей
И свяченой вербвой молодою
Выживали незваных гостей.

А оно не уходит — осталось,
И заклятье его не берет!
Вон качнулось в углу, замоталось,
Перегнулось и смотрит вперед.

Вон у притолки серою тенью
Покивало, закуталось в муть,
Чтоб ни песне, ни дню, ни цветенью
Не расправиться и не вздохнуть.

Всё мигает: «Попробуй-ка выжить!»
Всё пугает большою бедой,
И в виски твои вкрадчиво нижет
Чуть блистающий бисер седой.

Я не помнить хотела б вовеки!
А оно наклонилось, маня,
И подняв свой Виевые веки,
Долгим взглядом глядит на меня.

* * *

Было утро первозданных теней.
Крик стрижей, вдали колокола.
На впервые содранном колене
Первая царапинка была.

И склоняясь, ходить меня учила
 В этом утре шумно-золотом
 Стройная провидица — Сивилла
 С темной родинкой над чистым ртом.

В злых потемках щупаю дорогу.
 Но, как каждый — скоро! знаю, жду —
 К краю света — к страшному порогу
 С дрожью и надеждою приду.

И внезапно будет всё, как было,
 Отряхнется накиль мертвых лет,
 И седая светлая Сивилла
 Поведет в сереющий рассвет.

Ольга Аистей

**

Иди, мой друг. Господь с тобою.
 Прости. Иди своим путем...
 Я с несговорчивой судьбою
 Останусь. Долго ли теперь?
 Блеснуло небо голубое
 Улыбкою перед дождем
 И скрылось...

Мне не счесть потерять.
 Не счесть надежд и вдохновений
 Непостоянных, как февраль,
 Стыдливых, как рассвет весенний,
 Как слезы тех, кого не жаль...

Кто их узнает, эти складки
 Морщин у светлых глаз твоих?
 Иди без страха, без оглядки
 (дождь притаился и затих).

Разлука будет вечно длиться...
Но вечность не страшнее дня,
В котором нечemu случиться.
Прости. Я научусь молиться
За тех, кто не любил меня.

**

Кто же из нас не писал завещания
(несколько слов в назиданье другим).
Кто не обдумывал сцену прощания
С жизнью немилою, с ней — или с ним?

Всё оказалось гораздо банальнее —
— Не романтический выдался век —
Не отправляется в плаванье дальнее,
Не умирает легко человек.

Годы проходят, уносят войну:
Мы постарели, нам хочется жить,
Пусть безнадежно, но только любить...
Или уехать в другую страну
И изучить незнакомый язык...
Счастье, конечно, всегда впереди,
К переселению кто не привык?

Но отчего-ж замирает в груди
Сердце?
Как будто бы ночью Пасхальной
В церкви холодный подул ветерок...
Дрогнул, и вспышкою вспыхнул прощальной
Тонкой свечи огонек.

Лидия Червинская. Февраль, 1951 г.

**

Не требуя, такие только просят
 И если им отказано — молчат.
 Их тело легкое земля любовно носит,
 Как бабушка болезненных внучат.
 И смерть их бережно срезает, а не косит,
 И только с ними нищий мир богат.

**

Колеблет сад живое пламя маков
 И чья-то первая приблизилась весна.
 Мир полон снов и шопотов, и знаков,
 Тугим кольцом душа окружена.

Она не спит, но явь проходит мимо.
 Ей царства новые открыты и, вчера
 Еще ничья, сейчас неудержимо
 Она летит в объятия костра.

Екатерина Таубер.

**

Орлы золотые сегодня
 Парят над полями родными,
 Над тихим простором Господним,
 Над райской обителью дальней.
 В раю мы не будем печальны,
 В раю не будем одни мы...
 И воздух прохладный и чистый,
 И светят сквозь рыжие листья
 Багровые бусы рябины.
 В раю не будем одни мы...
 И всё это было когда-то.
 В раю, за балконою дверью,
 Роняют ясные перья.
 Орлы золотые заката.

Елизавета Шувалова. Париж, 1949.

ТРИ ПРЕДСМЕРТЬЯ

Стендаль

Боже мой, как скучает консул короля французов во владениях Святейшего престола, в захолустном городишке Чивита-Веккия! Хорошо еще, когда улучит он время съездить в недалекий Рим, где у него много друзей, где приятно служить любезнейшим проводником для иностранцев, впервые попавших в Италию, где живется свободно, где можно за кем нибудь поволочиться, позлословить, блеснуть и удивить. Еще того лучше, когда удастся получить отпуск, продлить его и опять продлить, — на это граф Моле, когда он у власти, смотрит сквозь пальцы, — и прожить месяц-другой в Париже, откуда так не хочется уезжать. (На обратном пути, последний раз, повстречал он на пароходе, спускавшемся по Роне, романтическую чету — Жорж Санд и Миуссе, слегка посмеялся над ними, однако, и сам не слишком покорил старомодным щегольством любовников, устремлявшихся в Венецию). Увы, совсем останься в Париже всё таки нельзя да и становится зазорным вечно отлучаться в Рим, вот и приходится нескончаемые недели и месяцы отсиживаться в пустынном городке,ссориться с подчиненными и начальством, уличать в шпионстве секретаря, напрягать все силы, чтобы развлечься хоть как-нибудь, и всё большие погружаться в собственные думы.

Думы эти печальны. Бедный Стендаль! Ему бы умереть смертью Пушкина, с которым столь многое его сближает, смертью, пресекающей внезапно страстную, смелую, еще молодую жизнь, смертью, подобной карте, открываемой в азартной игре, беззакатной смертью, смертью без умирания. Этого ему не было дано; но и ничто не предвещало ему патриарший век двух других великих жизнелюбцев, Гёте и Толстого. Смерти он не хотел, но еще больше боялся увядания; и вот оно пришло, — преждевременно, поспешно, неучтиво. Он встречает старость: ему пятьдесят лет. Накануне этого дня Анри Бейль, консул короля Луи-Филиппа, расстегнул пояс своих

форменных белых брюк и написал на нем с внутренней стороны чернилами: «М. будет завтра 5». Зашифрованная от шпионов, которых вечно страшился Стендаль, и из стыдливости перед прачкой, надпись означала: «Мне будет завтра пятьдесят лет».

Часто подходит он к зеркалу и отступает от него со скорбью. Как растолстел он за последние годы, как обрюзг! Волосы давно уже приходится красить, как и густые бакенбарды. Приходится даже подклеивать поддельную прядь, искусно зачесывая ее на лоб. Когда-то, как он были ловок, каким блестящим был, танцором на балах Империи! А теперь он должен с особым усердием заботиться о том, чтобы одежда хоть немного скрадывала безобразную полноту, и преувеличивать живость движений, чтобы скрыть, как они отяжелели. Только и остались прекрасные очертания лба, взгляд, живой, как прежде, да еще подвижность лица, когда пылает оно, вдохновленное пламенной беседой. Этого ему мало. Каждый месяц, чуть ли не каждый день приносит новые огорчения. Всё больше он лысеет, всё углубляются морщины под глазами и на лбу. А эта поблекшая кожа, эти тяжелые веки, эта гадкая одутловатость щек! И толщина, толщина, и недомогания, расстройства и недуги. Тут и подагра и всё более частые головные боли, и желудок, и почки, и постоянные простуды, укладывающие в постель. Пугает каждый сквозняк, надо соблюдать диету, не есть любимых блюд, меныше пить вина. Советы врачей противоречивы. За времененным улучшением наступают новые неприятности. В этом унизительном состоянии еще мыслишь, работашь, живешь, — но разве такой была жизнь Стенделя?

Что нужды в том, что эти годы едва ли не самые творческие в его жизни. Он был не из тех, кто может жить сознательно ради творчества. Как ни любил он писать, с каким наслаждением ни садился за свой рабочий стол, всё же еще больше любил жизнь и самому творчеству предавался ради жизни. Писательский труд отвлекал его, утешал на время, но не поглощал. Всё чаще начинал он раздумывать о смерти. Приятель рассказал ему однажды, что в Париже — холера; Стендаль испугался: если умирать, то всё же не от такой мерзкой болезни и не в таких мучениях. Хорошо умереть внезапно, от удара, упасть мертвым где-нибудь на улице. Он постоянно возвращается к этой мысли. Именно такой смерти он просит у судьбы. Что-ж, быть может, хоть на это хватит у нее великодуния...

Если уж бороться с мыслью о смерти такому человеку,

то, разумеется, не иначе, как помыслами о любви. Правда, надежд на любовные победы теперь мало, но, в конце концов, почему не попробовать жениться? Теперь даже такая, прежде казавшаяся чудовищной, мысль приходит ему в голову. В его унылой итальянской резиденции живет некий Видо, сын бывшего французского консула, но опустившийся, женатый на прачке. У него двадцатилетняя дочь: ее-то и избрал Стендаль предметом своих брачных вожделений. Г-жа Видо была в восторге от блестящего будущего, открывавшегося ее дочери; г-н Видо не возражал. Стендаль усердно ухаживал за девицей и даже, чтобы понравиться ее семье, каждое воскресенье ходил к обедне, что противоречило его убеждениям и правилам. Но у г-на Видо был брат монах; он затребовал у некоего духовного лица на родине Стендalia, в Гренобле, о нем справку и получил известие, что французский консул в Чивита-Веккия — неверующий литератор, автор вредного романа «Красное и Черное», заведомый враг церкви. Монах сообщил эти сведения брату и заявил, что лишит племянницу наследства, если она выйдет за такого человека. На этом сватовство Стендalia и сорвалось.

Он попытался тогда вернуться к подвигам, занимавшим прежде всю его жизнь, и в которых часто он бывал удачлив. У римского его приятеля, графа Чини была прелестная жена. Относилась она к нему очень дружески. Его друг и ученик в донжуанском искусстве, Мериме, давно уже (хотя, быть может, и шутя) советовал ему идти на приступ. Но крепость не сдалась, да и ключи ее уже были вручены более молодому и блестящему сопернику. Стендаль, убедившись в невозможности этой победы, отношений с друзьями не порвал, бывал у них часто и позже, но раз навсегда отказался и от осады, не только что от приступа. В его бумагах, после смерти, найдена запись: «Жертва принесена. Графиня Чини. 8-17 февраля 1836».

Остались воспоминания. Им он теперь и отдался. Вспоминал Мелани Гильбер, — увлечение ранней своей молодости, — ради которой он отправился из Парижа в Марсель, где на год сделался лавочником, чтобы не расставаться со своей милой. Вспоминал и неверную Анджелику Пьетрагруа, причинившую ему столько страданий; и нежную Клементину Кюриаль, которую полюбил вторично, когда ей было сорок семь лет; и еще многих других. Но больше всего вспоминал не их: самого себя. Самого себя, в былые годы, во всей свежести отрочества, в первом огне юности; из этих воспоминаний вышла удивительная книга «Анри Брюлар». Однажды он

поспорил с Мериме, приведшим знаменитую цитату из Данте о том, что нет большей скорби, как вспоминать в несчастии о счастливых временах, и не согласился с изгнанным из родного гнезда поэтом. Воспоминания всегда драгоценны, всегда прекрасны, всегда утешительны!

Один еще раз улыбнулась ему судьба. Граф Моле снова у власти; консулу разрешается отъезд. Получив отпуск в 1836 году, он, правдами и неправдами, ухитрился прожить в Париже целых три года. Опять его видели на бульваре, отяженевшего, но подтянутого, в искусно сшитой одежде, — зеленом сюртуке, белом жилете, широком вышитом галстуке, и в шляпе, отодвинутой на затылок, что, как утверждают, молодит лицо. Опять пытается он вернуться к прежней жизни, видится с друзьями, часто бывает в обществе, острит, рассказывает анекдоты — из наполеоновских времен — и, прогоняя непрошенную грусть, пишет, с увлечением пишет. В месяц с небольшим, запервшись в своей комнате, написал он самый счастливый и волшебный, если не самый совершенный свой роман — «Пармскую Чертозу». Он не вернется в Италию раньше, чем не напечатает эту книгу, чье появление принесет первый луч славы, так долго не улыбавшейся ему.

Если утешало его творчество то, в соответствии с его характером, слава должна была утешить еще больше, — хотя, конечно, тоже не до конца. До сих пор известен он был, как остроумец и светский человек, как *bon vivant*, дилетант в литературе. Не раз говорил он, что читать его будут в 1880-м, потом, всё отодвигая дату — в 1935-м, в 1980-м году. Правда, «Красное и Черное» принесло ему некоторую известность. Передовая дама, нагнувшись к своему соседу за столом, сказала однажды: «Как, вы не знаете «Красного и Черного»? Да ведь это так же известно, как «Жаба», так же прекрасно, как «Плик и Плок!» Но теперь о «Пармской Чертозе» написал длиннейшую статью молодой и уже прославленный Бальзак, и он не сравнивает больше ее автора с Евгением Сю или с еще более забытым Феликсом Давеном: он говорит о Ларошфуко, о Корнеле, Байроне, Шекспире... Стендаль радуется от всей души. Правда, Бальзак не вполне доволен его стилем, но ведь Стендаль и сам хотел бы усовершенствовать свой стиль. Он перебирает рукописи, правит страницу за страницей, в радостном волнении замышляет новый большой роман.

Теперь и Чивита-Веккия не кажется таким уж безнадежно скучным местом. Он опьянен работой; он чувствует себя

гораздо лучше. И, вдруг, конец, — начало конца. Странное дело, он начинает забывать самые обыденные слова и выражения, не может сказать: «дайте воды». Иногда целые четверть часа уходят на мучительные поиски какого-нибудь слова. Затем начинаются страшные головные боли, потом удушье, потом тупое прозябанье: полубеспамятство, полусон. Врачи пускают ему кровь, собираются его лечить то гомеопатией, то какими-то особыми средствами от подагры, но ему от этого лучше не становится. Однажды, после особенно тяжелой ночи, он сказал, — ведь он ни во что не верил: «Я уже узнавал Ничто».

Последний просвет позволил Стендалю последнее путешествие в Париж. Друзья нашли его осунувшимся, размякшим, отцветшим. Говорит он медленнее, как бы с трудом, реже острит, не пускается в парадоксы. Суждения его становятся как-то терпимее и примиренней, но это совсем не радует тех, кто привык к его прежнему резкому, вольному и всегда живому нраву. Хорошо еще, что судьба не забыла давнюю его мольбу. «Я усердно скрываю мою болезнь, — говорил он; упасть на улице, что-ж, в этом нет ничего позорного». И вот, после обеда у Гизо, 22 марта 1841 года, возле самого министерства иностранных дел, он упал на улице. Его подобрали, отнесли в гостиницу. Он был мертв.

Кто знает, легко или нет то, что называется скоропостижной смертью. Никто не может знать последних чувств и мыслей человека, погребенного на миланском кладбище с надписью на камне: «Миланец, Арриго Бейль», и припиской: «жил, писал, любил». Герой одного из его поздних, неоконченных романов говорит: «Смерть — только мгновение, ее и не почувствуешь. Просто, вы страдаете, вы удивлены странными ощущениями, не испытанными до сих пор, еще минута, и вдруг вы не страдаете больше, мгновение прошло: это смерть. Случалось ли вам проезжать на лодке под мостом Святого Духа, на Роне, около Авиньона? О нем заранее говорят, вы начинаете волноваться, наконец, вы видите его перед собой; вдруг лодка схвачена течением, и, не прошло минуты, мост уже за вами».

А за мостом? — Чивита-Веккиа, должно быть, Италия, куда стремится пароход, уносящий к югу Жорж Санд и Мюссе вместе со стареющим Стендалем.

Гейне

На авеню Матиньон, у самых Елисейских Полей, еще и сейчас не снесен дом, где умирал и умер Генрих Гейне. Когда из другого парижского дома, в 1854 году, его перенесли сюда и вновь положили на двенадцать тюфяков, ему еще полтора года оставалось жить, после многих лет медленного умирания. Переезд был ему приятен. Окна маленькой квартиры в пятом этаже выходили на Елисейские Поля; был и узкий балкон, который затягивали летом полосатым холстом и куда выдвигали особо устроенный замысловатый шезлонг, чтобы Гейне, приподняв пальцем веки, которые сами уже не поднимались у него, мог бросить взгляд на деревья, на гуляющих детей, на всю эту живую пестроту, которую он так давно не видел.

«Вы не можете себе представить, — говорил он одному своему приятелю, — что со мной стало, когда здесь я снова увидел мир при помощи половины оставшегося у меня глаза, а ведь не Бог знает что я увидал. Я попросил жену дать мне бинокль и с невероятным удовольствием стал следить за мальчишкой, продававшим пирожные двум дамам в кринолинах, за собачкой, поднявшей ногу на дерево. Потом я отдал бинокль и не захотел больше смотреть: слишком уж завидовал собачке».

Квартира была тесновата, и везде, кроме самой комнаты больного, чувствовалось громоздкое присутствие нелепой его жены. Г-жа Гейне не понимала по-немецки, не знала, что ее муж еврей и едва догадывалась о том, что он литератор. Гейне говорил сам, что однажды она приметила-таки его подпись в одном журнале, но так и не могла вспомнить, что это за журнал. Всё это, впрочем, было бы еще не беда: никаких особых требований к своей Матильде Гейне и не предъявлял. Хуже, что была она раздражительна, необычайно ревнива, а, главное, страстно любила попугаев. Однажды, всего за несколько недель до смерти мужа, она ворвалась с рыданиями в его комнату и стала кричать: «Попочка, попочка околел». Но едва Гейне успел шепнуть по-немецки: «Слава Тебе, Господи», как оказалось, что рыдания преждевременны и что попочка ожила. А то г-жа Гейне уже начала приговаривать: «Вот и ты умираешь, а тут еще эта смерть...»

Была еще в квартире верная сиделка, Катерина, которая терпеливо ходила за Гейне и оставила запись о его последних часах. Приходили друзья, хотя Гейне каждый раз удивлялся

их приходу. Когда его однажды навестил Берлиоз, он сказал ему: «Как, опять вы: как были чудаком, так и остались».

Последней улыбкой судьбы было появление маленькой чернобровой, черноволосой Камиллы Сельден, оффранцуженной немки (настоящее имя ее было Эльза Кринитц), которую Гейне прозвал мушкой, *Mousche*. Причины ее появления не совсем ясны. Возможно, что она подумывала о литературной карьере и хотела воспользоваться рекомендацией умирающего поэта. Но во всяком случае, они подружились с первого же раза, и посещения ее в последний год жизни Гейне были его наибольшей радостью. Матильда ревновала, хотя серьезных оснований для этого быть давно уже не могло.

Приходил иногда и секретарь. Но Гейне больше писал сам. Огромными буквами он быстро покрывал листы бумаги, запас которой всегда находился возле него; писал, писал, лишь изредка приоткрывая глаз. Когда он уставал, жена читала ему романы Александра Дюма. Пока он сам мог читать, он большей частью изучал медицинские книги, касающиеся его болезни. Но писал он упорно и неутомимо. За эти страшные годы он написал и *«Романцеро»*, и книгу последних стихов, писал он стихи еще и теперь, в последние недели жизни. Но больше всего времени отдавал он составлению того, что он называл своими мемуарами. По утрам приходят друзья. Гейне лежит, пододвинутый к окну, его маленькая бледная рука быстро бегает по бумаге. Он строчит, строчит: он хочет оправдаться перед всеми, он хочет осудить всех своих врагов, он всем всё припомнит. «Нет, нет, они от меня не уйдут, — говорил он, — когти тигра переживут тигра».

Стихи, которые он пишет теперь, не менее безжалостны, — и они безжалостны к самому поэту. Большой частью написаны они на ту гомеровскую, вечную, но не радующую тему, что живая собака лучше мертвого льва, что лучше быть последним ничтожеством на земле, чем величайшим героям в преисподней. Всегда говорят они о том, что надеяться не на что: нет радости, нет добра, нет Бога. «Мы все спрашиваем, говорится в одном стихотворении, обо всём, пока горсть земли не заткнет нам рот. Но разве это ответ?» Приятелю, которому он прочел эти стихи, он их назвал религиозными. «Как, возразил приятель, вот это, по-вашему, религиозные стихи?» «Да, сказал Гейне, — кощунственно-религиозные».

Эту игру на грани или за гранью кощунства Гейне всегда любил. В последние месяцы своей жизни он особенно охотно острил именно на такие темы. «Католичество, сказал он одной

знакомой, превосходная летняя религия, — в католических церквях так прохладно летом». Когда он посыпал деньги беднякам (а он это часто делал), он называл это: «занести визитную карточку Господу Богу». Когда наступали дни усиленных мучений, он говорил, что хочет пожаловаться на Бога в общеество покровительства животным. Одна старинная поклонница его попросила к нему зайти известного в то время аббата Карона. Гейне внимательно его выслушал, но потом заметил: «Молитва вещь хорошая, однако, компрессы помогают всё же скорей». Наконец, совсем уже накануне смерти, он сказал жене, молившейся и плакавшей у его постели: «Не беспокойся, дорогая, Он простит мне, это Его ремесло — прощать».

Так он умирал. И всё-таки, даже против воли его, даже, несмотря на собственную его насмешку, наступили и для него времена очищения страданием. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть письма, которые он писал матери, тщательно скрывая от нее свою столь уже давнюю болезнь, или записки, адресованные Mouche, где сквозит такая беспомощная и ласковая улыбка. Записки эти большей частью вызваны тем, что Гейне слишком дурно себя чувствует, чтобы принять свою подругу, и откладывает с ней свидание:

«Милый друг, мне всё еще очень плохо, я еще и сегодня не могу тебя увидеть. Я надеюсь, ты сможешь прийти завтра, а если лишь послезавтра, — напиши. Твой белый друг Навуходоносор II (Дело в том, что я так же помешан, как вавилонский царь, и ем только рубленную траву, которую моя кухарка называет шпинатом)». Но и на следующий день ему не лучше: «Милый друг, погода плохая и я так же плох; я не хочу, чтобы мой лотос попадал в такое ненастье... Приходи скорей, но всё-таки не сегодня, лучше в среду, если можешь...».

В книжке, которую она написала об умирающем Гейне, Камилла Сельден вспоминает о том, как он всегда был весел и мил, как он шутил, как иронизировал над самим собой, как улыбался своему страданию. Она говорит, правда, что улыбка его была, как «улыбка Мефистофеля на лице Христа». Но, пролежав восемь лет на двенадцати тюфяках, пожалуй, перестал бы улыбаться и Мефистофель.

Духовная ясность его не покидала. До самого конца он не переставал писать. Последние его письма полны литературными заботами. Самое последнее адресовано его издателю; в нем говорится о корректурах его подготовлявшейся к печати французской книги. Накануне смерти он еще пишет несколько слов на визитной карточке, дабы рекомендовать своего фран-

цузского приятеля, Филарета Шаля, немецким друзьям, Фарнгагену и Гумбольдту.

Всё бегает карандаш в маленькой руке. Всё еще пишутся и стихи, и мемуары, о которых не знает Гейне, что после его смерти они, по желанию его семьи, почти целиком будут уничтожены. Недаром, немного ранее, он так жадно справлялся о больном той же болезни историке Отюстене Тьери, не потерял ли он ясность мысли, может ли он еще работать, и был нескончально счастлив, когда ему ответили утвердительно. Этой энергией мысли, этой бодростью разума и сама смерть была на время побеждена.

Но вот пришла и ее победа. Свидетельница рассказывает, как сиделки подняли его с кресла, чтобы перенести на тюфяки, и как его тело с наполовину атрофированными, страшно искривленными ногами (пятки были вывернуты вперед), казалось телом десятилетнего ребенка. Гейне, однако, всё еще сопротивлялся. 16 февраля, к вечеру, он прошептал несколько раз: «Писать». Потом крикнул: «Дайте бумагу... карандаш...» Больше он уже не сказал ничего. Слабость усилилась, карандаш выпал из рук. Сиделка приподняла Гейне. Его свело судорогой, но по ее словам он до последней минуты был в сознании.

В эти дни Камилла Сельден болела сама и не выходила из дома. В воскресенье, 17-го числа, под утро, ей приснился странный сон, которого она не могла истолковать, но который заставил ее встать, одеться и немедленно пойти к Гейне.

Ей сказали, что он умер. Она вошла в комнату и увидела, как изваяние на гробнице, тело Гейне в торжественной неподвижности. Беспокойные маленькие руки были теперь сложены на груди. На лице была радость, хоть и не было улыбки. Непонятного спокойствия смерти уже ничто нарушить не могло.

Бодлер

Бодлер умер 31 августа 1867 года, то есть, именно в этот день сердце его перестало биться, не потускнело зеркало, поднесенное к его губам, и немногим друзьям, не покидавшим до последних дней больного, осталось только добрести за его гробом до кладбища. На самом же деле, Бодлера не стало за полтора года до того, когда схваченная с молоду страшная болезнь, от которой лечился он всю жизнь кое-как и наугад, — ртутными пилолями да исландским мохом, — одолела его наконец и только прикончила не сразу, а, лишив

памяти и рассудка, оставила теплиться, как ненужный огарок, бессловесную, бессмысленную жизнь. Когда она потухла, вновь сделалось прекрасным это прекрасное лицо, одно из удивительнейших человеческих лиц, когда-либо существовавших в мире, на которое и теперь можно глядеть без конца, положив перед собой фотографию Надара, точно снимок с портрета, писанного великим мастером. Никто не плакал над мертвцем, наконец-то вполне умершим; только мать прижимала платок к глазам, расставаясь с единственным, любимым и так страстно любившим ее, хоть и беспутным, написавшим «этую проклятую книгу», таким всегда беспокойным, таким несчастным сыном. Теперь он спокоен. Хотя кто знает:

“Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs”.

Приближение смерти нередко дает себя знать охотой к путешествиям или переездам, желанием бросить насиженные места. Вероятно, в этом и надо искать самое глубокое побуждение, заставившее Бодлера еще весной 1864 года бросить все свои парижские дела, свою уродливую, плохо освещенную, но привычную комнату в гостинице на rue d'Amsterdam, свои книги, приятелей, свою старую негритянку, которую называл он теперь «мой паралитик», полуслепую от алкоголизма, но тем более нуждавшуюся в его помощи. Или, в самом деле, поверить ему, что уезжал, или, вернее, бежал он в Брюссель, только спасаясь от долгов и надеясь поправить свои дела чтением лекций и запродающей одной из своих книг тамошнему издателю? Была и эта причина; быть может, в сознании его другой и не было; но надежды эти были так же химеричны, как недавние его планы попасть в Академию или блестательно начать театральную карьеру. Во всех этих мечтаниях его чувствуется судорожность приговоренного. Кредиторами он, правда, загнан, замучен до потери сил; они его пугают, в самом буквальном, почти физическом, смысле слова. Двадцать лет они преследуют его, и вот уже в его воображении они слились в неотвязное многоголовое чудовище: он бежит от них, бежит, как от смерти... Или в их образе видит смерть?

Брюссельские знакомые Бодлера с самыми добрыми намерениями приглашали его, но благожелательность их не исключала легкомыслия. Слава его до бельгийской столицы в ту пору еще не успела долететь, да никто особенно и не интересовался там ни живописью Делакруа, ни поэзией Готье, ни властью над воображением опия и гашиша: таковы были темы трех первых публичных лекций, для прочтения которых ему

предоставили огромный зал — брюссельский «Художественный Клуб». На первую еще явился кое-кто, — и зал всё же казался пустым; на вторую пришло человек двадцать, из коих к концу оказалось налицо двое или трое, должно быть, из клубной администрации; эти сочли своим долгом прийти и в третий раз. Голос лектора странно звенел в этой пустыне, под сводчатым потолком. В светлом круге под лампою, в белом галстуке, во фраке, он каждый раз твердо дочитывал до конца свои листки, как бы не замечая, что некому его слушать, и отвешивал в конце три учтивых поклона на воображаемые приветствия несуществующей аудитории. Дальнейшие лекции пришлось отменить, и клуб заплатил Бодлеру лишь сто франков, вместо обещанных трехсот, даже не извинившись за неисполнение взятых на себя обязательств. Провал был полный: Бодлер не решился написать о нем матери; письмо его затушевывает, да и просто искаляет правду. Брюссель отверг его. Зато через год, когда приехал Александр Диома, в клубном зале не нашлось места для всех любопытных, волновавшихся так, как будто должен был явиться на кафедре сам граф Монте-Кристо или некий восставший из гроба триединый мушкетер.

Правда, была сделана еще одна попытка, исходившая еще от одного благожелателя Бодлера, но и закончилась она еще грустней. Бодлер рассказал сам, как в доме биржевого маклера и собирателя картин Проспера Крабба три огромных комнаты самого роскошного вида сияли всеми огнями своих люстр, как столы ломились от нелепого изобилия вин и сластей, — и всё это для десяти или двенадцати человек, как он прибавляет, «необыкновенно грустных». Люди эти были, очевидно, собраны хозяином с таким трудом, и так хотелось им перейти к делу, то-есть, к питью и еде, что через десять минут Бодлер оборвал лекцию, сказав просто: «Ну, хватит», рассмеялся и налил себе стакан вина. В тот вечер, говорят, он очень веселился и тут же придумал развлечение, которому предавался после этого в течение нескольких дней: стал распространять о самом себе злостные слухи, будто в Париже он кого-то зарезал, а в любви прельщают его отнюдь не женщины. Надо заметить, что в те времена еще ни то, ни другое из этих заявлений, не обеспечивало ему восторга благодарных современников.

Переговоры с издателями тоже ни к чему не привели. Один вовсе от него отмахнулся, другой, выслушав его предложение перевести один английский роман (уже забытого в

то время Мэтюрина), раскланялся и заказал перевод другому лицу. В этом отношении нравы не переменились. Денег не было. Хозяйка гостиницы, за своей стеклянной перегородкой, всё соровее на него глядела с каждым днем; починка белья и даже покупка почтовой марки были расходами не всегда доступными. Переписка его в это время посвящена почти исключительно денежным вопросам. Делать ему в Брюсселе, собственно, больше нечего. Друзей он здесь не приобрел. Вскоре после него прибыл сюда Гюго, но он не сразу к нему пошел, а когда и стал у него бывать, то редко и нехотя, несмотря на то, что прием, оказанный ему, был довольно радущен. Ведь Гюго он никогда не любил, говорил о нем: «можно быть гением в своей области и оставаться, всё-таки, глупцом», к тому же, теперь ему казалось, что именно из окружения Гюго вышла сплетня, изображавшая его, Бодлера, шпионом императорского правительства, присланным следить за французской эмиграцией в Бельгии. Да и явился сюда Гюго с таким грохотом и треском, в ореоле такого самовлюбленного величия, что Бодлера коробило от одной его олимпийско-жовиальной улыбки, и он с досадой кому-то писал, что не знает, надоел ли гернезайскому изгнанинику его остров в океане, или сам океан, наскучив его видом, изрыгнул его с досадою в Брюссель. Нет, не этому толстокожему пророку было понять Бодлера в его одиночестве и смятении.

Но если не ему, то кому ж еще? Ведь не добродушному обжоре Монселе, приехавшему в Бельгию только затем, чтобы отведать в Антверпене какой-то особо-лакомой рыбы, и по дороге нанесшем Бодлеру в его гостинице краткий визит. Или, может быть, Пуле-Маласси? Тот тоже явился недавно, жизнерадостный, как всегда: его выслали из Франции за печатание порнографических изданий, но ведь тем же делом можно было с успехом заниматься в Бельгии! Это не злой человек. Будучи сам без гроша, он не пустил-таки в оборот имевшийся у него пятитысячный вексель Бодлера. Бодлер его любил; он его прозвал, каламбурно играя его именем, Коко-Мальперше; но с ним надо, всё-таки, держать ухо востро: не собирался-ли он присовокупить к своему изданию *«Paradis artificiels»* страничку, рекламирующую опий и эфир, изготовленные некоей заграничной аптекарской фирмой. Коко мил и забавен, но нельзя ждать от него ни существенной духовной, ни столь необходимой материальной помощи. Зачем же упорствовать и продолжать сидеть в этом проклятом Брюсселе, даже после того, как пришли деньги дляплаты за гостинницу,

даже с этими припадками невыносимой головной боли, когда приходится повязывать голову мокрым полотенцем и лежать часами на кровати, тупо уставившись глазами в потолок?

Зачем? Знает ли это сам Бодлер? Он знает только, что в Париж ему страшно ехать: страшно кредиторов, страшно вновь начинать прежнюю жизнь, страшно еще чего-то, что как будто стережет на каждом шагу и прячется за каждым поворотом парижских улиц. Не помогут теперь ни ртутные пилюли, ни холодные обливанья, ни размеренная жизнь, ни даже молитвы, записываемые в тетрадке, — покойному отцу, старой служанке Мариэтте, и Богу, в которого «легче верить, чем Его любить». Вот он идет по скучной улице города неприютного и чужого, такой, каким описал его Лемоннье; медленно, слегка раскачивающейся и немного женской походкой, переходит площадь возле Наморских ворот, тщательно избегая ступать в грязь, подпрыгивая, если идет дождь, на кончиках своих лакированных ботинок. Он всегда свеже выбрит, длинные полуседые волосы, — хотя ему нет и сорока пяти лет, — полукругом зачесаны за ухо, белоснежен воротничек его мягкой рубашки, и похож он на священника и на актера — «Son Eminence Monseigneur Brümmel». Только теперь всё труднее актеру играть излюбленные свои роли, а в сердце священника — горечь и досада, и обернувшаяся ненавистью любовь.

Ничего никогда так не ненавидел Бодлер, как эту Бельгию, этот ад, на который он сам себя осудил добровольным своим изгнанием. Всё ему кажется здесь еще пакостней, ниже, пошлее, чем повсюду в мире. Есть, правда, искусство, но оно в прошлом, как и города, сохранившие свою старину, как Намюр, например, или Малин, где живет друг его Ропс, художник, способный по крайней мере вас понять, когда вы говорите с ним о живописи. Но настояще! Эта суеверная жалкая жизнь, эти бездушные, об одной наживе хлопочущие люди, для них не находит он достаточно резких, достаточно язвящих слов. Этот год — да, вот уже год, как он здесь, — всё обдумывает он книгу, книгу, где он мог бы излить всю свою злобу, всё отвращенье; не знает только, как назвать ее: «Раздетая Бельгия» или «Голая Бельгия», «Несчастная Бельгия», или «Обезьяня страна», или «Смехотворная столица». Всё оскорбляет его здесь на каждом шагу. Правда, не только здесь: «Ненавижу писак и рифмачей, — пишет он, — ненавижу порок, ненавижу добродетель, ненавижу болтунов и хлопотунов, ненавижу...». Так захлебывается он горечью и злобой, пока не схватит доводящее до обморока удушье, а потом, на минуту, покой

и тишина, мысль о матери, о стихах, которых давно уже не пишет, не может писать, — и белая комната всё в той же гостинице — Hôtel du Grand Miroir, всегда холодная, даже среди лета.

Надо уезжать! Надо, наконец, собраться и уехать! Мысль эта становится всё назойливей, всё упорней. Вот он идет на вокзал, но дойдя до кассы поворачивает назад, возвращается домой; ему страшно, он не может решиться... Наконец, в середине лета, он, всё-таки, едет в Париж, потом к матери в Гонфлер, видится с друзьями, устраивает кое-какие дела, но опять что-то тянет его назад, и уже через полмесяца он опять в Брюсселе. «Я возвращаюсь в свой ад», — пишет он Сент-Беву, и сам, собственной волей, он уже не вырывается из него.

С каждым месяцем теперь ему становится всё хуже. Темные пятна появляются на коже, головные боли всё чаще приводят к длительной потере сознания. Работать он не может, но состояние свое тщательно скрывает от матери и друзей. Правда изредка, всё реже теперь, вдруг какое-то просветление к нему приходит, как два года назад, едва очнувшись от долгого обморока, когда он почувствовал вдруг такую легкость, такую блаженную тишину, такое умиление и радость. Тетрадь была при нем, и он записал: «Неужели кончилось мое себялюбие? Мое унижение — милость Господня. Без любви я лишь бряцающий кимвал».

Вот и теперь, в это мартовское утро, опять он восстал из забытья, опять ему стало легко и хорошо. Бодро спускается он по лестнице, кивает хозяйке за стеклянную перегородку. День — ясный, он поедет в Намюр с Ропсом, захватив с собой Маласси. Ему надо посмотреть там одну церковь, пышную, с розовомраморными колоннами, с затейливо изукрашенным сводом, иезуитскую церковь, из тех, какие за последнее время так нравятся ему. Друзья рады видеть его таким оживленным и веселым. Они вместе с ним идут в эту церковь, куда его так тянет, и там, даже не крикнув, он падает без чувств прямо им на руки. Его увозят в Брюссель, потом повезут в Париж. Но не всё ли равно? Жизнь кончилась. Иль теперь просветление наступило? А позже, гораздо позже, придет и смерть.

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЭМИГРАЦИИ

(1925 - 1950)

Со смертью Володимира Винниченко (1884-1951) завершился (впрочем, при жизни писателя уже отмиравший) первый период литературного творчества украинской эмиграции, период, своими корнями уходящий в дореволюционное и довоенное литературное движение на Украине. Начало века на Украине, ознаменованное творчеством такой исключительно чуждой духу “fin de siècle” поэтессы и драматурга, как Леся Українка (1872-1913), характеризовалось, в общем, бледным и провинциальным народничеством. Только Леся Українка (Ларисса Косач), Иван Франко, Василь Стефанык и Михайло Коцюбинский — высоко одаренные и своеобразные писатели — стояли вне своей эпохи, интуитивно предчувствуя грозу грядущей революции. Они жили уже в *нашем* времени. В. Винниченко, как и ряд его современников, тоже ушедших в эмиграцию, — поэт Олександр Олесь (1878-1944), драматург Спирidon Черкасенко (1872-1937) — были, напротив, тесно связанны с эпохой 1900-1917 гг., отражая психологию интеллигенции (не только украинской), идеологически ориентировавшейся на весьма туманную «реформу человека и общества», а эстетически — на натурализм или поздний символизм. Драмы и беллетристика В. Винниченко, популярные в свое время во всей России, талантливо, но поверхностно, трактовали сугубо актуальные тогда «проклятые проблемы» мятущейся интеллигенции, «вечные вопросы» пола, морали, «честности с собой», социальных «контрастов» и т. п. Но многогранный талант В. Винниченко во всей силе проявлялся только тогда, когда он касался проблемы, по сути, искренно его волновавшей: проблемы не растворянной интеллигенции, а уверенно пробивающей себе дорогу «молодой крови», т. е. ведущей силы украинского национально-социального возрождения: крестьянско-рабочей стихии.

В этих темах В. Винниченко иногда напоминал натуралистически яркого, раннего М. Горького, в своих же драмах, отзвуком модного тогда символизма он приближался к Л. Андрееву. После бурь революции и довольно продолжительного пе-

риода идеологическо-политических колебаний В. Винниченко, оставшись заграницей, пережил успех своих пьес, державшихся тогда на немецких и итальянских сценах и пришедшихся по вкусу зрителю периода послевоенного экспрессионизма. «Ложь», «Закон», «Черная Пантера» и романы «Записки Курносого Мефистофеля», «История Якимовского дома» и в переводах говорили о живом таланте автора. Фантастический роман «Солнечная машина», написанный в 20-х годах и даже изданный в СССР, показал нового Винниченко, очень меткого критика капиталистической системы и социалиста-утописта. Изданная, спустя двадцать лет, на французском языке «Новая заповедь» была значительным снижением писательского таланта и рефлексией довольно наивных доктрин автора в виде т. н. «конкордистского неокоммунизма». Среди украинской общественности за рубежом В. Винниченко, особенно после возрвщения его из СССР, стал весьма непопулярен. Его имя ассоциировалось с «разлагательской и национально-вредительской интеллигентицией»; его произведения, к сожалению, не находили уже издателей, а его все более редкие публицистические выступления встречали либо резкий отпор, либо гробовое молчание. Только новая эмиграция вынесла снова имя Винниченко, запрещенного и в СССР, как выразителя все-же идей украинской прогрессивной демократии и одного из мастеров украинской художественной прозы. Но это было слишком поздно.

В идеологическо-культурном движении украинской эмиграции В. Винниченко, давно уже отстраненный своими младшими современниками, не мог занять ведущей роли. Она принадлежала поколению, резко противопоставлявшему политической и психологической «винниченковщине», т. е. идеям предыдущего, либерального (идеологически) и натуралистического (художественно) периода, тезисы новой национальной культуры и, конечно, иной (националистической) политической доктрины. Это поколение, пришедшее в эмиграцию после гражданской войны, активно участвовавшее в ней и видевшее причины разгрома украинского антибольшевистского движения в мягкотелости интеллигентов-либералов, в их непонимании духа времени и в их неумении идейно овладеть массами, создало ряд литературных групп, сыгравших и в формации украинской эмигрантской идеологии очень значительную роль (напр., «Веселка» в Калише, «Танк» в Варшаве, «Сонцецвіт» в Тарнове, пражская группа и др.). Главные положения, выдвинутые новым литературным поколением в эмиграции, были: 1) западни-

чество, т. е. ориентация на западно-европейскую культуру, 2) разрыв со всякого вида народничеством, просветительством («просвітністю»), социальным правдоискательством, этнографическим регионализмом, 3) разрыв с традицией украинской литературы XIX века, т. е. с гуманизмом и общечеловеческими идеями, представленными М. Вовчок, М. Драгомановым, П. Мырным, И. Франко, П. Грабовским и др., 4) полное отложение украинской культуры от российско-имперской. Антитезой 19-ому столетию должен был стать «век активности», перебрасывающий мост не к гуманным и революционно-демократическим теориям автономистов, федералистов и украинофилов-народников, а к средневековому Киеву, к галицко-волынскому княжеству XIII века, к эпохе казацкого барокко с их рыцарскими и орденскими идеалами «железных веков», о которых мечтал еще Гоголь, с их «мужественными добродетелями исключительности, непримиримости, беспощадности, фанатизма, аморальности во имя высоких целей». В формальном отношении это характеризовалось увлечением неоклассицизмом и неоромантизмом в частности, французским и немецким, хотя и акмеизм Н. Гумилева довольно отчетливо звучал в поэзии бардов украинского волонтиаризма. Вследствие такого идеологического устремления, которое, в конце концов, создало свой особенный стиль в литературе и искусстве, часто трудно было отмежевать резкой чертой публистику от подлинного художественного творчества. При таком положении, к сожалению, всякий обзор украинской эмигрантской литературы, особенно, ее первого периода (1925-39), характеризуется не столько литературно-художественным, сколько политico-идеологическим направлением. Эта литература, *par excellence*, рупор мировоззрений авторов активно участвующих в политической жизни, декларация их той или иной реакции на остро волнующие их общественные проблемы. Украинская эмиграция почти не знает, напр., ни дискуссий на абстрактные «формалистические» темы, ни борьбы тех или иных эстетических и философских мировоззрений. Некоторый застывший догматизм свойственен здесь и эстетической доктрине: в поэзии господствует классический сонет и строгая форма октав и стансов, почти исключен верлибр и всякие попытки модернизации, в прозе типичной является импрессионистическая «лирическая новелла» или пышный, необарочный (Ю. Лыпа), или описательно-реалистический, конечно, нарочито угловатый («сильный») роман (У. Самчук, Л. Мосандз). Тенденции какого-либо новаторства в прозе не пользуются успехом. Примат идеи затмняет зна-

чение формы. И все-же, период 20-х и 30-х гг. выдвинул в эмиграции ряд значительных поэтов. Среди них рано умерший Юрий Дараган, автор, ставшийся усвоить и реконструировать стиль и лексику «Слова о полку Игореве» и давший ряд прекрасных лирических строф, как напр.:

«...Як князь — ранений день схиливсь на захід;
Одкінув свій червоний щит.
Рубіни крові бризнули на дахи
І червінню спокійний став блищить...»

Начертанную Дараганом поэтическую схему, в опоре на древнюю «державно-мужественную» киевскую Русь, разрабатывают Олекса Стефанович (род. 1900) и Евген Маланюк (род. 1897). Первый, в сборниках «Поэзии» и «Стефанос», отличается кропотливой работой над формой, любовью к литому слову; архаизированному синтаксису и даже к старославянским глагольным формам. Его эсхатологическая поэзия насыщена глубоким пессимизмом визионера и мистика. Татарское нашествие, зловещая природа степной Украины, всенародные бедствия и лихолетия, грозные знамения апокалиптических эпох — тема Стефановича, достигающего в своих строфах, дышащих трагическим пафосом, иногда исключительной выразительности. Евген Маланюк, к сожалению, слишком публицист, чтобы быть подлинным поэтом. Ученик В. Брюсова и, конечно, всецело в орбите влияний Н. Гумилева и М. Волошина, Маланюк — бард украинского воинственного национализма. Но, — несмотря на всю парадоксальность этого явления, он — кость от кости *российский* поэт. В нем многое от надрыва, исступленной реторичности и деланной «железности», свойственной многим русским поэтам годов революции. Металическая сухость и тезисность а priori часто умаляют поэтическую ценность маланюковского стиха (сборники: «Гербарий», «Стilet и стилос», «Земля и железо», «Перстень Поликрата» и др.), но как «рифмованная» и, безусловно, очень образная историософическо-фельетонная поэзия и она бывает иногда и ярка и выразительна. Острие «иеремиад» Е. Маланюка направлено против России:

«Всі вироки, здається, проказав
рвучким і ярим віршем... А Россія
ще догнива, мов здохлий бронтозавр,
І труп — горою — мертвобовваніє...».

Часто памфлетная декларативность Маланюка переходит в сугубо пропагандную плоскость:

«Даремно, вороже, радій,
не паралітик і не лірник,
народ мій — в гураган подій
жбурне тобою ще, невірний!
Ще засилатимеш, на жаль,
до Києва послів московських
і по паркету наших заль
ступати лаптю буде сковзько...».

Поэт «гнева», «катастроф», «судеб» и «судов», Маланюк иногда пытался стать в позу нового Шевченко, но не сумел создать ни положительного образа отчизны, ни концепции будущего. Шевченко был чутким и нежным, полным любви и христианского милосердия. Его Украина — идеальная «громада», где «врага не будет супостата», «край милив, світ невечірній», «сім'я велика й нова». Украина же Маланюка — грешница, ведьма, наложница, бьющаяся в противоречиях и в пленах своего безволия, своего лирического проклятия. «Не мед слов'янства», а⁶ «сталь и винтовка», не идиллические «гречкосии», «с бандурой возле хаты», а «варяги» — «из расы завоевателей смелых», как у Гумилева, беспощадные, русые «Синеус, Рюрик и Трувор» должны создать из Украины не «солнечную Эладу», а «железный Рим степей»...

Пражская школа дала ряд выдающихся поэтов того же направления. О. Ольжич (1907-1944), молодой ученый, археолог, автор нескольких сборников стихов («Обрыв», «Башни») и активный деятель националистической организации, погиб в застенке Гестапо, в Саксенгаузене. Неоклассик, в своих уходящих от современности стихах, он писал об Ассирии, Греции, Риме, но жил той же развернутой маланюковской центральной темой: необходимости «изменения национальной психики», воспитания в духе «эпохи, жестокой, как волчица», нового поколения, осуществляющего синтез «варяжской стали и византийской меди». Олена Телига-Шовгенова (1907-1942), расстрелянная немцами в Киеве, где работала в подпольной организации, как и Ольжич, хотела быть поэтессой национальной энергии и боевого фанатизма:

«Не візьмеш плачу з собою,
Я плакати буду пізніш!
Тобі подарую я зброю:
Цілунок, гострий, як ніж.

Щоб мав ти в залізному свисті
Для крику і для мовчань —
Уста рішучі, як вистріл,
Тверді, як лезо меча...».

Леонид Мосенцз, поэт и новеллист (1897-1948), как Юрий Клен (Освальд Бургардт), поэт и ученый (1891-1947), Оксана Лятуринска (род. 1909) принадлежат к той же группе пражан, печатавшейся, главным образом, в журнале «Вістник», издававшемся во Львове в 20-х и 30-х гг. публицистом и литературным критиком Д. Донцовым. «Вістник» и его доктрина, ницшеанско-экзистенциалистского направления, был трибуной крайнего украинского национализма, борьбы с «трехмя М»: «масонством - марксизмом - материализмом», как гласила его программа, конечно, находившаяся в резком противопоставлении не только к идеалам поколения В. Винниченко, но и М. Драгоманова и даже Т. Шевченко. Поэзию Маланюка, Клена, Телиги и др. иллюстрировали необычайно темпераментные и ультрапационалистические статьи Д. Донцова. Доктрина «Вістника», политическая и эстетическая (т. наз. «литературного империализма» по Сейэру и «трагического оптимизма»), исходя из своей установки на западничество (но западничество специфического толка, отрицающее все культурное наследство рационалистов, демократов и гуманистов), была эклектическим отзвуком доктрин Барреса и Морраса, Гобино и Чемберлена, Сореля и Ницше, д'Анунцио и Стефана Георге, т. е. смесью национализма - аристократизма - традиционализма - расизма - неоромантизма. В период между двумя мировыми войнами, благодаря бесспорно талантливым представителям этой доктрины, она находила благоприятную почву не только в эмиграции, но и среди консервативно-националистической интеллигенции Западной Украины, главным образом Галичины. «Вістник» занял, таким образом, гегемонную позицию в культурном процессе в эмиграции и в Зап. Украине. Правда, наряду с его группой существовали и другие: католическая группа «Логос», при журналах «Поступ», «Нова зоря», «Дзвони»; либерально-гуманистическая — при журнале «Назустріч»; умеренно-националистическая — при варшавском альманахе «Ми»; советофильско-либеральная при журнале «Нові шляхи» и коммунистическая — «Горно», при журнале «Вікна». Эти группы объединяли целый ряд весьма талантливых поэтов и писателей не-националистического направления, как В. Бобинский, И. Крушельницкий, М. Рудницкий, Ю. Опильский, М. Калынчук, М. Йрchan, С. Масляк, А. Павлюк, А. Коломыец, О. Турянский, Б. Антоныч, С. Гор-

дынский, О. Тарнавский, Н. Холодна, М. Гнатышак, Н. Королева и др., но какого-либо значительного влияния на литературное движение в эмиграции *stricte sensu* в 30х гг. они не оказали.

Накануне второй мировой войны и во время войны гегемонная группа «трагических оптимистов» творчески себя исчерпала. Период «медного ренессанса» эмигрантской (и частично западно-украинской) литературы подходил к концу, не обретя того общечеловеческого идеала романтической поэзии национального пафоса, каким было творчество великих эмигрантов Данте, Мицкевича или Леопарди. Некоторая первоначальная свежесть «металлического ямба» и магия т. н. «жестокой поэзии», барочная грандиозность романтических тем и мотивов (главным образом, благодаря акцентированию историзма, напр., в «Каравеллах» Ю. Клена, в «Суровости» Ю. Липы, в «Зодиаке» Л. Мосенда) переродилась, особенно в продукции менее талантливой «второй смены» (Р. Ендык, М. Асканыч, И. Ирлявский и др.), в эпигонство или просто в лозунговую макулатуру. Встреча со страшной действительностью оккупированной родины во время 2-й мировой войны для дальнейшей судьбы школы «литературного империализма» была роковой. Пышность кабинетного «мифотворчества», «монументализм историософских визий» оказались дешевой мишурой. Все «готические» и «варяжские» концепции Е. Маланюка заслонила правда Украины, растерзанной фронтами, озаренной заревами, обезумевшей от грохота танков, от концлагерей и виселиц. Трагедию этой эпохи передал Олекса Стефанович:

«Уся в хлібі вона,
Прокльоном для неї хліб сей,
Страшних судів сторона,
Рівнина Апокаліпсі,

Година книг розкриття,
Розкритою книга жита,
Розкрита книга життя,
Кріаво-чорно розкрита...». (1941-44)

«Страшних судів сторона» не приняла учения «вістниковцев» о том, что «так і треба, Україно, країно проклята моя, чужеє різати життя, у ім'я Бога і Христа...» (Е. Маланюк «Посланіє»). В экзистенциалистской правде человеческого одиночества и одиночества для народа приемлем был только гуманизм Т. Шевченко. И этот *чумачизм шевченковской традиции* духовной свободы униженных и обездоленных рождался как революционный стиль нового творчества, отрицая утверждение

«волчьей эпохи», прославление «нового средневековья», поэзию «жажды силы» и ненависти. Нотки нового гуманизма, звучавшие во время войны и у украинских советских писателей, как Ю. Яновский, О. Копыленко, А. Малышко, М. Бажан, О. Гончар прорывались и в эмигрантское творчество, начиная совершенно новый период украинской литературы за рубежом. Итак, даже один из видных представителей «литературного империализма», правда, еще на несколько лет перед войной занявший к нему враждебную позицию, — Юрий Лыпа, стал одним из создателей нового течения. Юрий Лыпа (1900-1944), врач, публицист, критик (талантливые очерки «Бой за новую украинскую литературу», книга «Миссия Украины» и др.), исключительно своеобразный поэт, создавший свою поэтику на базе глубоко пережитой им поэзии барокко 17-го века, читывавшейся в казацкие летописи Самовидца и Величко, драмы Ф. Прокоповича и Г. Конысского, в творчество поэтов Киево-Могилянской академии; он же блестящий переводчик английских и французских поэтов, автор исторических романов (его роман «Козаки в Московії» был событием в украинской исторической прозе), новеллист («Записная книжка» — напоминающая лучшие новеллы Сомерсет Мома), погиб в партизанском отряде в бою, в апокалиптический 1944 год. Его схемы христианского гуманизма остались неоконченными, но его предсмертные произведения (напр., драма о Туссэне Лувертуре, негритянском вожде в Сан-Доминго, восставшем против Наполеона, в которой читатель узнавал близкую ему действительность оккупированной немцами Украины; его «эссе» и книга стихов «Верую») отзывались в душе поколения, проходившего через войну, концлагери и «остовские» катарги. Лыпа говорил по новому о «новом человеке», жаждущем «не ненависти, а любви». Та же самая тема страстно зазвучала и в творчестве Васыля Барки (род. в 1908), нового эмигранта, автора интересных своими мотивами нового христианского идеализма, колоритных, лирическо-созерцательных стихов (сборники «Апостолы», «Белый свет»).

«Моляться сонячки.
Грім на хмарі Біблію читає...
Тополя пошепки: страшний який
 Твій плач, Ісаї!

Моляться сонячники.
Голод. Мати немовля вбиває...
Тополя закричала: он який
 Мій рай, Ісаї...».

Как и В. Барка, П. Карпенко-Крыныця (1917) прошел все эпические этапы войны — на надднепрянских равнинах, взрыхленных танками, все годы страданий и презрения — в плenу, в шахтах Вестфалии, на фабриках Берлина. Его поколение и он «чили кровь из собственной жилы, лежа раненым в окружены в болоте», читая «кроваво-черную книгу жизни».

После второй мировой войны русло литературы украинской эмиграции значительно расширилось, к ней теперь приходится причислить и произведения многих западно-украинских писателей, оказавшихся в эмиграции. Кроме того, новая эмиграция дала ряд сложившихся еще в Советской Украине писателей, как Т. Осьмачка, А. Любченко, В. Домонтович и др., очутившихся в изгнании. Включая в нее еще и представителей первоэмигрантской мусы, украинская литература за рубежем, в период 1945–50 гг., представляет собой, таким образом, довольно пеструю картину талантов, исканий и направлений.

Для бодрой некогда школы «трагического оптимизма» конец войны ознаменовался сигналом полной резинизации. Элегические настроения Е. Маланюка переходят в черный пессимизм:

«О, серце крихке! О душі кам'яна й окаянна!
Чи чуеш? Чи бачиш? Кінчаеться згаслий ваш світ.
Епоха, епоха віходить від вас невблаганно
І де ж ваш притулок? І хто залишив заповіт?
Осіннім дощем вижирає проржавлені барви
І все разплівається, все зникає в імлі,
Лишається тільки в залізо закований варвар
Та гнані у безвісті відірвані діти землі...»

«В воздухе мгла и смертная одурь», — пишет этот поэт, разочаровавшийся в настоящем и предвидяший в грядущем еще более грозные катастрофы:

«...кругліж лихої веремії
поніс у вир смертельний нас —
і носимося, як билини,
понад румовищем руїни,
аж поки сіркою й вогнем
нас згубний подих не здмухне...».

Лирическую поэзию многих эмигрантов характеризует та же разочарованность и пессимизм «гонимых в неизвестность оторванных детей земли». Строго классические строфы Михаила Ореста (род. 1902), искателя «неземных, хрустальных правд Грааля», путника «в обитований край», «в рай», «в не-

погасне царство», в «блаженну тишину», отражают усталость поэта от «века ужаса», неприявшего этот «земной мир в его роковые, демонические дни». Юрий Клен, неоклассик, оформлявшийся под влиянием французских парнассцев и немецких символистов, от кованых строф своих воинственных «Каравелл» перешел к элегиям. В поэме «Пепел империй», весьма живо напоминающей Блоковское «Возмездие», устав от «века конквистадоров», он склонен к утверждению, что

«правдивий світ — не той, для ока зrimий,
крилами rozтинаючи вогонь,
гойдають тихо грізні серафими
на терезах своїх долонь...».

Неоклассическая группа поэтов эмиграции (по своему происхождению близкая киевской группе, во главе с Максимом Рыльским, наиболее выдающимся современным украинским поэтом), отличается все еще высокой культурой стиха и упорной работой над словом, но, в сущности, мало выражает чисто национальную душу украинской поэзии. Леконт де Лиль, М. Эредиа, Р. М. Рильке, А. Блок, Н. Гумилев — имена, которые всегда хочется назвать, читая поэзию Ю. Клена, М. Ореста и других, менее значительных представителей украинского эмигрантского неоклассицизма. «Эпоху ужаса» во всей ее экзистенциональной оголенности рисует экспрессионист Тодось Осьмачка (род. 1895), новый эмигрант, известный и в Советской Украине поэт, еще на заре своего творчества зачисленный в представители «кулацко-реакционной поэзии», поэтому и переживший одиссею гонений и бедствий. Автор большой поэмы «Поэт», сборника «Современникам», Осьмачка интересен в своем страстном обличительстве:

«...Гей, земле!
Диявольский регіт твій чую
у шумі мільйонів планет,
в мільйонах віків...
І хочеться плюнуть з одчаю тобі, земле-мамо,
щоб вилепти пляму-пустелю
на спині твоїй,
як вічне тавро арепітанське,
і димом пропasti в безодні часу...».

Несколько патологический в своем пафосе личной обиды, глубокого отчаяния и безбрежной ненависти к «слугам черным Торквемады», Осьмачка, вероятно, самый стихийный и самый

своеобразный среди поэтов новой украинской эмиграции, которая, кроме него, дала ряд талантливых лириков, как П. Карпенко-Крынцица, Э. Андивская, О. Зуевский, И. Качуровский, О. Веретенченко, Яр Славутич, И. Роговська, Л. Лиман, Л. Полтава и др. В большинстве, это — неоромантики и даже как очень одаренная Эмма Андивская, — сюрреалисты, тематически искатели правды, певцы печали и одиночества, смятенные души, не могущие найти «на сорниках Европы и Америки» второй родины, бурно выраждающие свой гневный патриотизм и тоску по утерянной родине, жаждущие либо «иного мира», либо проповедующие несколько истерический активизм, либо религиозно-философское смирение.

Наиболее значительным из поэтов Галичины, странно согласующим свой боевой национализм с мировоззрением христианина-католика, является Богдан Кравців:

«...знайшли чужину ми, згубили путь додому —
і нині молимось, щоб знявся буревій,
щоб хоч дітей привів до рідних зір і mrій...».

Художественную прозу украинской эмиграции представляют два основных течения. Первое, идя всецело в русле современной западно-европейской (и американской) литературы, культивирует принципы экспрессионистической и сюрреалистической прозы в духе Э. Хэмингуэя, М. Пруста, Дж. Джойса. Сюда принадлежит, в первую очередь, известный и в Советской Украине, Виктор Домонтович-Петров (1895-1949), выдающийся ученый, археолог, историк, этнограф и искусствовед. Его литературно-критические и философские эссе, «романизированные биографии» (напр., блестящий «Роман Костомарова») и психоаналитические повести свидетельствуют о высокой культуре и большой литературной одаренности. Появившиеся уже в эмиграции романы «Доктор Серафікус», «Без почвы», «Усмиренный гайдамак», «Месть», «Роман Бенвенуты и Рильке» и др. были вершинами современной украинской художественно-исторической прозы. Домонтович проявил себя тонким и большим мастером гротеска, незлобной иронии, прекрасным стилистом.

Аркадий Любченко (1898-1944), новеллист, известный с 20-ых гг. и в Советской Украине, в циклическом романе «Вертер» дал образец своеобразной, талантливой лирико-философской прозы. Любченко, оставшийся в занятом немцами Харькове, был вскоре арестован, находился долгое время в тюрьме и умер в конце войны.

Игорь Костецкий (род. 1913), новый эмигрант, экспериментатор-прозаик, ищащий новые формы, переводчик С. Малларме, Т. С. Эллиота, Дж. Джойса и др., писатель с широким диапазоном тем в своих новеллах и романах. «Рассказы о победителях» — лирико-драматические новеллы на темы войны и оккупации: «День святого», «Где начало чуда», «История монаха Генриха» — стильные исторические вещи в лучшей традиции западно-европейской исторической новеллы; «Человек без обаяния», «Тroe смотрят в зеркало», «Божественная ложь» и др. — романы и новеллы о мятещихся и странных людях наших дней. Костецкий один из тех украинских писателей-эмигрантов, которые находятся на грани «вненациональной», почти «космополитической», литературы (некоторые произведения И. Костецкого печатались сначала на немецком языке) и национальной, несколько надуманной, стилизованной.

Новатором в прозе можно назвать и Тодося Осьмачку, формально еще не расставшегося с описательным, реалистическим методом. Но и его проза, конечно, ничего общего не имеет ни с прозой В. Винниченко, ни с реализмом XIX века. Его повести «Старший боярин» и «План ко двору» (сюжет первой взят из дореволюционной жизни, сюжет второй — коллективизация одного украинского села в 20-ых гг.) это, собственно, «внутренние монологи» неистового в своем гневе и горе автора, беспрерывный поток его хаотической, местами затемненной от эмоций речи, исповедь, сверкающая иногда демоническим блеском почти гоголевских видений.

По иному руслу идет творчество прозаиков традиционной, описательно-реалистической школы, напоминающих патриархальных прозаиков Украины прошлого века — И. Нечуя-Левицкого, А. Свидницкого, П. Мырного. Самым выдающимся представителем этой традиционной школы является Улас Самчук (род. 1905), уроженец Западной Украины, автор большой крестьянской эпопеи «Волынь». Самчук не принадлежит к новой эмиграции, но встреча с родиной во время войны, дала ему много нового материала и впечатлений. Самчук является автором многих романов, повестей и рассказов («Горы говорят», «Кулак», «Разбитая богиня», «Юность Васыля Шереметы» и др.). В своем произведении «Ост» он снова переходит к широкому повествовательному полотну, стараясь показать героя своего времени: революционное украинское поколение, его мир идей и социально-политических исканий, его активную и волевую психику. Имя Самчука известно не только украинским читателям. Его «Волынь», переведенная на ряд языков, обра-

тила на себя внимание талантливым изображением украинской крестьянской стихии на фоне эпохи войн и революций.

Историческая беллетристика в эмиграции (включая и т. н. «романизированные биографии») кроме упомянутых В. Домонтовича, Ю. Лыпы, И. Костецкого, представлена еще католической романисткой Наталеной Королевой, Ильком Борщаком («Жизнь Мазепы», «Григорий Орлык, генерал Людовика XV», «Наполеон и Украина», «Войнаровский» и др.), Панасом Феденко, Богданом Лепким (умер 1940 г.), автором трилогии о Мазепе и др.

В традиционном плане пишут романисты: Микола Ковальский («На гранях»), Василь Гайдаривский («Еще одна любовь»), Галина Журба («Зори свет обещают»), Фотий Мелешко («Три поколения»), Иван Багряный («Охотники за тиграми», «Гефсиманский сад»), Василь Чапленко («Черноморцы», «Пиворез»), Докия Гуменна («Дети Чумацкого шляха») и др. Канада дала в последнее время небезинтересную эпопею о канадских колонизаторах-украинцах — «Сыны Земли» Ильи Кириака, Аргентина — повесть об украинцах в Ю. Америке — «По ту сторону мира» Оксаны Драгомановой.

Среди молодых прозаиков, новеллистов и романистов, склонных к новаторству или к манере специфически украинского импрессионизма (типа новелл В. Стефаныка и М. Коцюбинского) следует назвать: новеллиста Олександра Смотрича («Ночи»), Леонида Лымана («Повесть о Харькове»), Йосыпа Позычанюка (погибшего в партизанах в 1944 г.), автора ярких новелл из крестьянской жизни, Володимира Русальского, автора очерков из жизни эмигрантов («Город после осады»), В. Крымского, Е. Гарана.

Украинская драматургия в эмиграции ничего интересного не дала. Тогда как литературная критика, напротив, наряду с поэзией, принадлежит к главному жанру творчества украинской эмигрантской литературы, особенно благодаря Юрию Шереху, известному ученному-слависту и эссеисту. Новый эмигрант, мало писавший в Советской Украине, Юрий Шерех, за пять лет своей эмигрантской литературной деятельности, занял ведущую позицию, как критик и главный представитель новой эстетической доктрины — антитезы эмигрантскому «средневековью». Его статьи о новом театре, о творчестве А. Любченко, о романах Т. Осьмачки, У. Самчука, Ю. Косача, В. Домонтовича, о «четвертом Харькове», его ежегодные обзоры украинской литературы, его «Мысли против течения», его работы на темы современной мировой литературы и искусства

(появлявшиеся и в иностранной печати), его полемические и литературно-теоретические очерки («В защиту великих», о стилях и др.) отличаются всегда смелостью проблематики и блестящей диалектикой.

Подводя итог этому поневоле краткому обзору украинской литературы в эмиграции, надо сказать, что литературе, ставящей своей задачей, кроме всего прочего, быть еще и выразительницей идеалов и хранительницей энергии народа, — в тяжких условиях эмиграции не легко освобождаться от плоского утилитаризма, публицистической злободневности и многих других грехов эмигрантской литературы. Социальные особенности украинской эмиграции, распыленность ее интеллектуальных сил, попытки литературного «планирования» сверху, сильное давление «социального заказа», т. е. требование от литературы политической и даже партийной целеустремленности и конформизма — все это часто снижает взлеты писательских талантов и сковывает творческие замыслы. Конечно, творческая роль всякой эмиграции весьма ограничена. В лучшем случае, она будет всегда лишь отзвуком *незримых*, внутренних брожений и сдвигов в творчестве покинутой родины, или же заахнет, не находя в своей беспочвенности ни идей, ни тем. Украинская литература в эмиграции никогда не могла пустить «корней в воздух», никогда не вдохновлялась «сама собой» в том смысле, как современная русская, польская или немецкая эмигрантская литература. Даже специфически эмигрантское явление пражской школы «литературного империализма» было немыслимо без связи с группой киевских неоклассиков во главе с М. Рыльским, П. Филиповичем и М. Зеровым, обвинявшимися в 20-ых гг. в «буржуазности» и «перекличке с эмиграцией». Движение украинских футурристов (М. Семенко, Г. Шкурупий и группа «Новой генерации»), как и творчество экспрессионистов и неоромантиков (М. Бажана, М. Кулиша, Ю. Яновского, В. Сосюры и др., особенно же творчество П. Тычины) на Сов. Украине имели исключительное значение для развития эмигрантской украинской поэзии. Новаторская проза М. Хвыльового, советско-украинского писателя 20-ых гг., по сей день определяет многое в прозе украинской эмиграции. Влияние родины на эмиграцию, особенно в эпоху НЭПа и в годы бурной т. н. литературной дискуссии на Советской Украине, к концу 20-ых гг., в связи с памфлетами М. Хвыльового («Камо грядеши?», «Украина или Малороссия?» и др.) было огромно. «В коллективном усилии украинских писателей, — говорит Юрий Лыпа, — отражается воля народа создать непреходя-

щий символ своего возрождения. Символ любви и гордости, символ еще не совсем раскрытоего мира украинской души. Это, по всей вероятности, и есть центральная тема украинской литературы. Это, впрочем, та же романтическая тема, которая была близкой и Гоголю и Короленко. «Высшему сердцу» украинского человека, — искателя правды, по выражению Г. Сковороды, посвящены философские стихи П. Тычины и М. Бажана, классические октавы М. Рыльского. Во «Всадниках» Ю. Яновского сверкает степное солнце, как и в «Тарасе Бульбе», и искрится вековечная днепровская волна. В эпической прозе У. Самчука и в арабесках М. Хвыльового, в балладах А. Малышко и в стихах П. Карпенко-Крыныци, в драматической поэме И. Кочерги «Ярослав Мудрый» и в историческом романе Ю. Лыпы, в тонких новеллах В. Домонтовича и в лирических рассказах О. Гончара — т. е. у писателей эмигрантов и писателей Сов. Украинцы — бьется сердце украинского человека, жителя «Марсова поля», меланхолического «железного» Вия, крепко вросшего в землю, от земли берущего свои жизненные соки и свою волю к творчеству.

Юрий Косач

Автор этой статьи ЮРИЙ КОСАЧ (род. 1909), известный украинский поэт (сборники «Черлень», «Миг с мастером»), прозаик (книги новелл: «Прекрасная Украина», «Клубок Арнадны» и др.; романы — о декабристах на Украине — «Солнце всходит в Чигирине», «Чад», «Эней и жизнь других», эпопея о Богдане Хмельницком — «Рубикон Хмельницкого», «День гнева») и драматург (пьесы — «Действо о Георгии Победоносце», «Осада», «Заговор Катилины» и др.). В Нью-Йорке Ю. Косач редактирует литературную украинскую газету «Обрій». РЕД.

СОВЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ ЗА 1951 ГОД

У литературных обозрений очень почтенная традиция. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский писал, что «регулярные отчеты о литературной деятельности начали входить в обыкновение с 1823 года». И он же едва ли не первый охарактеризовал задачу таких обозрений, говоря, что с течением времени обозрения эти делаются «истинными летописями литературы, важным пособием для ее историка».

Из всего послевоенного периода советской литературы истекший год в литературном отношении был, пожалуй, самым бедным. Сравнивая «творческие планы» на 1951 год, которые в начале января опубликовала «Литературная Газета», с тем, что действительно появилось, нетрудно убедиться, что очень многое осталось невыполненным и перейдет, вероятно, в «творческие заявки» на 1952 год.

Ушедший год оказался богат некрологами: ушли и уходят не только старшие, как Павел Бажов или Борис Грифцов, поражает количество умерших писателей, еще совсем недавно представлявших собой «среднее поколение». Умер Андрей Платонов, очень самобытный писатель с «беспрокойной» биографией. В конце двадцатых годов его повести «Усомнившийся Макар» (1929 г.) и особенно «Впрок» (1931 г.) навлекли на автора гнев начальства и высылку из Москвы. Только в середине тридцатых годов Платонову разрешено было вернуться и имя его стало вновь изредка появляться в журналах («Сыновья»). Его военные рассказы («Оборона Семидворья») запали в память вдумчивым показом рядовых участников войны. Вскоре после войны, однако, «Семья Иванова» (1946 г.) — прекрасный рассказ, написанный в характерной для писателя манере грустной усмешки — вновь вызвал недовольство официальной критики и ему суждено было стать последним рассказом Платонова.

Совсем неожиданно выбыл Александр Митрофанов, первая повесть которого «Июнь-Июль» (1929 г.) была темой оживленной дискуссии и резких нападок критики. В ней писатель

одним из первых набросал портрет советского «лицшего человека», мятущегося коммуниста Стремянникова, так оправдывавшего свой скептицизм перед правоверным сталинцем: «Разве я виноват, что вы со своими бригадами не чуете, как жаждут люди сбежать от формул — в войну, во Францию, в семейное счастье — куда-нибудь?»

Скоропостижно скончался Всеволод Вишневский, неутомимый поставщик пряничных «братишек» в стиле «соцреализма» («Оптимистическая трагедия», «Мы из Кронштадта»). Умер и Петр Павленко, едва успев отпраздновать свое пятидесятилетие. В отличие от других — литературная известность шла к нему пешком и добралась до него только после окончания войны (сценарий «Клятва», повесть «Счастье»).

Всё это были очень разные писатели, но в ощущении старших современников революции они представляли собой литературную молодежь двадцатых годов, бестолковую, часто суматошливую юность советской литературы, с бесконечными, порой очень заумными спорами о «живом человеке», за которыми угадывалась зажатая в кулак упрямая вера в то, что после всех излишеств, директив и «заскоков» литературное развитие выйдет на широкую дорогу художественного реализма. Годы шли, надежды таяли, более гибкие приспособлялись.

Ранний уход Платонова, Митрофанова и других не был бы воспринят, как уход целого поколения, если бы он не сопровождался другим, очень знаменательным явлением — всё ширящимся «заговором молчания» их сверстников. Одни молчат поневоле, лишенные слова по «чистке» 1946 года, как Зощенко или Пастернак, но хранят загадочное молчание и «благополучные», как Всеволод Иванов, Михаил Шолохов, Александр Фадеев; упорствуют в молчании Юрий Олеша, Леонид Леонов, а ведь простой перечень их имен уже воскрешает наиболее яркие страницы советской литературы конца двадцатых годов. Вот почему смерть одних и молчание других укрепляет в современнике подозрение, что он присутствует сейчас при начале какого-то нового периода литературного развития, и ему хочется знать, куда оно пойдет.

История русской, как дореволюционной, так и советской, литературы богата примерами произведений, в художественном отношении средних, как, скажем, «Бедная Лиза» Карамзина или «Песня о соколе» Горького, но на долю которых выпала роль стать провозвестниками новой эпохи. Таких произведений-манифестов послевоенный период не дал вообще, если

не считать (с большой натяжкой) повести В. Овечкина «С фронтовым приветом» (1945 г.), в которой современники расслышали слабое эхо своих дум и чувств. Тяжелый салог «чистки» 1946-48 годов раздавил все эти чаяния.

Новинки 1951 года, как и предыдущих послевоенных лет, задержавшие на короткое время внимание критики, принадлежат перу представителей не «среднего» поколения, а молодого, выдвинувшегося к концу войны. Это характерные образцы того «соцреализма», который правильнее было бы называть «сталинским» псевдо-реализмом.

В области поэтического творчества за истекший год продолжалось культивирование «политических стихов» в духе тех, за которые А. Малышко («За синим морем») в прошлом году получил сталинскую премию I степени. Как в свое время разъяснила «Правда» (от 27-го марта 1951 г.), заглавие книжки, вызывающее в памяти представление о какой-то стране, «снившейся и грезившейся нам в детстве», надо понимать «иронически». За реальным «синим морем»

«... ходят горе,
И я с ним выхожу на бой».

В течение своего короткого визита в США Малышко успел разглядеть слезы «каменотесов и зверобоев, грузчиков и шахтеров, видел их и на глазах своих земляков, переселившихся когда-то в обетованный край, а теперь жадно расспрашивающих о жизни в Советском Союзе».

В том же духе написан цикл стихов молодого поэта Николая Грибачева «Кавказ предо мною». Путевку в дом отдыха на Кавказ поэт использовал с большой дальновидностью: сначала пошел «пешком» в коммунистическую Мекку — в Гори, «на родину далекого отца», чтобы самолично «увидеть далекое утро, где наш начинается век». Затем он посетил колхоз, устроивший пир в честь прибывшей делегации «индийских гостей». Пиршество происходило в саду, столы ломились «от тяжелой снеди» и вин:

«Пять индийских поселений
За целый год
Навряд бы оплатить сумели
Такой расход».

Впрочем — долой хозрасчет! — «поскольку тут живут и трудятся с почетом и с шуткой пьют». Пребывание на Кавказе Грибачев завершил экскурсией на вершины гор, откуда он

разглядел очертания берегов Турции. Но как ни напрягал поэт своего зрения, ему так и не удалось увидеть там «ее жандармов, ее голодных и больных», не удалось увидеть

«... как янки,
Плюют в Босфор, ведут по пьянке
Чужих невест в публичный дом».

Эта политическая «поэзия» порядком приелась, повидимому, даже узкому кругу советских поэтов. Как-то Твардовский не удержался и опубликовал в «Литературной Газете» (от 11-го сентября) статью «Об инертности формы и содержания». Перебирая «цикли» заграничных стихов Симонова, Суркова, Веры Инбер, Малышко, Твардовский замечает, что в них обнаруживается «какое-то однообразие, какая-то похожесть». Твардовский не отрицает, что «зарубежная тема нужна», но было бы хорошо, «если бы циклы на эту тему дополнялись такими же обильными циклами — уральскими, сибирскими, северными, южными». Но «отечественная тема на поверхку оказывается потрудней. И не потому ли некоторые поэты предпочитают ей зарубежную тематику?».

В стихах на «отечественные темы» буйным чертополохом цветет, — по отзыву другого критика, — «декларативность и сентиментальщина». Иной поэт пытается найти сюжет из жизни, но не решается опоэтизировать его, боясь навлечь гнев начальства. Такие поиски вызывают ироническое отношение читателей:

«Всё ходишь? — спрашивают, — а?
Конфликты в жизни ищешь?
А их, поди, и нет?
.....
Конфликты, — отвечаю, — есть . . .
Что ж нехватает?
Слов . . . ».

(И. Ганбин).

Хотя заграничная тема в художественной прозе текущего года занимает меньшее место, чем в поэзии («Сердце» В. Собко, «Тетрадь, найденная в Сунчоне» Р. Кима, «Буковинская повесть» И. Муратова), и авторы стараются писать о Советском Союзе, послевоенная действительность отражена в литературе слабо, хотя во многих произведениях есть прямые ука-

зания на то, что время действия — 1948, 1949 или даже 1950 год. В большинстве из них отсутствует «воздух» эпохи.

В этой связи уместно затронуть один вопрос, касающийся формы этих произведений. Очень отчетлива тяга молодых писателей к форме романа. Эта тяга стала даже темой дискуссии на втором всесоюзном совещании молодых писателей, состоявшемся весной 1951 года. «Старшие товарищи», как Федин, Эренбург и другие, внушили молодым, что их стремление во что бы то ни стало написать большую повесть или роман — в корне ошибочно. Молодой писатель, конечно, может написать роман или даже эпопею, но о таких произведениях слишком часто можно сказать: «Полотно большое, а вот что мы видим на этом полотне?», говорил Федин, объясняя: «отсутствует стройная композиция, помогающая уяснить решение темы; слабы связи с героями; нет единого источника света, а ко всякому персонажу, точно на киносъемке, приставлен свой Юпитер... большое полотно не стало большой картиной».

На эту же тему высказался и Твардовский в упомянутой выше статье: «Молодой человек, только что входящий в литературу, имеет горсточку жизненного материала. Ему бы писать и переписывать небольшой рассказ, чтобы на малом поле развить свое мастерство. Но он поступает иначе: «Сем-ка, я взбодрю повестушку на этой горсточке матерьяла». И он остается глух к советам более опытных писателей: «он уже научен нашей, иногда прямо-таки губительной практикой «дорабатывания» и он говорит: «дайте мне редактора». Иными словами: работайте за меня, причесывайте, исправляйте мою повесть, а я уж свое дело сделал». То же самое, — пишет Твардовский, — наблюдается в области очерковой литературы: «Приехал человек с Волго-Донского строительства. Говоришь ему: «Вы очень интересно рассказываете, напишите очерк — это так важно и нужно сейчас». А он отвечает: «Очерк? За кого вы меня принимаете? Я роман писать буду». И его нельзя убедить даже классическими примерами высокого искусства очерка, которыми так богата русская литература. На все возражения, молодой литератор твердит свое: — «Я буду писать роман!». И финал известен: «В жажде успеха», он перебивает свой органичный и живой материал каким-то нанатянутым беллетристическим фокусом, ходячей разменной monetой: — он, она, пакет, шпион, остров. И нет очерка, и нет романа.

Роман, увы, есть и в этом самая большая беда: явно недоработанная, сырья вещь, с острой агиткой, поступает к

целому штату редакторов журналов и издательств, где подвергается «литературной обработке». Образчиками такой продукции являются многие романы истекшего года: «Ясные дали» А. Андреева, «В далекой гавани» Л. Зайцева и Г. Скульского, «Горячий час» Ольги Зив и т. д.

Не трудно заметить, что во всех этих романах преобладает «индустриальная тематика». Она, увы, преобладает теперь во всех областях искусства. Дело дошло до того, что однажды в Союзе писателей слушался отчет кинокомиссии о сценарном «плане», составленном на основе «плана развития хозяйства». «После этого, — замечает Твардовский, — не приходится удивляться, что один критик в Саратовском альманахе сокрушался по поводу того, что «тема газовой промышленности еще не стала ведущей... в продукции местных живописцев». Твардовский отстаивает мысль, что планирование в области искусства, в основном, должно сводиться к заботливому и внимательному изучению того, что искусство дает сегодня: «Планировать литературу — это значит угадывать ее тенденции, отличать путь правильный от неправильного, «наводить» писателя на главную и органичную его дарование тему»...

Эти высказывания Федина и Твардовского, может быть, делают ненужными изложение в этом обзоре содержания ряда романов «образца 1951 года». Исключение стоит сделать для трех произведений: романа Б. Горбатова «Донбасс», повести Л. Карелина «Младший советник юстиции» и романа Е. Воробьева «Высота».

«Донбасс» Горбатова любопытен тем, что в нем сделана попытка по новому представить начало тридцатых годов, связанная с рядом особенностей послевоенной литературной жизни, на которых стоит вкратце остановиться.

Вскоре после окончания войны стало ясно, что «человек с войны», возвращения которого сперва так ждали критики, не сможет занять то центральное место в послевоенной беллетристике, на которое, казалось, он имел все права. Прием, оказанный официальной критикой гвардии сержанту Иванову, из рассказа покойного Андрея Платонова, и стихам многих молодых фронтовиков, обвиненных в «самокопании», в «отрыве от жизни» и в «пессимизме», показал, что «человеку с большой войны», как в свое время и его предшественнику «человеку с гражданки», не дадут высказаться. Писатели пытались сначала обмануть «бдительность» цензоров и дали целую серию произведений, посвященных тяжелому первому

периоду войны. Но и их разоблачили в пристрастии к «ненужному натурализму» в изображении страданий людей во время войны и в том же «отрыве от нашей замечательной современности», в нежелании «включиться в осуществление четвертой пятилетки». Но идеологически потрепанное в войне литературное начальство не могло подсказать писателям никаких новых тем и лозунгов. Пришлось вернуться к временам первой пятилетки и рекомендовать в качестве зарядки романы тех лет: «Время вперед» В. Катаева, «День второй» Эренбурга, его же «Не переволя дыхания». Когда, однако, критики освежили в своей памяти эти произведения, они почувствовали, что многое в них «несозвучно послевоенному времени». «Кольки Ржановы» тех лет давно стали директорами крупных предприятий и вступили в пору жизни, когда человеку хочется оглянуться на пройденный путь и увидеть пережитое в каком-то ином свете. Этому, ныне старшему, поколению захотелось иметь более привлекательную молодость, чем она изображена в «Аристократах» Погодина или в повести Авдеенко «Я люблю», с их романтизацией беспризорничества, «блата» и авантюризма. Это верно почувствовал Борис Горбатов, сам продукт тех лет, запечатлевший в романе «Мое поколение» (1929–30 гг.) биографию своих сверстников. Роман «Донбасс», напечатанный в «Новом Мире» в 1951 году, и является второй, исправленной редакцией «Моего поколения». Это легко почувствовать с первых страниц «Донбасса», сравнив их с началом раннего романа Горбатова.

В центре «Моего поколения» — группа подростков: «Бесстрашные и верткие дети улицы, воробы на вздыбленной мостовой, с жадно разинутыми ртами и глазами». Из пятерых «корешков», героев романа, только у двоих был «полный комплект родителей». На их глазах, на вздыбленной мостовой «просто и некрасиво умирали люди». Они рано узнали жизнь, и рано появилась в них «холодная прищуренная недоверчивость». «Верткие воробы» успевали прошмыгнуть всюду, собственными глазами «ощупать» и брюхо танка, и людей на митинге. Учились они урывками и кое-как, вскоре жизнь их разверла: одни стали выдвигаться ударной работой на производстве, другие помогали «раскулачивать» деревню, третьи подвизались в партийном аппарате. На всю жизнь сохранили они ребячливую нежность только друг к другу и, случайно встретившись в уличной толчее какого-нибудь города, они начинали беседу с зволнованного вопроса: «А помнишь?»

Как это ни покажется странным, но внутренним импульсом

для написания этого романа, явилась неосознанная до конца обида Горбатова за то, что близких его сердцу «корешков» старшие современники не любят. Вот почему писатель не внял тогда совету старших друзей и поспешил с написанием этой романтизированной биографии своего поколения.

Новый роман «Донбасс» посвящен тем же годам и тем же героям, хотя и под другими именами. В центре повествования сейчас не пять, а двое. Но уже с первых страниц поражает иное освещение и язык произведения: «Начинались тридцатые годы, годы Великой Стройки, чудесных дел и удивительных людей... То были дни не только Великого Сева, но и Первой Жатвы. Сроки сбывались. Мечта становилась явью, замысел — плотью, чертеж на синей кальке — живым городом во вчерашней пустыне».

В Чибириках, захолустном городишке на Полтавщине, живут два неразлучных друга, Виктор и Андрей, только что окончившие семилетку. Солнная жизнь городка их не привлекает, до слуха их доносятся гулы взбудораженной жизни. Оба еще не решили чем стать — знаменитыми летчиками, подводниками, матросами дальнего плавания или двинуть в Москву и стать артистами. Конец их мечтам кладет комитет комсомола: оба мобилизуются на ликвидацию прорыва в Донбассе и попадают на шахту «Крутая Мария». Тяжкий изнурительный труд обоих сначала пугает и отталкивает. Попав на «доску позора», самолюбивый Виктор бежит с шахты, но Андрею удается догнать малодушного приятеля и вернуть его на шахту. Не в пример «корешкам» из «Моего поколения», Андрей и Виктор имеют внимательного руководителя в лице комсорга Светличного: он для них больше чем комсорг, больше чем власть — он «их совесть». В том же стиле описан и мастер Проколий Максимович Лесняк и вся его семья. Диво ли, что оба довольно скоро становятся «рекордистами», а Виктор даже ставит себе цель обогнать недавно прогремевшего на весь Донбасс Стаканова... Официальная критика дала роману (пока опубликован только первый том) очень лестную оценку.

Больше чем сюжет и чем попытка автора задним числом исправить биографию людей своего поколения, интересен в этом произведении его язык, особенно по сравнению с языком «Моего поколения». В «Донбассе» нет и следа того озорного «блата», которым щеголял Горбатов и его литературные сверстники в тридцатых годах. Герои писателя привезли с собой на шахту не только аккуратные сундучки с парадными сати-

новыми рубашками, но и ассортимент слов, которых просто не знали «корешки» из «Моего поколения».

Новый язык Горбатова — результат той кампании «за чистоту литературного языка», которая началась в связи с прошлогодней статьей Сталина «Относительно марксизма в языковедении». Как это бывало уже не раз с высказываниями Сталина, статья его в дискуссии играет роль катализатора, выявляющего различные группировки внутри официальной писательской общественности. Особенно встревожены представители старшего поколения. Многие из них довольно верно расшифровали указания Сталина в том смысле, что нужно по возможности избегать ввода в повествование областных словечек: фуксом легко может проскользнуть кусочек неприкрашенной советской действительности. Вот почему некоторые из них, как В. Саянов, спешат покаяться в словесных излишествах «фартовых лет», и овладеть тайной складного, «обтекаемого» литературного языка.

Эта усиленная забота о чистоте литературного языка привела к тому, что при относительно большом количестве пьес и романов на темы послевоенной жизни, их познавательная и эмоциональная ценность очень невелики. Читатель устал знакомиться под разными именами всё с тем же типом внимательного, ласкового и где-то в глубине души бесконечно нереального партийца, как устал он от кипучих, жизнерадостных директоров предприятий, только изредка совершающих по штатам положенное им количество ошибок. Он оживляется только при встрече с каким-нибудь случайно забредшим в этот литературный заповедник эпизодическим персонажем или находя пропущенную редактором и цензором живую деталь быта.

Такие встречи случаются только в маленьких рассказах (не потому ли многие писатели осторегаются работать над рассказом и очерком?). Интересными подробностями из живой действительности относительно богата повесть Л. Карелина «Младший советник юстиции» и роман Е. Воробьева «Высота».

С какими только героями не приходилось знакомиться читателям за время тридцатилетних странствований по страницам советской литературы — с директорами предприятий, партийцами, командарами, летчиками, учеными, полярниками, пограничниками, колхозниками, врачами, артистами, художниками, работниками прилавка, золотоискателями! Только люди одной профессии оставались как бы засекреченными — работ-

ники юстиции. По многим косвенным признакам видно, что Л. Карелин понимал значение своего выбора, тщательно готовился и обдумывал жизнь своего главного действующего лица. Несмотря на его молодость, у героя повести Трофимова уже внушительный «послужной список»: до войны он работал несколько лет следователем; потеряв во время бомбежки жену и ребенка, он добровольцем ушел на фронт, отличился, мог остаться в армии или вернуться к прежней работе. Но Трофимов не ищет легких путей. После окончания войны он засел за учебу, окончил юридический факультет и вот получил работу в качестве районного прокурора в маленьком уральском городе Ключевом. Чуть ли не на следующий день после приезда Трофимов инкогнито отправляется на заседание суда, чтобы поскорее войти в предстоящую работу. Он попадает на разбирательство дела шоferа Лукина, обвиняющегося в оскорблении своей жены. Трофимов случайно сидит рядом с ней в зале... От начала повести веет чем-то свежим. Увы, это впечатление позже исчезает. Несмотря на несомненное писательское чутье темы, тщательность литературной обработки, автору не удается разбудить более глубокий интерес к личности Трофимова. В конце повести он сам себя «разоблачает» как зауряд-герой, успехи которого построены на испытанном методе работы — на умении поставить сыск и возбудить в людях дух доносительства....

В еще большей степени, чем повесть Карелина, богат деталями из живой действительности роман Воробьева «Высота». Действие романа происходит в небольшом городе Каменогорске, расположенному на границе Европейской и Азиатской России. Каменогорск — один из самых молодых городов, дитя первой пятилетки. Но, несмотря на свою молодость, он уже прочно обжит. Часть населения — коренные жители окрестных казачьих станиц, другая — пришлый люд, привлеченный сюда двадцать лет назад первыми яркими огнями стройки. На стройку ехали тогда «холодные сапожники, парикмахеры, самодеятельные пекари и другие полукустари-полуторгаши, ехали лодыри, рвачи, оборотистые лентяи, любители легкой жизни, ехали беглые кулаки и уголовники, ехали самогонщики, шинкари», ехали и мастеровые и специалисты. Кто не сумел «зацепиться» здесь, поехал дальше, но многие «зацепились», отстроились, вокруг города возникли поселения с озорными названиями: «Первый Шанхай», «Второй Шанхай», «Нахаловка», «Карабун», «Самострой». А недалеко от этих «самостоятельных застройщиков» строился более благообразный и совре-

менный городок, в котором жили инженеры и старшая администрация строительства. Некоторыми своими страницами роман Воробьева напоминает последнее произведение покойного А. Малышкина «Люди из захолустья» (1938 г.). И можно только пожалеть, что писатель, занятый своими главными действующими персонажами — прорабом Токмаковым, начальником Уралстроя Дымовым и рекордистами, уделяет мало места жизни того люда, который в невероятно трудных условиях сумел «зацепиться» и обжить эти, в недавнем прошлом, пустынные места.

В известном смысле роман Воробьева помогает подвести итог впечатлениям от большинства новинок минувшего года: в пространных произведениях — «на большом полотне» — живет тщательно отобранный контингент «героев», живут они, хотя и напряженно, но какой-то вымышенной и внутренне-серой жизнью, а за пределами этого большого полотна сбились в кучу рядовые люди со своей трудной жизнью, до которых никому нет дела и которых не замечают те, кто, захлебываясь от восторга, твердят о «величии нашей эпохи»....

В. Александрова

БЕСПРИЗОРНИКИ

Глава восьмая

ПЕРЕЛОМ

«Воровать завяжу* я на время...».
Из блатной песни

Проскитался я почти год. Объездил весь Юг, побывал в Крыму, летом 1937-го года вернулся в Орджоникидзе, в надежде найти здесь Мишку, а отчасти и потому, что потянуло в родной город.

В Детдоме, куда я первым делом зашел, меня поразили большие перемены. Чистый, прибранный двор. От прежней грязи нет и следа. Несколько мальчиков бегали по двору, играя в футбол. Коридор свеже выбелен. В доме необычна тишина. Вдоль стен плакаты и портреты вождей, что меня удивило больше всего: — стоило раньше повесить на стену портрет или плакат, как из хулиганства и протеста, мы немедленно его срывали.

«Что-то здесь неладно», думал я, взбегая по лестнице к той комнате, куда меня впервые ввели, когда я восемь лет тому назад попал в Детдом. Отворив дверь, я остановился в удивлении. Вместо обычного зрелища — детей, валяющихся на беспорядочно расставленных сломанных койках, тряпья и сора на полу, потемневших стен, испещренных надписями, окон с выбитыми стеклами, потолка с приклеившимися окурками и облаков табачного дыма, — я увидел: чисто выметенный пол, выбеленные и разукрашенные плакатами и портретами стены, застекленные окна, вдоль стен аккуратно стоящие койки с матрацами, подушками и одеялами, между ним тумбочки, большой шкаф и посреди комнаты стол, за которым сидели трое незнакомых, игравших в карты мальчиков. Вид их был

См. кн. 26-ю и 27-ю «Нов. Журн.»

* завяжу — перестану.

тоже необычен: чисто одеты, умыты и наголо острижены. Все это меня как-то рассердило, показалось чуждым и неестественным. Почувствовалось, что здесь хозяинчиают теперь новые люди, и таким, как я, старым жителям детдома, здесь уже не место. Бросив игру, мальчики с любопытством разглядывали меня.

— Ты чего тут ищешь? — проговорил наконец один из них.

— А тебе какое дело? Тоже квартирант нашелся.

Самолюбие мое было задето. «Приоделись, зажили, носы задирают!» с раздражением подумал я. И чтобы сорвать злобу, я отвесил мальчишке здоровенный подзатыльник. Они повскакали с мест.

— Ванька! Зови воспитателя! — закричал старший.

Один из мальчишек стремглав кинулся к двери.

— Погоди, сейчас увидишь! — забегая за стол, угрожающе проговорил другой.

Но не успел я его проучить за эту дерзость, как услышал за собой голос:

— Чего, друг, смотришь? Бей их по сусалам!

Я обернулся. На пороге стоял парень. Его вид сразу же внушил мне доверие. Повсевременно близким, родным. Потрепанная одежда, рубашка нараспашку, кепка на затылке, взъерошенные волосы, руки в карманах, окурок в зубах и наглое, презрительное выражение лица. Я узнал в нем старого детдомовца, Саньку, и хотя раньше никогда не был с ним дружен, сейчас от души ему обрадовался.

— Жаловаться, сволочи, вздумали, — продолжал Санька, входя в комнату. Мы бросились с ним ловить мальчишек и, оттупив их, выкинули в коридор.

— Только что приехал, думал переспать, друзей повидать... Захожу и... — Санька не докончил и зажав нос пальцами, словно сморкаясь, встряхнул ими в воздухе. Жест этот красноречивее всяких слов выражал его отношение к окружающему.

— Да-а!.. хороши порядочек устроили. Чистота!.. некуда плонуть...

Мы тут же оба дружно сплюнули.

Санька прошелся по комнате, отдернул одеяло с одной кровати, пошупал простыню, заглянул в шкаф, выругался перед портретами, сорвал мимоходом один из плакатов и, вытащив пачку папирос, предложил мне закурить.

— Буржуазность вышибали, а теперь, вот, опять буржуазные привычки прививать вздумали... Врешь, нас не обманешь!

Знаем мы их! Ты, Колька, им не верь! Сегодня простици, костюмчики разные дают, кроватки бобиком разделяют, а завтра укалывать пошлют. Заманить думают. Знаем, чем это пахнет... Да разве наш брат тут усидит, в этих буржуазных порядках? (Ему, видно, очень нравилось слово «буржуазный» и он повторял его с особенным ударением, растягивая гласные). Шутишь! Не так воспитывались, чтоб такое терпеть!.. Чистеньким соблазняют. Может на эти простици сопляки и попадутся какие, а из нас буржуев не выкуешь!

Наш разговор был прерван вошедшим молодым человеком, лет около тридцати, с веселым, открытым лицом и смеющимися глазами. Подойдя к нам и окинув нас быстрым взглядом, он с улыбкой сказал:

— Что ж это вы, орлы? В гости пришли, а на кулаки полезли?

Мы сразу почувствовали в нем «начальство» и были удивлены его товарищеским, приветливым обращением. Но еще более нас поразило то, что в его манере говорить и держать себя, и особенно в его походке, было что-то для постороннего глаза неуловимое, но для нас безошибочно определяющее его принадлежность к «нашим». Правда, это нисколько не изменило моего боевого настроения и, принимая его шутливый тон за вызов, я нарочито грубо проговорил:

— Кто еще здесь гость, посмотреть надо, сам-то ты откуда взялся?

— Э, да ты, я вижу, щетинистый! Что, иль руки чешутся?

— рассмеялся он, — только со мной, браток, не советую.

Это был уже несомненный, по нашим понятиям, вызов. Мы с Сенькой мгновенно схватились за финки.

— Ага, вот вы какие! — сказал он, нисколько не смущаясь, и уже совсем весело, заложив руки в карманы, поочередно оглядывая нас полуприщуренными глазами. Мы напряженно следили за каждым его взглядом и движением.

— Ну, братцы, довольно баловаться! — вдруг переменив тон, спокойно проговорил он и, не успели мы опомниться, как он быстрым прыжком очутился рядом с нами. Руки наши, зажатые как в тиски, были вывернуты и финки упали на пол. Не ожидая с его стороны такого напора и ловкости мы растерялись. А он, ловко подобрав финки и взглянув на нас, рассмеялся.

— Что ж, ребята? Вид боевой, а финку держать в руках не умеете? Стало-быть, рано вам еще оружие-то носить. — И повернувшись к толпившимся у порога и с любопытством наблюдавшим за нами мальчикам, он протянул одному из них

финки: — Снеси в кабинет. А теперь, друзья, — обратился он к нам, — давайте говорить по-свойски. Хотите — оставайтесь, но только с уговором, — без скандалов, а не хотите — вот вам порог, проваливайте и чтобы впредь не появляться. А уж коли приведут — разговор другой будет.

Вопрос был поставлен так просто и прямо, что мы не нашлись, что ответить. С прежними воспитателями бывало легче: покричат, поколотят, с ними поругаешься и всё в порядке. Теперь же, несмотря на всё наше желание ругаться и буйствовать, я чувствовал, что это будет некстати и я же останусь в дураках. Воспитатель подошел к столу, хотел было сесть, но приостановился и спросил:

— Небось, с дороги есть хотите?

— Знал, куда шел, — усмехнулся Санька, — на голодное брюхо не заявился бы.

— Предусмотрительность никогда не мешает, — шутливо ответил он и сев, указал нам на стулья.

— Ну как? Давно с детдома оборвались? — неожиданно просто, по товарищески, обратился он к нам.

— Да, порядком... — неохотно протянул я.

— Знаю, паршиво вам было, да теперь в нашем детдоме порядки другие, не те, что прежде, вот увидите...

— Думаешь, от чистоты твоей легче станет? — насмешливо перебил Санька.

Воспитатель не ответил и продолжал:

— Переделываться, друзья, надо. Знаю, что нелегко вам жилось, да теперь от нас с вами зависит, чтобы легче стало.

— Нет, это уж ты сосунков агитируй, а нам не бреши! — презрительно бросил Санька.

— Да, нам это... поздновато, — поддержал я.

— Ничего не поздновато. Стоит только захотеть. Не первые вы и не последние. Я-то, думаете, кто? — и он пристально посмотрел на нас. — Сам такой же, как вы, был. Двенадцать лет на улице остался, семь лет бродяжничал... По той же дороге, что и вы, шел. И знаете, братцы, думаю гораздо дальше вас зашел... А вот захотел и выбился. А тогда трудно было, никто не помогал.

— Брось, ты, трепаться! Тоже... вызвался помощник! Без помощи до сих пор прожили и дальше обойдемся.

— Как хотите — обходитесь, — пожал плечами воспитатель, — У меня порядок такой: хочешь человеком стать, живи с нами — вместе выбиваться будем. А не хочешь — проваливай на все четыре стороны. Эх, братцы, вы думаете я здесь зачем? — вдруг горячо и убедительно заговорил он. — Что-

бы свободу у вас отнять, да с палкой за вами гоняться? От палки бы я сам первый убежал. Жизнь хочу вам другую сделать... Понимаете? С такой путёвкой, как у вас, на воле долго не проживешь. Теперь строже стало, попадёться — не вывернешься! Сам я в лагере сидел, знаю. Наших там до чёрта, и всё как вы, с огоньком ребята. Сидят, локти кусают, лопаткой укалывают... Насмотрелся я там, как наш брат пропадает, жалко своих.

Воспитатель вытащил коробку папирос и протянул нам. Все закурили.

— Подумайте, братцы, кто ж нам поможет, если мы сами себе не поможем? Вы же знаете, в жизни ничего даром не дается. Надо учиться, сильным стать и бороться, чтобы за себя и за других постоять. Вот я вошел — вы за финки схватились, правильно! Так же бы и я сделал. Да с ножом далеко не уйдешь.... Чего моргаете? Правду ведь говорю?

— Да оно-то так... — избегая его прямого взгляда, неуверенно проговорил я.

— То-то! Выбьемся! Ты... как тебя? — кивнул он в мою сторону.

— Колька.

— Так вот, Колька. Чужих здесь нет, все свои. Играй в открытую. Скажи, вылезем?

— Да пока что влезли, а как вылезать будем, увидим.

— Вылезем! Только бы захотеть, а сил хватит. — Он прислушался к шуму на дворе. — Наши с купанья идут, — сказал, — ну, хватит пока, наговорились, успеем еще. — Он встал, подошел к нам и дружески потрепал по плечу. — Поживите, осмотритесь...

В дверях он еще раз остановился и, подмигнув, сказал:

— А с голышами вы полегче... не обижайте!, — и вышел.

Мы молча курили.

— Ну, что ж теперь делать будем? — сказал Санька, внимательно разглядывая свои рваные башмаки.

— Ночку перекемаем, а там посмотрим... А здорово он с финками.. Сразу видно, в деле бывал.

— Пахан настоящий! У такого поучиться не плохо.

— Да-а... Жаль, свихнулся парень.

— Точно. Зря пропадает... Не иначе как черти испортили. Брешет-то он складно, да уж лучше бы на дело водил... Нет, — вставая со стула, решительно проговорил Санька, — Ты, как хочешь, а я поехал.

**

Санька уехал, а я решил на время остаться. Любопытно было посмотреть, в чем на деле заключались слова о помощи «выбиться в люди». Хоть разговор с воспитателем и произвел на меня некоторое впечатление, но глубоко укоренившаяся во всех нас подозрительность заставляла меня предполагать, что в его намерениях по отношению к нам был какой-то тайный умысел. Мы не верили, чтобы кто-нибудь искренно, без задней мысли мог желать нам добра.

В детдоме я нашел старых товарищей, которые рассказали мне о всех происшедших здесь переменах. Всё, оказывается, началось с приездом двух новых воспитателей. Сперва к ним, как ко всякому начальству, все отнеслись враждебно, но они сравнительно быстро сумели завоевать доверие и уважение. С их приездом, все в детдоме начало постепенно меняться. Были вычищены дом и двор, выбелены стены, вставлены стекла. Старые, продавленные койки заменили починенными в устроенной при доме мастерской. Появились набитые соломой матрацы, одеяла и было выдано даже по одной простыне. Простыни особенно поразили всех — большинство имело о них самое отвленченное представление, — и пока воспитатели не объяснили их назначения, никто толком не знал, какими пользоваться. Некоторые первое время так боялись их запачкать, что постилали только на день, а на ночь складывали и стлали поверх одеял.

Питание в детдоме тоже улучшилось. Все эти преобразования были осуществлены, главным образом, потому, что наш детдом, оказывается, был взят под «шефство» крупного завода цветных металлов «Электроцинк», находившегося в нашем городе. Неизвестно приветствовали ли это нововведение рабочие, у которых вычитались «пожертвования» в пользу нашего детдома, но дети зажили лучше, особенно малыши и новички, не научившиеся еще воровать. Поэтому теперь наш детдом никогда не пустовал: попасть в него стремились и дети из другого детдома нашего города.

В детдоме оставили детей только до пятнадцатилетнего возраста. Старших разослали в Ф. З. У.*, на заводы, в мастерские. Некоторых увозили неизвестно куда, говорили, что их отправляют в школы НКВД, чтобы в будущем сделать из них энкаведистов. Надо сказать, что в это время как раз был введен жестокий по отношению к детям закон об У. Б. Э. (уго-

* Фабрично-заводское училище.

ловно бандитский элемент) и многих, как беспризорных, так и домашних, попавшихся иногда в самых ничтожных проступках, отправляли в концлагеря.

**

В детдоме мне дали костюм и смену белья. Раз в неделю нас водили в баню, заставляли умываться, что требовало со стороны воспитателей не малых усилий; приучить мыться детей, которые вообще никогда не мылись, кроме летних купаний на Тереке, было делом не легким.

Во всей своей работе новые воспитатели никогда не прибегали к угрозам и насилиям, а воздействовали уговорами и дружескими советами. Неожиданно для всех они и к воровству относились спокойно. В таких случаях просто говорили: «У меня пропала такая-то вещь. Кто взял, пусть положит на место. Если кому нужно, может попросить, я дам». Эти слова действовали сильнее всяких наказаний, и в большинстве случаев украденная вещь возвращалась на место. Позднее, когда мы ближе узнали воспитателей, если кражи у них и случались, то мы сами находили вора и добросовестно его избивали. Красть у человека, оказавшего нам доверие, у нас всегда считалось поズорным.

Чтобы отучить нас от бродяжничества и воровства, воспитатели всячески старались отвлечь и занять нас. Устраивались общие игры, состязания, прогулки в парк, экскурсии, а иногда водили и в кино. Они старались ближе подойти к нам и узнать у кого какие наклонности и способности, давали нам задания, будто бы очень важные, и тот, кому они давались, чувствовал, что ему доверяют и что на нем лежит ответственность за успешное выполнение. Например, тем, кто умел рисовать, после прочтения интересного рассказа, задавали нарисовать к этому рассказу иллюстрации. Самые удачные из них отсылались в детские журналы, которые иногда печатали эти рисунки, что, конечно, возбуждало гордость художника и влияло на его творческий потенциал. Другие писали стихи, статейки, некоторые работали в мастерской, учились чинить и делать мебель, которая потом продавалась, а доходы шли на общую пользу детдома. На вырученные таким образом деньги покупались игры, музыкальные инструменты. Желающие учились играть и у нас образовался свой маленький оркестр.

Старшему воспитателю, Николаю Петровичу, заведующему детдомом, было лет тридцать пять. У нас рассказывали, что он остался бездомным и детство у него было тяжелое. Совсем

юным, во время гражданской войны, он попал в Красную армию, воевал, отличился, потом учился и стал партийцем. Одевался он всегда на военный лад, носил гимнастерку, галифе, высокие сапоги, был всегда подтянут, чисто выбрит, держался прямо. Был он очень строг и все его боялись, но уважали за справедливость и оказываемое нам доверие, — он всегда верил нам на слово. Он был очень вспыльчив, часто повышал голос и начинал орать так, что в доме всё трепетало. Когда во-время не доставлялось необходимое продовольствие, оборудование или одежда, из его кабинета нередко слышались грозные крики и ругань по телефону. Если ему случалось увидеть на улице расправу с мальчишкой из нашего детдома, он немедленно заступался за него и давал гражданину-обидчику солидную взбучку. Мальчишке, само собой разумеется, основательно попадало по возвращении домой. Нашим исконным врагам, милиционерам, также нередко попадало от него за жестокое обращение с нами и это нас особенно радовало и подымало его престиж в наших глазах. Мы чувствовали, что теперь у нас есть заступник, который примет к сердцу нанесенные нам обиды, защитит нас и никогда несправедливо не накажет. В обращении с нами он был прост, внимателен, но никогда не переходил известных границ, и той близости и теплоты в отношениях, которые у нас установились со вторым воспитателем, встретившим Саньку и меня, у нас никогда не было с Николаем Петровичем.

В младшем же воспитателе — его звали дядей Федей — мы, действительно, чувствовали «своего». В общении с ним разница в летах почти не замечалась и он был больше другом, чем наставником. В обращении с посторонними детдому людьми он держал себя, как подобает воспитателю: брал строгий, официальный тон. С новичками был ласков и опекал их. С нами же, старшими беспризорниками, был откровенен и прост, как товарищ — член бражки. Заметно было, что он старается уделить нам больше времени и внимания, чем остальным и чувствовалось, что по духу мы были ему ближе и любил он нас больше, чем других. Чувствовали мы также, что проводит он с нами свободное время не по обязанности, а потому, что ему среди нас легко и свободно; он и сам нередко говорил, что пошел работать в детдом потому, что многое в другом мире ему не нравилось, было чуждо, тягостно и он предпочитал иметь дело с своими. Это еще больше подкупало нас и сближало с ним.

А между тем, он незаметно оказывал на нас влияние и перевоспитывал. Его подход к нам был очень прост. Прежде всего

он старался внушить нам доверие к себе. Этот первый шаг, самый важный и чрезвычайно трудный для человека из другого мира, давался ему необыкновенно легко и просто. Он начинал говорить с нами о том, что нас интересовало, выслушивал рассказы о наших похождениях, сам иногда рассказывал о своих приключениях, из которых нам было ясно, что он был опытным знатоком воровского дела. Завоевав наше доверие, он начинал совершенно незаметно для нас самих, в разговорах, общих беседах, никогда не поучая и не наставляя, проводить свою линию. Находясь в постоянном и близком общении с ним, мы невольно начинали подпадать под его влияние, разделять его взгляды, смотреть его глазами. В беседах он умело направлял наши мысли, руководил спорами и ловко наводил на правильные выводы. Со временем, мы начали кое в чем разбираться и понимать, что в воровской жизни далеко не всё привлекательно, а есть и темные, отталкивающие стороны. Зарождались новые желания, новые интересы — хотелось читать, учиться, выбираться, стать человеком, но всё это было еще очень смутно и неопределенно. Добиться результатов ему было не так легко, это требовало с его стороны большого упорства, терпения и выдержки. Только много позднее я стал понимать и ценить и ту трудную работу, которую он проделал с нами, и то светлое и хорошее, что он сумел внести в нашу жизнь. Работать ему приходилось в неблагодарной обстановке. Не говоря уже о времени, которого у него совершенно не хватало, чтобы уследить за всеми и заняться каждым в отдельности, он никогда не мог быть уверен в том, что мы не поддадимся искушению. То и дело, кто-нибудь из нашей братии не выдерживал, срывался; начинал бродяжничать и вся работа дяди Феди шла прахом. Большинство из нас переделать было уже поздно и он сам, пройдя школу нашей жизни, это понимал и часто на таких, отпетых, ставил крест, говоря: «Уходи... живи, как хочешь, но не мешай мне с маленьками». И действительно, за время моего второго пребывания в детдоме, многие из старших, не выдержав «нового порядка», уходили, но зато и забредшие, как я, случайно, на день, на два, переночевать и передохнуть на пути, нередко приживались и оставались. Тех же, кто еще стояли на перепутьи, он всеми силами старался поддержать.

Например, бывало иногда, что во время прогулки тот или иной парнишка не выдерживал и что нибудь тащил. Руки у нас сами мимоходом тянулись ко всему, что плохо лежало. Дядя Федя почти всегда это замечал и, хорошо зная каждого из нас, часто по глазам угадывал у кого совесть не чиста.

Подойдя он говорил: — «А ну, давай-ка сюда, на место положу», и отдавал украденную вещь ничего не подозревавшему прохожему или торговцу, говоря: «На, возьми дядя. Гришка вот пошутил... Правда, Гришка? Ты у нас любишь шутить».

Попадется Гришка в другой раз, он уже скажет более строго:

— Нет, друг. Эдак мы с тобой дружбу порвем. Или: — больно уж у тебя, братец, руки липкие, в следующий раз с нами не пойдешь, придется тебе дома дежурить.

А устоять и не поддаться искушению украсть бывало не-легко. Несмотря на значительное улучшение детдомовского пайка наши волчьи апетиты не могли удовлетвориться супами и кашами, и все мы, как правило, ощущали хроническое недоедание. Да и воровство само по себе представлялось нам, нормальным занятием. Нам и в голову не приходило, что воруя и грабя, мы совершаляем какое-то «преступление» и никаких «угрызений совести» мы никогда не испытывали. «Не украдешь — не проживешь» вросло во всех нас с ранних лет беспризорной жизни.

Когда под влиянием дяди Феди некоторые товарищи и я стали пытаться сдерживать себя и не давать воли нашим воровским наклонностям — что нам далеко не всегда удавалось — мною, да я думаю и ими тоже, вначале во всяком случае, руководил не «голос пробудившейся совести», а лишь желание не огорчить дядю Федю. Правда, к его страстному стремлению наперекор всему, вывести нас в люди, мы относились не без некоторой снисходительности, приписывая это бла-жи и странностям характера этого замечательного в других отношениях человека. «Зря талант пропадает!» нередко говорили мы, досадуя, что вместо того, чтобы как следует обучить нас воровскому искусству, в котором он был большим мастером, дядя Федя тратит столько сил, чтобы отбить у нас охоту к этому делу.

Но надо сказать, что когда случалось, что в детдом не доставляли продовольствия и есть становилось нечего, и голодные дети начинали роптать, дядя Федя брал двух-трех старших и отправлялся с ними либо на товарную станцию, либо на какой-нибудь склад. В одной из таких экспедиций участвовал и я. Действуя по всем правилам техники таких «дел», мы добывали необходимое продовольствие, и на утро в кладовой появлялся либо мешок овсянки, либо мешка два-три картошки.

— Ответственность моя, — предупреждал дядя Федя. — В случае чего, я отвечаю.

Каким путем было добыто продовольствие никто в детдоме не подозревал. Участники ночных похождения строго хранили тайну, но нам было неизвестно, как реагировал на это «чудо» старший воспитатель и как отчитывался перед ним дядя Федя.

У них нередко бывали бурные столкновения. Происходили они всегда в кабинете, при закрытых дверях, но грозные рассказы зычного голоса Николая Петровича долетали и до нас. Стычки эти случались из-за наших провинностей, причем дядя Федя всегда выступал нашим защитником, стараясь сгладить нашу вину, смягчить наказание, принимая на себя первую вспышку начальнического гнева. Но буря в кабинете всегда понемногу утихала и слышно было, как беседа принимала миролюбивый характер. Наконец, двери распахивались, подслушавшие в коридоре малыши шарахались в стороны и дядя Федя, весело прищурив глаза и улыбаясь, как ни в чем не бывало, выходил из кабинета.

Вскоре после моего приезда, в детдоме появилось много книг. Узнав однажды, что у одного арестованного «врага народа» реквизирована большая библиотека, старший воспитатель поехал в НКВД и добился того, чтобы она была пожертвована детдому. Мы все очень заинтересовались этим событием, сколотили полки, расставили книги и по вечерам с любопытством их рассматривали. Вначале нас особенно привлекали иллюстрации, но чтобы пробудить в нас интерес к чтению, дядя Федя иногда, по вечерам, читал нам вслух и мы с большим вниманием его слушали. Но вскоре, когда привезенные книги потеряли прелест новизны и перестали возбуждать наше любопытство, отношение к ним стало менее бережным. Сперва начала исчезать предохраняющая иллюстрации папиросная бумага, она употреблялась на верчение козьих ножек. Затем, как-то раз, одного парнишку, особенно любившего рассматривать картинки, осенила блестящая мысль и неожиданно, уже сами иллюстрации оказались на стенах наших комнат. И наконец, кто-то случайно узнал, что в некоторых книжных магазинах покупают книги и платят хорошую цену. Такое открытие не могло, конечно, остьаться без последствий и ценные книги стали постепенно исчезать из нашей библиотеки.

Приближалось начало учебного года. По моим годам мне следовало поступить в седьмой класс, и я должен был наскоро пройти курс шестого. Но познания мои были так невелики, что когда я заикнулся об этом дяде Феде, он, задав мне, для очистки совести, несколько вопросов по курсу шестого класса, безнадежно махнул рукой. Но я был упрям и самолюбив; мне казалось унизительным плестись в хвосте и сидеть в классе с

малышами. «Если не удастся поступить в седьмой класс», думал я, «плону на всё и пойду бродяжничать».

Дядя Федя догадался о моих мыслях и хотя времени оставалось немного, взялся мне помочь. С его помощью я засел за ученье, которое с непривычки давалось очень трудно. Но поставив себе целью непременно попасть в седьмой класс, я с напряжением зубрил целыми днями и ночами.

В школе меня проэкзаменовали довольно поверхностно. И я чудом проскочил. Правда, этому «чуду» содействовало ходатайство дяди Феди — он ходил просить за меня директора — а учителя, в большинстве случаев сочувственно относившиеся к беспризорным, посмотрели на мои пробелы сквозь пальцы и пропустили в седьмой класс.

**

Первое время я увлекся школой. А после дружеского разговора с дядей Федей бросил и воровать. Но ни на то, ни на другое моей выдержки надолго не хватило. Просидев недели две на овсянке, я с голоду снова начал промышлять кражами, правда, с моей точки зрения, довольно невинными. А школьная жизнь тоже постепенно стала терять прелест новизны. Учение у меня шло тухо и удержаться даже на среднем уровне в классе мне не удавалось. Очень может быть, что по примеру других беспризорных, и я куда-нибудь бы закатился, если бы не одно случайное обстоятельство.

Был у нас урок физики. Я зевал, рассеянно слушая объяснения учительницы. Но вот она повела весь класс в физический кабинет. Там я раньше никогда не бывал и, войдя туда, был поражен количеством и разнообразием разных приборов и приспособлений, а первый, произведенный учительницей опыт показался мне таким интересным, что у меня захватило дыхание.

В ту же ночь, не в силах преодолеть своего любопытства, я отправился в школу, перелез через ограду, вскарабкался по водосточной трубе во второй этаж, пролез через неплотно притворенное окно и очутился в физическом кабинете. Наглухо задернув тяжелые, черные шторы, я зажег электричество и принялся разглядывать находившиеся в кабинете предметы. Некоторые, особенно заинтересовавшие меня приборы я тотчас же разобрал, развинтил, чтобы как следует их рассмотреть, однако, собрать мне их не удалось, и я оставил их разобранными. Неудачно попытавшись повторить виденный днем опыт я разбил колбу, прожег пол кислотой и не успев удовлетворить

разгоревшегося любопытства, я тем же путем отправился домой, прихватив с собой микроскоп на продажу.

Но помню точно, что с этого дня во мне произошла какая-то перемена. Незаметно для самого себя, я стал более внимательно следить за уроками, пытаясь вникать в объяснения учителей. Особенно меня заинтересовала физика, но вместе с тем во мне пробудился интерес и к другим предметам. Во всем учении мне как-то неожиданно открылся какой-то смысл. Я начал понимать, что оно вовсе не является только ступенью для того, чтобы «выйти в люди» и обеспечить себе материальное существование, как мне до этого казалось, но оно открывало возможность чего-то добиваться, что-то узнавать, достигать создавая интересную жизнь. И вдруг я почувствовал, как что-то годами замкнутое во мне, разомкнулось, кора какого-то душевного чувства начала спадать и пробудилось желание что-то увидеть, что-то понять...

**

Со мной в классе учились еще два детдомовца. Сперва мы держались особняком, сторонясь домашних. Они тоже посматривали на нас с опаской, избегая общения с нами. В их настороженном любопытстве мы улавливали неприязнь и подозрение. Их взгляды как-бы говорили: «У нас родители, семья, а у тебя этого нет. Мы хорошо учимся, образованные, а ты босяк, уличный вор».

И мы, все трое, отвечали домашним нарочито подчеркнутым безразличием. Нам, прошедшим огонь и воду, эти дети казались наивно-смешными. Но грань отчужденности между детдомовцами и домашними оказалась все-таки не такой уж непреодолимой. Когда мы втянулись в школьную жизнь, наши отношения стали постепенно сглаживаться.

Со мною в классе учились, главным образом, дети рабочих, но были также дети из военной и из интеллигентной среды, родители которых занимали видное положение в городе. Разница между одними и другими прежде всего была во внешности. Дети интеллигентов как-то сразу выделялись своим более аккуратным и приглаженным видом, даже несмотря на то, что некоторые из них были очень бедно одеты. Большинство детей рабочих, особенно из многосемейных, были одеты немногим лучше нашего брата, с той только разницей, что их ветхая, обдрипанная одежда тщательно чинилась и латалась матерями. Мы же щеголяли оборванцами до тех пор, пока нам не

выдавалась какая-нибудь одежда в детдоме или не подворачивалась оказия приодеться за счет обывателя.

Мне тогда было четырнадцать лет и к одёжде — «шкуре», как она у нас называлась, — я относился вполне равнодушно. Штаны мои обычно были настолько протерты, что сзади красовались большие дыры, в которые просвечивало голое тело. Но это меня нисколько не смущало и лишь иногда, для приличия, чтобы не привлекать к себе внимания, я замазывал пропущавшие части тела чернилами.

Разница между нами и домашними была и в другом. При школе был буфет, где во время большой перемены можно было покупать бутерброды из белой французской булки с сыром и колбасой, молоко и кисель в баночках. Почти все ученики из мало-мальски обеспеченных семей получали от родителей деньги на покупку этого завтрака, а у некоторых, особенно у детей комсостава, водились вдобавок и небольшие карманные деньги. У детей рабочих карманные деньги были, конечно, большой редкостью, и роскошь завтрака в буфете им была недоступна. Они довольствовались приносимой из дома краюхой черного хлеба, которая и сгрызалась на переменах. Мы же, старшие детдомовцы, были в самом привилегированном положении. Обеспечить себя деньгами на завтрак не считалось даже воровством, от которого нас так отучал дядя Федя. Отчитываться в тратах нам было не перед кем и мы часто широко угощали наших неимущих товарищей-домашних.

В общем жили мы в школе сравнительно дружно. Были у нас, правда, два ученика, дети партийных «шишек». Они смотрели на всех свысока, держали себя, даже с учителями, вызывающе и вечно тыкали своими родителями с таким видом, что в случае чего «расскажу папе». И учителя, и ученики недолюбливали их, но и те, и другие были с ними предупредительно осторожны, побаиваясь, что они, действительно, возьмут и приведут угрозу в исполнение. Но с нами, детдомовцами, они как раз не позволяли себе брать наглый тон и, наоборот, даже заискивали, зная, что навредить нам ничем нельзя, а связываться с нами рискованно. Мы никогда не спускали обиды и отплачивали за них дорогой ценой.

Меня, беспризорного, не раз поражало отсутствие настоящей, крепкой спайки и единения среди домашних. То, что у них называлось дружбой и товариществом, мне казалось бледной пародией того сильного, ничем непоколебимого чувства, которое объединяло нас, беспризорных. Это чувство только и спасало нас в жизни, и только ему мы были обязаны ощущением той свободы, которая позволяла нам быть и доверчивыми и

откровенными друг с другом. Этой нашей крепкой спаянностью объяснялось и наше смелое отношение к начальству. К власти мы все, как правило, были настроены враждебно. И ни робости ни трепета перед начальством никогда не испытывали. Все это и удивляло и влекло к нам домашних, а некоторых, более независимых и неудовлетворенных семейным бытом, тянуло к нам.

В школе я понял, что у нас есть еще одно преимущество перед домашними. Проступки и провинности, за которые с них строго взыскивалось, нам легко сходили с рук. И происходило это потому, что в той или иной мере, и жизнь, и отношения окружающих нас людей были построены на страхе перед ответственностью за кого-то и перед кем-то. Родители отвечали за провинности детей, дети за «грехи» родителей. Было к кому придраться и с кого спрашивать. Мы же, как воспитанники государства, были вполне безответственны. Бояться и отвечать нам было не за кого, а хорошо ли, плохо ли нас воспитывало и о нас заботилось государство — взятки с него были гладки, к ответу не притягнешь.

Как-то раз во время урока мой сосед принял со скучи вырезать перочинным ножем свое имя на парте. Учитель заметил и набросился на него: «Ты как смеешь парту резать? Ведь ты государству убыток наносишь? Тебя что, дома вредительству учат?». И после конца занятий мальчик был вызван к директору и получил нагоняй. Через несколько дней этому же мальчику зачем-то понадобился большой лист бумаги и он во время перемены необдуманно сорвал плакат с лозунгами. Ему учинили допрос, всё допытываясь не надоумил ли кто его. Вызвали родителей, сделали им строгий выговор за недостаток бдительности в воспитании сына, пригрозив, что в случае новой провинности, дело будет передано в милицию.

А вскоре новая провинность оказалась на лицо. У этого мальчика был ручной уж, с которым он не расставался и всегда носил его с собою на шее под рубахой. Во время уроков уж мирно спал у него на груди. Иногда лишь, к нашему большому удовольствию, из-под рубахи появлялась его любопытно покачивающаяся головка, но хозяин легким щелчком затянул его обратно. Но однажды мальчишке не утерпелось произвести эффект и уж выполз на середину класса. Изобразив фальшивый испуг, ученики с криками повскакали с мест, стали прыгать на скамьи и на парты. В классе поднялся невообразимый шум и учитель, бросив урок, побежал за директором. Несмотря на угрозу директора наказать весь класс, если ему не укажут виновника, все молчали и товарища не выдали. Но

на следующее утро этот мальчик еще до занятий был вызван из класса и в школу больше не вернулся. Мы поняли, что среди нас есть доносчик. А через несколько дней все узнали, что хозяина ужа выгнали из школы, обвинив в умышленном срыве урока, с целью вредительства. Всё дело передали в милицию. Эта история причинила родителям мальчика не мало беспокойства и только ввиду того, что они были пролетарского происхождения и сумели доказать свою благонадежность, дело закончилось штрафом.

Я же совершил преступление, несравненно более серьезное, чем проделка с ужом. Пристрастившись к рисованию, я обзавелся цветными карандашами и малевал где попало. Без всяского особого умысла, на висевшем у нас в классе большом портрете Сталина, я во время перемены подрисовал вождю очки и пышную бороду. Вышло очень эффектно и довольный своей шуткой, я с интересом выжидал общую реакцию. Она превзошла все мои ожидания. Начался урок. Сначала никто ничего не заметил, но постепенно, одна за другой, головы учеников стали поворачиваться к портрету. Взглянув на стену, учитель оборвался на полуслове. Несколько секунд в классе царило напряженное молчание. Затем с перекошенным и испуганным лицом, учитель вскочил и, ни слова не говоря и не глядя на нас, вышел из класса.

Я ожидал, что сейчас все вскочут с мест, поднимется смех и шум, и моя шутка будет должным образом оценена. Но никто не шевельнулся; все сидели молча, испуганно, как окаменелые, бросая друг на друга испытующие взгляды. Тут я сообразил, что дело дрянь.

Вскоре, в сопровождении растерянного учителя, в класс вошел директор. Бросив на ходу беглый взгляд на вождя с подрисованной бородой и в очках, он остановился посреди класса и голосом, не предвещающим ничего доброго, отчеканил:

— Если по окончании урока я не узнаю виновника этого отвратительного, и позорящего добре имя нашей школы, поступка, отвечать будет весь класс.

И обведя всех суровым взглядом, директор, кинув учителя: «Продолжайте урок», вышел.

Но и учителю и ученикам было не до урока. Видя, как все перепугались и поняв, что дело принимает плохой оборот, я решил не подводить товарищей и пойти сознаться. Я, конечно, ни минуты не сомневался в том, что меня выгонят, но эта перспектива меня особенно и не удручила: «Выгонят, так выгонят — плевать», думал я, идя к кабинету директора.

Директор принял меня, сидя за письменным столом. Когда я ему сказал, что я виновник преступления, он с удивлением и как-то странно посмотрел на меня. То ли он был поражен, что я сам пришел с признанием, то ли он не поверил мне, но вместо ожидаемого разноса, он, вдруг, заговорил со мной спокойно, не повышая голоса. Сначала он все старался допытаться, почему я это сделал и знал ли еще кто-нибудь о моем намерении, и не подговорил ли меня кто-нибудь из класса или со стороны? Я сказал ему совершенно спокойно, как было дело. Тогда, видя, что я говорю правду, директор стал мне говорить о той черной неблагодарности, которую я проявил по отношению к товарищу Сталину, тем более возмутительной, что, как воспитанник государства, я решительно всем обязан вождю советской страны и всем своим поведением должен доказать эту мою любовь и признательность. О неустанных заботах товарища Сталина для блага нашего народа, директор говорил необычайно долго, закончив речь тем, что в силу несчастных обстоятельств моей прежней жизни, я еще не способен оценить все это, но должен, по крайней мере, подумать о том оскорблении, которое я наношу чувствам безгранично преданных нашему вождю учеников и педагогов.

Я с тоской думал, когда же ты, наконец, кончишь и выгонишь меня из школы. Что-то однообразно тягучее было в голосе директора. Взглянув на него, я заметил, что вид у него какой-то усталый, отсутствующий и в голове моей промелькнула мысль, что ему, наверное, всё это так же скучно говорить, как мне слушать.

— Ну, ступай в детдом! — неожиданно проговорил директор. — Я позвоню туда воспитателю и там разберутся, что с тобой делать.

Придя в детдом, я сразу попал в руки старшего воспитателя.

— А ну, говори, что ты там наделал? — грозно сверля меня глазами, начал он.

— Да ничего особенного... Сами знаете... Звонил же директор...

— Брось зубы скалить! — вскипел Николай Петрович, — Отвечай! Сам ты эту гадость выдумал, или тебя кто надоумил?

— Сам.

— Врешь!

— Нет!

Он пристально глядел на меня и, повидимому, поверил. После этого мне пришлось снова выслушать слово в слово, то же самое, что говорил директор, с той только разницей,

что у старшего воспитателя все это звучало более резко. А после ужина я попал еще в переплет к дяде Феде. Но с ним было легче, ему я мог по-человечески объяснить, что мне просто было весело приукрасить лицо вождя на плакате.

Дядя Федя говорил о том, что все мы должны сознавать свою ответственность перед другими, бережно относиться к окружающим нас людям, и что своим необдуманным поступком я мог подвести товарищей и поставить учителей в тяжелое положение.

— Ну уж учителей!.. Товарищай дело другое... А им-то что? Все они из-за каждого пустяка к директору бегают, на нас доносят.

— Эх ты, балда, балда! — внушительно проговорил дядя Федя. — Сам же ты ведь говорил, что у вас в классе сексоты есть. Ну, вот и подумай.

Я с недоумением смотрел на него. Мысль, что сексот может донести и на учителя, мне еще никогда не приходила в голову.

— Дурной, ты, дурной!.. — улыбнулся дядя Федя. — А еще говоришь, что жизнь знаешь.

Поздно вечером он пришел ко мне в комнату и сказал, что завтра я могу ити в школу. Я своим ушам не поверил.

**

Поздней осенью наш директор вдруг перестал приходить в школу. Через несколько дней мы узнали, что он повесился у себя на квартире. Поползли шепотом передаваемые слухи о том, что узнав о грозившем ему аресте, он предпочел покончить с собой до появления НКВД. Его быстро заменила, назначенная ГОРОНО, директорша, партработница, крикливая бойбаба средних лет, с мужскими ухватками, неприятная и грубая. Она, повидимому, получила задание «подтянуть» школу и рьяно принялась за дело. Подозревая всех и каждого, она проявила необыкновенное усердие в выявлении «упущений и вредительства». Ей как-то удивительно быстро удалось наладить внутренний надзор за всей школьной жизнью. Всё, до мельчайших подробностей, сразу становилось ей известным. Она была вездесуща, всюду совала свой нос, ко всему придиралась и хотя была просто невежественна — что замечали даже мы, ученики — вмешивалась в уроки и не стеснялась в нашем присутствии резко отчитывать учителей, чего никогда не позволял себе делать покойный директор, человек культурный и образованный. Решительно все ее не взлюбили, но боя-

лись и трепетали, вплоть до секретаря комсомольской ячейки, который, как у нас говорилось, ходил перед ней в присядку.

Дядя Федя был прав — этой жизни я еще не знал.

До поступления в школу мне все казалось простым и ясным. С одной стороны — мы, беспризорные, а с другой — они, черти, наши враги, которые при помощи милиции и НКВД, преследуют нас. Все мы были уверены, что черти все меж собой за одно. Правда, мы знали, что в концлагерях и тюрьмах, кроме нашего брата, беспризорников да уголовников, сидят и черти, но о причинах их заключения мы не задумывались.

Теперь, в школе, приглядываясь к жизни «той стороны», я с удивлением замечал, что дело там, оказывается, обстоит гораздо сложнее. Что мои сверстники ученики могут бояться родителей и учителей, это было еще понятно, но что товарищи не доверяют один другому и один другого боятся, а учителя боятся и своих учеников и своих коллег, это для меня было совершенным открытием. Я видел, как перед бабой-директоршей трепетали учителя. Сам.напи директор должен был чего-то так бояться, что даже покончил жизнь самоубийством. Все это для меня было ново, странно, непонятно и уже совсем удивительным казалось, что все черти, оказывается, так боятся созданного ими же самими, как нам казалось, НКВД.

В школе после появления директорши этот давящий страх стал как-то особенно ощущаться. Некоторые учителя совсем «поджали хвосты» и из кожи вон лезли, чтобы только ей угодить. Повидимому они боялись, что какие-то сексоты могут их опередить, и спешили докладывать ей о каждом, даже самом пустяковом, происшествии в школе.

Мысль, что у нас в классе есть свои сексоты, не давала мне и моим товарищам из беспризорных покоя. Подозревая то одного, то другого, мы выслеживали одноклассников, но уличить предателя помогла нам сама директорша.

Как-то во время урока она явилась к нам в класс и ее обычно надутое, злое лицо на этот раз расплывалось в довольную улыбку. Став посреди класса, она обратилась к нам с речью.

— Смотрите, товарищи, — указывая на ученика Васильева, заговорила она. — Вот, Васильев, это гордость нашей школы. Он пример — которому нужно следовать. Он совсем еще мальчик, а сумел доказать, что он сознательный гражданин нашей страны.

Повернув головы в сторону Васильева, весь класс смотрел на него с удивлением. Васильев был совсем бесцветный

мальчик, решительно ничем не проявлявший себя в классе; способностями он не блестал и, получая плохие отметки, плелся в хвосте класса. Последние дни он не приходил в школу, но этого никто даже и не заметил.

Слова директорши и наши любопытные взгляды смущали Васильева. Он густо покраснел, привстал, его глаза растерянно забегали по классу и он снова сел на место.

— Я уже сейчас могу смело сказать, — продолжала директорша, — что у Васильева все задатки настоящего большевика, и уверена, что со временем, вступив в ряды нашей партии, он будет хорошим партийцем, неуклонно следующим заветам наших учителей, товарищей Ленина и Сталина.

Мы переглядывались, не понимая в чем дело.

— Вам, конечно, не терпится узнать, как проявил себя Васильев? — говорила директорша, и на мгновенье приостановилась, как бы выжидая ответа. — Так вот, товарищи. Проявив бдительность, достойную настоящего большевика, Васильев выявил и изобличил врага народа. Конечно, это долг каждого советского человека... Вы правы... Но Васильев сделал большее. Он совершил геройский поступок. Он не посчитался с родством. Он поборол семейные предрассудки и разоблачил своего собственного отца.

Дальше, во всех подробностях она рассказала, как Васильев, заметив, что его отец всегда что-то читает по вечерам, приследил, куда он прячет свои книги, обнаружил у него запрещенные книги Троцкого и, выявив «контр-революцию», не задумываясь, сообщил о преступлении отца в милицию, из-за чего отец был арестован. Директорша долго еще распространялась о происках внешних и внутренних врагов и о бдительности коммунистов.

— Одним врагом народа меньше, — закончила она. — Будьте бдительны, товарищи. Следуйте примеру Васильева и доказывайте на деле вашу преданность нашей партии и товарищу Сталину.

Закончив речь, она предложила классу приветствовать Васильева и первая зааплодировала. Учитель, а вслед за ним, после короткой паузы, и ученики тоже зааплодировали, но без всякого энтузиазма. Зато Васильев засиял. Во время речи директорши я несколько раз поглядывал на него. Быстро справившись с охватившим его вначале смущением, он, уже не сводя глаз с директорши, жадно ловил ее слова, и по мере того, как на него сыпались ее похвалы, лицо его начинало принимать все более самоуверенное и хвастливое выражение. Только тут я за-

метил, что вместо старой потёртой одежды, на нем был новенький, с иголочки костюм.

Директорша вышла. В классе воцарилась напряженная тишина. Учитель опустил голову и, не глядя на нас, продолжал прерванный урок.

Я подумал об отце Васильева, вспомнил о моем отце и во мне закипела страшная злоба.

— Приоделся, продажная шкура! Отца за костюм продал! — вполголоса, но так, что услышали многие, проговорил я.

— Наших родителей забрали, а этот сам своих засолил! — поддержал меня товарищ из детдома.

Учитель делал вид, что не слышит, домашние молчали, но по их одобрительным взглядам было видно, что на этот раз отвращение победило страх и они довольны, что мы осмелились выразить вслух то, что они все чувствовали, но боялись сказать.

— Лохмотники! — злобно прошипел на нас Васильев.

В этот вечер, мы трое, детдомовцев, подстерегли Васильева на темной улице и, предупредив его, что ему не миновать ножа в спину, если он вздумает на нас донести, принялись его бить. На меня накатила какая-то дикая злоба. Я готов был его убить и только один из товарищей удержал меня.

— Брось, Колька! Нечего из-за таких мараться!

Избивекскота почти до потери сознания, мы исполосовали финками его новый костюм и обчистив его карманы, в которых нашли пятьдесят рублей и шоколад, — вероятно награду за «подвиг» — оставили его лежать на улице.

История «подвига» Васильева нашумела во всем городе. В школе его на все лады прославляли на пионерских и комсомольских собраниях. Но донести на нас он все-таки не посмел, продолжая терпеливо выносить наши издевательства и злые выходки. Он знал, что если донесет, беспризорники его наверняка убьют. Зато с другими учениками он не стеснялся и с каждым днем держался нахальнее. Учился он всегда плохо, но раны хоть старался. Теперь же он совсем перестал и стараться и, все-таки отметки всегда получал удовлетворительные. Когда однажды один из учителей поставил было ему неудовлетворительную отметку, Васильев, взглянув в конце урока в журнал, наткнулся:

— Что же это вы, товарищ учитель, ко мне так относитесь? Вам, может быть, мой поступок не нравится? Не одобряете, что вредителя разоблачил?

**

«Ленин, Троцкий и Щипи ехали на лодке.
Ленин, Троцкий утонул — кто остался в лодке?».

— Щипи! — недоумевающе отвечал тот, кому задавалась эта загадка и тут же взвизгивал от боли впивавшихся в тело пальцев.

Пущенная кем-то шутка показалась очень забавной и сразу облетела всю школу. Загадывая и отгадывая ее, мы все, от мала до велика, с азартом щипали друг друга и никому из нас, конечно, не приходило в голову, что это контр-революция, да притом еще и злостная.

Однако, от бдительности директорши шутка не ускользнула. Она забила тревогу. В школе поднялась кутерьма. На общем собрании учителей и учащихся директорша произнесла громовую речь о том, что вражеский элемент проник в школу, что среди молодежи ведется подрывная работа, что надо общими усилиями разоблачить и безжалостно наказать подосланых врагов и вредителей.

После этого собрания пошли бесконечные расспросы и допросы учеников, кто, когда и от кого впервые услыхал эту злостную шутку. Тут же последовали и разъяснения тайного смысла, крывшегося под мнимой бессмыслицей ее слов. Мы были поражены. Оказывается, дерзость уже была в том, что капиталистического ублюдка Троцкого неизвестный посадил в одну лодку с товарищем Лениным, подчеркивая этим, что между ними может быть что-то общее, да еще и усугубил это кощунственное совокупление совместным потоплением. Но в гнусной загадке крылся и еще один непревзойденный по своей чудовищности замысел. Ведь на какие страшные догадки могли навести учеников размышления о личности третьего пассажира лодки? И действительно, кто была та третья, уцелевшая особа, после гибели своих спутников, таинственная личность, за-маскированная кличкой «Щипи»? И почему упоминание об этой личности было сопряжено с неприятным, болезненным ощущением щипков? Только тут мы и поняли всю хитрость и коварство «вражьих происков». Точно установить, кто кого первый ушипнул и докопаться до источника вредительской шутки директорше так и не удалось. Шумиха постепенно угледлась. Зато казавшаяся нам ранее невинной эта шутка теперь, как запретный плод, приобрела вдруг неожиданную прелест. Бывало, по-дойдя вплотную и с видом заговорщика озираясь по сторонам,

кто-нибудь, нет-нет, да и произносил сдавленным шепотом эти страшные контрреволюционные слова и щипал товарища.

* * *

Был конец 1937-го года, и даже мы, детдомовцы, не могли не почувствовать, как вокруг нас всё захлестнула волна всеобщего ужаса и страха. Это была пора ежовщины. В городе шли беспрерывные чистки. Аресты охватывали все более широкие круги населения. НКВД хватало инженеров, военных, видных партийцев и даже рабочих. По ночам энкаведисты увозили арестованных на своих «Черных Воронах».

За несколько дней были арестованы отцы двух наших одноклассников; то же происходило и в других классах. Дети арестованных обыкновенно переставали ходить в школу. Говорить у нас в школе об арестах избегали, только близкие друзья с глазу на глаз передавали об этом. Тем не менее слухи ползли по городу; назывались все новые и новые имена арестованных.

Но мне этот страх окружавших меня людей был тогда как-то непонятен. Он был так непохож на тот страх, который мне самому приходилось не раз испытывать. Когда я, например, убегал от гнавшихся за мной милиционеров, или когда меня настигали разъяренные, готовые убить меня за украденный кусок хлеба люди и я, беспомощно съежившись, принимал сыпавшиеся куда попало удары, мне бывало страшно. Но это был совсем не тот страх, которым все вокруг меня были сейчас охвачены. Не понимая его истинных причин, я не чувствовал ни жалости, ни сострадания к окружавшим меня людям. Я был совершенно равнодушен к тому, что происходило вокруг. Товарищи были со мной довольно откровенны, и на мои вопросы, в чем же собственно дело, почему вдруг оказалось везде так много изменников и врагов народа, они отвечали разноречиво, повторяя, по-видимому, то, что слышали дома.

За школой был большой неогороженный двор куда мы обыкновенно выбегали играть во время перемен, а напротив, в саду, за высокой, тянувшейся вдоль всего квартала, оградой стояли здания больницы для умалищенных. Небольшой дом, где помещалась канцелярия и приемная, выходил фасадом на улицу. К этому дому иногда подъезжали автомобили, в которых милиционеры и санитары привозили больных. Сумасшедшие часто неистово кричали и сопротивлялись, когда их выгружали из машин, что возбуждало всеобщее любопытство школьников. Когда подъезжала такая машина, игры у нас во

дворе мгновенно прекращались и, несмотря на окрики и даже подзатыльники милиционеров, мы всегда окружали автомобиль, чтобы поглязеть на интересное зрелище.

Случалось, что к этому дому подъезжали машины НКВД. Знакомые, внушившие всем трепет, фуражки с малиновыми околышами заставляли нас держаться на значительном расстоянии, в то же время еще более вызывая наше любопытство, ибо среди школьников тоже ходили слухи об ужасах, творившихся в застенках НКВД и о пытках, настолько страшных, что не только заключенные, но и сами энкаведисты не выдерживали и сходили с ума.

Как-то раз, в сумерки, когда мы уже собирались расходиться после занятий и кучками стояли во дворе и на улице, к подъезду канцелярии подъехала машина НКВД. Выскочившие из нее энкаведисты вытащили человека, который, ступив на тротуар, закачался и упал бы, если бы энкаведисты не подхватили его под руки.

— Папа! Папа! Это мой папа!.. — раздался вдруг пронзительный крик и Вася Костенко, наш одиннадцатилетний школьник, стремглав бросился к стоявшим у машины людям.

Произошло замешательство. Я только мельком успел увидеть бледное, обросшее волосами лицо больного, с пустым, остановившимся взглядом. Оттолкнув мальчика, который упал на тротуар, энкаведисты поволокли привезенного человека по ступенькам и скрылись в распахнувшейся двери. Мальчик поднялся с земли и продолжая исступленно кричать: «Папа! Папа!..» бросился вверх по ступенькам к захлопнувшейся двери. Но выскочивший из машины шофер схватил его за шиворот и стащил со ступенек на мостовую. Мы обступили Васю и, потащив его за собой, гурьбой, торопливо и молча зашагали по улице прочь от дома. Вася, спотыкаясь, шел среди нас, не переставая рыдать и прерывающимся голосом бессвязно повторяя: «Папа, мой папа!..».

**
*

— Ты, Колька куда? — спросил меня товарищ, видя, что я сворачиваю с дороги от детдома.

— К Володе.

— Брось! Охота тебе с домашними путаться. Пошли домой, сегодня мясо дают, — уговаривал меня детдомовец Сашка.

Поесть мяса — соблазн был велик. Я в нерешительности

остановился, но превозмог искушение и пошел к Володе. Вот уже три дня, ни он, ни его сестра Валя не приходили в школу, и мне хотелось узнать, не случилось ли что-нибудь у них.

Снег валил пушистыми хлопьями. Подняв воротник и поглубже засунув руки в карманы, я шел по улице. Володя и Валя — близнецы моих лет — учились со мной в одном классе. Отец их, инженер, партиец, занимал крупное место на заводе «Электроцинк», но дети держали себя просто, были хорошими товарищами и в классе их все очень любили. Вначале я относился к Володе с некоторым предубеждением, как к сыну «шишки», но скоро он привлек меня своей жизнерадостностью, весельем и смелостью характера. Он всегда был зачинщиком всякого нашего озорства, прилежностью не отличался, но был неглупым и способным, много читал и многим интересовался. Он давал мне свои книги, делился впечатлениями о прочитанном и первый пробудил во мне интерес к чтению. Я же обучал его стрельбе из рогатки, драке на ножах, мастерству ругаться и заинтересовал его рассказами из моей беспризорной жизни. Мы очень скоро стали приятелями и Володя часто звал меня к себе, но я всегда отказывался. Мне казалось, что если его семья узнает, что я беспризорник, то отнесется ко мне враждебно и, пожалуй, даже прогонит из дома, а Володя влечет за нашу дружбу. Но однажды после занятий он уговарил меня зайти к нему за книгами.

Когда мы вошли в переднюю, нам навстречу вышла его мать. Володя назвал меня, и она, приветливо улыбнувшись, протянула мне руку, сказав, что много обо мне слышала от детей и рада, что я зашел. Этот прием меня очень удивил, но подумав, что Володя, по всей вероятности скрыл, кто я, и чувствуя себя неловко, я решил как можно скорее уйти. Поспешно отобрав несколько книг, я уже хотел прощаться, как в комнату вбежала Валя и позвала нас ужинать. Несмотря на мои протесты, Валя и Володя потащили меня в столовую, где уже сидел их отец, тоже очень дружелюбно со мной поздоровавшийся.

Попав в первый раз в жизни, как гость, на квартиру к «буржуям» — квартиру, поразившую меня чистотой и роскошью, я был страшно смущен, совершенно не зная, как себя вести в такой непривычной обстановке. За чисто накрытый стол, с приборами и салфетками, я тоже сел впервые и, украдкой глядя на Володю, старался подражать его манере есть, вытирая салфеткой рот, держать вилку. Вилкой я до этого тоже никогда не пользовался, и орудовать ею мне было крайне неудобно. И чувствуя себя все более и более неловко, я под

конец опустил голову над тарелкой, исподлобья поглядывая на родителей Володи и боясь поймать на себе их насмешливый взгляд. «Хоть бы сквозь землю провалиться», — с отчаянием думал я. Но никто, как будто, не обращал на меня внимания, и мне становилось ясно, что они не подозревают, кого Володя привел к ним в дом. Встречая до сих пор от людей только ненависть и отвращение, мне и в голову не могло притти, что такие «шишки» могут принять к себе такого, как я. Я привык к сознанию, что меня можно только гнать, бить, тащить в милицию, но пригласить к себе, посадить за стол, да еще приветливо улыбаться... нет. «Не знают, кто я», мучительно думал я, «но вот сейчас, с минуты на минуту, они догадаются, узнают...» и при мысли о неминуемо ожидающем меня позоре и унижении, я почувствовал, как во мне накипает злоба и бесконечная ненависть к этим мирно сидящим за столом людям. И в то же время мне становилось стыдно за то унижение, которое я испытывал в их присутствии, за тот страх, что вот-вот узнают и прогонят, а еще больнее было то, что становясь на их точку зрения, я как бы признавал за ними право меня действительно презирать.

Отец Володи заговорил со мной. Каково же было мое удивление, когда из его вопросов о старшем воспитателе, о детдоме, я понял, что он знает, кто я. В свою очередь мать Володи очень просто и дружески, стала меня расспрашивать о моей жизни, о родителях. Таких вопросов у нас, беспризорных, никогда не полагалось задавать. Свое, личное, особенно из прошлого, никого не касалось. И эти вопросы посторонних людей показались мне неуместными и оскорбительными. Не поднимая головы от тарелки, я отвечал отрывисто, односложно, досадуя на них и на себя. Володя с удивлением глядел на меня. Он видимо был огорчен, что его приятель показывает себя перед родителями в таком непривлекательном виде. Обижать его мне не хотелось, но пересилить своего раздражения я не мог и, наверное, не удержавшись, сказал бы какую-нибудь грубость, если бы мать Володи вдруг не перевела разговор на школьные темы, вероятно, догадавшись, что со мной происходит что-то неладное. Перебивая друг друга, Володя и Валя оживленно болтали и я облегченно вздохнул.

— Знают, кто я... знают и не гонят... не боятся, что возьму да и украду что-нибудь. Значит, верят! — взволнованно думал я и, встретившись глазами с ласково улыбающейся мне матерью Володи, сам невольно улыбнулся.

И хоть я и не принимал участия в разговоре, но уже не

чувствовал себя чужим и отверженным. Мне нравилось, что у всех такие спокойные и довольные лица, что дети так доверчиво и непринужденно держат себя с родителями, а родители по товарищески просто разговаривают с детьми. И всем им приятно и хорошо вместе, они одно целое, семья, живут общей жизнью и нужны друг другу. Отец работает, заботясь о своих, наверное много зарабатывает, обеспечивает их, хочет вывести детей в люди. В квартире — чисто, уютно, тепло. Разглядывая комнату, я невольно, по привычке, начал прикидывать за какую цену можно было бы загнать перекупщику некоторые вещи, но тут же поймав себя на этой мысли, со стыдом отогнал ее. «Как им хорошо всем вместе и какие они счастливые», — подумал я. — «Сейчас кончится ужин, я встану и уйду... Почему у меня ничего этого нет? За что у меня отняли отца?...».

— Колька, что с тобой? — взволнованно порговорил Володя.

Сквозь застилавшую мне зрение пелену, я увидел его испуганное лицо, протер глаза и понял, что я плачу. Это было настолько неожиданно и так много лет прошло с тех пор, как я, в последний раз выплакав свое горе шестилетнего ребенка, разучился плакать, что совершенно растерявшись, я вскочил и уже не сдерживая душивших меня рыданий, выбежал из комнаты. Володя догнал меня и схватив за руку, потащил к себе. Повалившись на его кровать и уткнувшись головой в подушку, я продолжал плакать. Стоя надо мной, Володя теребил меня за плечо и забрасывал испуганными вопросами. Но я только твердил сквозь стиснутые зубы: «Уди! Оставь!». Мне было и стыдно и больно, что я плачу, но удержаться я не мог.

Я слышал, как кто-то вошел в комнату. Надо мной зашептались. Володина мать села на кровать рядом со мною и стала, молча, тихонько гладить меня по голове. В легком прикосновении ее руки было что-то необыкновенно успокоительное и приятное. Вдруг над самым ухом я услышал тихо сказанные слова: «Бедный мой мальчик», и в первый раз в жизни я почувствовал материнский поцелуй.

Мать Володи ушла. Я приподнялся и сел на кровати. После случившегося оставалось одно — поскорее уйти и не показываться больше на глаза. Но как ни странно, никакого стыда я не испытывал, раздражение и злоба прошли, всё во мне успокоилось, было только немного грустно. Уходить совсем не хотелось.

Володя, стоя ко мне спиной, чем-то занялся у стола.

Когда я встал, он обернулся и, смущенно улыбаясь, протянул мне духовой пистолет.

— Посмотри-ка пушка какая! Здорово стреляет.

Мы увлеклись стрельбой и в этот вечер я остался ночевать у Володи в комнате, на матраце. С тех пор я стал часто бывать у него. Ни он, ни его родители никогда не вспоминали о том, что случилось со мной за ужином. И скоро я перестал стесняться, всегда чувствуя себя у них хорошо и просто.

Было очень холодно, уши и нос у меня совсем замерзли, когда я подходил к дому Володи. Быстро взбежав по лестнице на второй этаж, я стряхнул с себя снег и позвонил. Открыл мне Володя.

— Что с тобой? — спросил я, увидя его бледное, осунувшееся лицо, с припухшими, заплаканными глазами.

— Нет, ничего. Входи скорей. Расскажу... Папу арестовали, — сказал он, садясь на кровать, когда мы вошли к нему в комнату.

— За что? Он украл что-нибудь? — испуганно спросил я. Володя посмотрел на меня и грустно улыбнулся.

— Что ты украл!.. Знаешь, за что теперь арестовывают...

За вредительство.

— Да что же твой отец сделал?

— Ничего не сделал, — мрачно ответил Володя и опустив голову, стал нервно грызть ногти.

— Когда же, Володька, арестовали? Расскажи толком, — взволнованно расспрашивал я.

Володя молчал и грыз ногти.

— Ну, ладно! — проговорил он наконец, будто на что-то решившись. — Мама просила не рассказывать... Но ты другое дело... тебе можно. Я и сам всех подробностей не знаю. В четверг папа вернулся поздно и был очень взволнован. На заводе, в его отделении обнаружили много брака и вся работаочной смены пошла на смарку. К нему, как начальнику цеха, придрались. Почему не досмотрел... саботаж допустил. А как ему досмотреть? Ведь по ночам он не работает. Приехали на завод энкаведисты, вызвали инженера ночной смены и тут же его и несколько человек сразу арестовали. Папу без конца допрашивали, но домой все-таки отпустили. Он маме тогда вечером говорил, что сумеет доказать, что ни в чем не виноват... Легли мы в эту ночь поздно. А в три часа звонок. Приехали и забрали папу. Хорошо, мама догадалась с вечера чемоданчик с

теплыми вещами приготовить. Говорит, предчувствие у нее было.

— А где же он? В здешней тюрьме? — спросил я.

— Да. Мама целые сутки в очереди простояла, чтобы узнать, где он. Сказали, что здесь. Совсем она замучилась, сейчас спит.

— А Валя где?

— На кухне. Ужин готовит.

— А домработница?

Володя горько усмехнулся.

— Сразу после ареста папы ушла. Испугалась. Не хотела у врагов народа оставаться.

Лицо его передернулось, он закусил губу и я увидел, что он еле сдерживается, чтобы не заплакать.

— Да ты не робей, Володька, наверное суд будет и папу оправдают! Ты же сам говоришь, что он может доказать, что не виновен, — старался я его успокоить.

— Ничего мы не знаем, будет суд или не будет, — еле сдерживаясь, проговорил Володя и, вскочив с кровати, зашагал по комнате. — Знаешь, Колька, — остановившись передо мной и пристально глядя на меня, сказал он вдруг прерывающимся от волнения голосом. — Мама и Валя надеются, а мне почему-то кажется, что всё кончено... не видать нам папы!

— Брось, Володька, что ты! — чтоб его подбодрить, сказал я: — Увидишь, что выпустят.

— Нет, Колька, я знаю!.. Сколько у нас в школе таких случаев было и у папы на заводе... Никого не выпускают. У тебя жизнь другая, ты не знаешь... а я уже многое понимаю... из папиных разговоров с мамой... — и он снова зашагал по комнате, — я чувствую, что с папой плохо будет, — остановившись передо мной и понизив голос, он проговорил: — год тому назад, знаешь, его чуть из партии не вычистили, теперь ему это припомнят. У него друг один был, они вместе в институте учились, тот большое место занимал и оказалось, что он в оппозиции, с троцкистами заодно, его и расстреляли. А папа даже и не знал, что тот в оппозиции. Они и виделись-то редко. Тот в Москве всегда жил. Но я сам слышал, как папа маме без нас один раз говорил, что это все глупости, что ни в какой оппозиции его друг этот даже и не был, что это просто придрались. Помню, как папа с мамой тогда волновались и потихоньку от нас перешептывались. Думали, что мы с Валей ничего не понимаем, а я прекрасно всё понимал. Мама

только теперь, после ареста папы, нам всё рассказала, невмоготу ей стало, кроме нас ведь не с кем поделиться.

— Почему же родители тогда от вас скрывали? — не понимал я. — Неужели ж они вам не верят?

— Нет... думаю, верят, — задумчиво протянул Володя, — а все-таки многое не говорили, — он остановился, как бы ища подходящего слова. — Не из-за недоверия, а из осторожности.

— Стало быть, Володька, они вас боятся?

— Не то, что боятся, Колька... — замялся он. — Тебе, может, это странным покажется, и мне самому даже трудно объяснить всё это как следует, но у нас дома, на самом деле, всё не так просто, как ты себе представляешь. Семья у нас дружная и живем мы хорошо, денег хватает. Родители нас с Валей любят, ни в чем не отказывают, а все-таки боятся как-то. Валя это не так замечает, а я замечаю, и я часто себе голову ломал, что тут такое?.. а теперь я вот понимаю...

Я вопросительно смотрел на него.

— Ты, Колька, вспомни Васильева. Ведь папа и мама знают, почему нас в школе учат, знают, кого нам в пример ставят.

— Да что ты, Володька!.. — возмущенно начал я, но не дав мне договорить, Володя быстро перебил:

— Да нет же, Колька, что ты! Конечно у них и в мыслях нет, что Валя и я способны на какую-нибудь подлость. Да и что бы мы могли донести? — пожал он плечами. — Папа целями днями на заводе, увлекается работой, о политике у нас дома не говорят, мама совсем этим не интересуется. Нет, я знаю, они просто думают, что, без всякого умысла, мы можем взять да и сказать что-нибудь, повторить какие-нибудь их слова, а поймут не так, вот они и осторегались. Между собой они, как будто, были откровенны, а с нами нет. Несколько раз, бывало, я входил в комнату, а папа и мама умолкают и думают, что я ничего не замечаю. Да и они тоже, наверное, не всё друг другу говорят. Маму возьми, она в некоторых вещах Вале больше доверяет, чем папе. У Вали от меня никаких тайн нет, и она мне по секрету рассказала, что мама в Бога верит и молится, а от папы это скрывает, потому что он в партии, и ему это может повредить. Но вот и получается, что дружны то мы дружны, а полного доверия все-таки нет. Я знаю, что тоже не должен тебе всего этого говорить, но иногда хочется высказаться... а я тебе верю, что ты никому не скажешь.

В этот вечер я поздно засиделся у Володи. Мы еще долго разговаривали, вернее говорил он, а я его всё слушал. Он хо-

дил взад и вперед по комнате, то подсаживался ко мне на кровать, и все говорил без умолку, словно торопясь выговорить всё, что у него за эти дни накопилось на душе, и всё возвращался к одному и тому же. Почему такая несправедливость? Почему забрали отца, который никогда никому ничего дурного не сделал, которого все любили, не только дома, но и на заводе?

— Я знаю, что он ни в чем не виноват, знаю, что он не мог быть заодно с врагами народа! — с отчаянием говорил Володя.

Мне было жаль его и Валю, которая на цыпочках войдя в комнату, села на кровать и, молча, испуганными, блестящими от слез глазами, следя за нервно шагавшим Володей, лишь изредка останавливалася его, когда он повышал голос: «Тише, маму разбудишь». Жаль было и бедную, спавшую в соседней комнате мать. Вспомнилась ее ласка. Думала ли она, что совсем скоро и над ними разразится такое страшное горе.

«Может быть и лучше, что у меня забрали отца, когда я был совсем маленьким? Может быть, я даже счастливее их?», думал я, возвращаясь этой ночью в детдом.

Когда после трехдневного отсутствия, Володя вошел в класс, его встретили радостными восклицаниями. Несколько человек подошли к нему.

— Здорово, Володька! Ты что, болен был? Что это у тебя рожа такая похоронная?

— Отца арестовали, — громко и раздельно произнес Володя, обводя присутствующих странным взглядом.

Все притихли и, смущенно переглядываясь, стали молча расходиться по местам. Во время урока Володя сидел бледный, с застывшим напряженным лицом, вызывающее поглядывая на избегающих встречаться с ним глазами товарищей.

— Валя не пришла, — сказал он мне на перемene, — мама не хотела, чтобы мы в школу ходили, а я нарочно пришел.

Весть об аресте отца Володи мгновенно разнеслась по школе, а приход Володи вызвал всеобщее удивление и даже как будто неудовольствие. На переменах и на уроках все, вплоть до учителей, как-то особенно на него посматривали, но сразу же, поспешно отводили глаза и отворачивались, когда он, чувствуя устремленные на него взгляды, поднимал голову. Но когда он пробовал подойти к товарищам и с ними заговорить, они конфузились, начинали мялить и отходили от него в сторону.

Трудно сказать, действительно ли изменилось к нему отношение учителей, как он думал, или он сам (ему было не до того) стал плохо готовить уроки, но все его отметки сразу понизились, что Володя приписывал их несправедливости к нему, как к сыну «врага народа».

Его самолюбие и гордость очень страдали, особенно от оскорбляющего отношения товарищей, но, пересиливая себя, он всё-таки около двух недель продолжал ходить в школу. Я видел, как ему становилось все тяжелее и понимал, что долго он этого не выдержит. Так и случилось. В первый же день, когда он не пришел, я после занятий, пошел к нему на квартиру.

Володя отпер мне дверь. Мы прошли в его комнату.

— Больше не пойду в школу, — сказал он грустно. — Мне даже Петров (это был наш преподаватель географии) посоветовал не ходить.

— Петров? — удивился я. — Да он же к тебе придирился больше других.

— Я и сам удивился. Иду вчера домой, вдруг он меня догонает. Остановился, осмотрелся по сторонам и говорит: — знаешь, Володя, мой тебе совет, брось пока ходить в школу, добра от этого никому не будет и тебе тяжело.. Я знаю, что ты мальчик честный, потому и говорю тебе. Ты может думаешь, что я к тебе был несправедлив, но сам знаешь, какие у вас в классе ученики...

— Вот от кого не ожидал! А в классе-то он всегда какой ядовитый, — проговорил я.

Володя усмехнулся.

— Не он один душой кривит. Ко мне тоже кое-кто из ребят по вечерам на квартиру прибегали. Вчера мы узнали, что скоро будет показательный суд, — как-то устало и безразлично проговорил Володя. — Если папу оправдают, вернусь в школу, а не оправдают... буду работу искать... сам не знаю... все равно теперь все дороги нам закрыты.

— Володя! — послышался в коридоре Валин голос. — Пора ити.

— Папе передачу отнести, — сказал Володя. — Пойдешь со мной? — и вопросительно посмотрел на меня. — А то стоишь часами один в очереди и такая тоска берет.

— Это что, в тюрьму? — с некоторым беспокойством спросил я.

У нас, беспризорников, была особая, суеверная боязнь тюрьмы, доходившая до того, что мы даже избегали подходить

к ней близко. Я всегда старался обойти ее за несколько кварталов.

— В тюрьму не пускают, будем у ворот стоять.

— Ладно, пойдем! — сказал я, чтобы не огорчить Володю, хотя итти с ним мне вовсе не хотелось.

Валя приготовила небольшой пакетик с провизией. Мы наклонались и отправились. Были уже сумерки. Подходя к тюрьме, я еще издали, при тусклом, грязно-желтом свете фонаря, увидел через белую завесу медленно падающего снега, длинную, черную, будто застывшую вереницу людей, тянувшуюся от ворот тюрьмы и терявшуюся где-то в темноте. Когда мы с Володей проходили мимо этого хвоста людей, чтобы занять место в очереди, я заметил, что мужчин почти не было — большинство стоявших были женщины. Не было слышно ни обычных для очередей громких разговоров, ни браны, ни криков; все стояли молча, только изредка кое-где раздавался глухой кашель. Да и говорить тут было не о чем. Каждый приходил сюда со своим горем, и в этом молчании всех стоявших, в этой неподвижности жавшихся вдоль тюремной стены людей было что-то страшное.

Невольно поддаваясь общему настроению, мы с Володей тоже молчали. Мной овладевало какое-то незнакомое мне чувство. Еще недавно все эти стоявшие у тюрьмы люди не «моего» мира, были мне ненавистны и я всех их считал своими «врагами». Теперь же мне их было только жаль. «Вот кого мы обкрадывали, таких же, как эти...», думал я, глядя на запорошенные снегом темные фигуры.

Мы медленно двигались вперед, но хвост не уменьшался. Одна за другой подходили все новые и новые одинокие фигуры, с пакетами или мешочками в руках, и становились в очередь. Рядом с нами стояла совсем молоденькая девушка в ветхом, не по сезону, легком пальто. Она зябко куталась в покрывающий ее голову и плечи платок, то и дело растирала руки и дула на пальцы. Пакетик, который она держала подмышкой, был совсем маленький.

Наконец, подошла наша очередь. Назвав свою фамилию, Володя протянул сидевшему за маленьким окошечком энкаведисту пакет. И мы попали от тюрьмы.

— Когда твоего отца будут судить?

— Еще неизвестно.

— Как узнаешь, скажи, вместе на суд пойдем.

Когда мы с Володей, его матерью и Валей вошли в большую залу заводского клуба, где должен был происходить суд, зала была уже набита народом и мы с трудом протеснились и заняли места. Большинство присутствовавших были рабочие и служащие завода, для которых, собственно, и устраивался этот показательный суд. В этот день судили не только Володиного отца, но еще нескольких инженеров и рабочих, арестованных одновременно с ним по тому же делу.

Подсудимых вывели на эстраду, Володин отец был одним из последних.

Если бы не резкое движение Володи, схватившего свою мать за руку и замерший на губах Вали чуть слышный стон, я, пожалуй, и не узнал бы его, настолько он изменился за эти несколько недель. Еще недавно высокий и прямой, он сгорбился и поник; лицо посерело и распухло, волосы поседели. На эстраде, ни на кого не глядя, он тяжело опустился на стул.

Суд начался. После прочтения подписанных подсудимыми показаний, в которых они сознавались в совершенных ими преступлениях — в саботаже, шпионаже и вредительстве, — они подтверждали свои заявления и признавали себя виновными в предъявленных им обвинениях. Затем, после коротких выступлений прокурора и защитников, судья объявлял приговор. Кого осуждали на пять, кого на десять лет принудительных работ в концлагерях, в большинстве случаев, с лишением прав и права переписки с семьей.

Суд шел быстро. Подсудимые сменялись один за другим, на каждого уходило не больше десяти-пятнадцати минут. Наконец, очередь дошла до Володиного отца.

Я взглянул мельком на его жену и сразу же отвернулся, испуганный страшным выражением ее застывшего лица. Сидевшие по обе стороны матери Володя и Валя крепко вцепились в ее руки, не спуская глаз с отца.

Началось чтение показаний.

— Это неправда, никогда он этого не делал! — порывистым шепотом повторял Володя. — Неужели папа сознается?

— Гражданин Колосов, — раздался голос судьи. — Подтверждаете ваши показания?

Отец Володи медленно поднялся со стула, провел рукой

по лбу и ничего не ответил. Вся зала затихла. Судья, повышая голос, повторил свой вопрос. В зале стало еще тише — все замерли, ожидая ответа.

Подсудимый продолжал стоять неподвижно и только по мучительно напряженному выражению лица было видно, что в нем происходит внутренняя борьба. Наконец, он как будто вышел из своего оцепенения, поднял голову и служащими глазами посмотрел в залу. Выпрямился, рванулся к краю эстрады и страшным несвоим голосом закричал:

— Товарищи! Ну как же я мог не подписать?..

И судорожно скинув с себя пиджак, сорвал рубашку и повернулся к залу спиной. Зала ахнула. Вся его спина была покрыта темно-синими багровыми подтеками и вздутыми полосами.

Валя, громко вскрикнув, обхватила руками шею матери и, прижавшись к ней, громко зарыдала. Володя вскочил с места. Бледный, дрожа всем телом и тяжело дыша, он уставился на отца и трясущимися губами бессвязно шептал:

— Папа!.. Папа!..

Стража бросилась к подсудимому и, накинув на него пиджак, выволокла его за дверь. Судья что-то закричал, закрывая заседание суда и приказал немедленно очистить залу.

Бросившись к матери и припав головой к ее коленям, Володя трясясь от рыданий. Мать продолжала сидеть, как окаменелая, не отрывая глаз от двери, за которой скрылся ее муж. Зала медленно пустела. Молчаливые, угрюмые люди, толпясь,шли к выходу. Некоторые женщины, тихо всхлипывая, украдкой вытирали слезы. Мимо нас, вдоль прохода, провели, поддерживая под руки, пожилую женщину в платке, глаза ее были закрыты, казалось, она теряла сознание.

К нам подошел милиционер.

— Чего сидите, уходить надо! — сказал он.

Володя поднял голову и широко открытыми немигающими глазами смотрел на него.

— Не слышали что-ль? Сказано уходить! — повторил милиционер.

Володя вскочил и сжал кулаки, не помня себя, исступленно кинулся на милиционера.

— Что вы сделали с моим отцом! За что вы его замучили! За что!.. — кричал он.

— Володя! — отчаянно вскрикнула мать, бросившись к нему.

Я схватил Володю и изо всех сил потащил его к выходу.

— Оставь меня! — вырываясь, злобно кричал он. — У тебя нет отца, ты не понимаешь — и вырвавшись от меня, опрометью, спотыкаясь и цепляясь о скамейки, он бросился к выходу.

Валя с матерью поспешили за ним. Я вышел вместе с ними из суда. Но почувствовав, что я лишний и присутствие чужого будет им только в тягость, я уныло побрел в детдом.

Позже я узнал, что отец Володи бесследно исчез, и все попытки его жены что-нибудь о нем узнать, ни к чему не привели. Семье пришлось перебраться в другой город, где Володя поступил в ФЗУ, мать пошла работать кондукторшей, а Валя нашла работу на заводе.

Всех их я потерял из виду.

Н. Воинов

(Продолжение следует).

**

Непрочен матерьял моей земли,
Будь это мрамор, краска или слово.
Сколь многое из некогда живого
Забыли мы, разбили и сожгли.

И человечества прекрасный сон,
Что как рисунок Леонардо нежен,
Не Тайной-ли Вечерей пригвожден
В кавалерийском стынущем манеже!?

Пусть, на леса прилежно взгромоздясь,
Белеет реставратора фигурка —
Она уходит, вянущая вязь,
Из гимна возвращаясь в штукатурку.

Но знаем мы, и в этом наш ответ
Над каждой открытою могилой:
Всё то, что было и чего уж нет,
Неистребимо, потому что — было!

1951.

Д. Кленовский

ЖИЗНЬ МОСКОВСКИХ АКТЕРОВ

В 1932-м году, когда у нас в театре ставили «Гамлета», затрачивая на роскошную постановку сотни тысяч рублей, и пожинали лавры от успеха «Егора Булычева», страна переживала страшный момент сталинской политики коллективизации деревни и ликвидации классово-враждебных элементов. Вероятно, это была одна из самых ужасных эпох в истории России.

Весной 1933-го года наш театр поехал на гастроли на Урал, на большие металлургические заводы. Во время этой поездки я и мои товарищи получили печальную возможность своими глазами увидеть часть того, что делалось в нашей стране. Не забуду никогда бесконечных товарных эшелонов с забитыми крест-накрест дверями вагонов и с решетками на единственном окошке. Сквозь заколоченные двери и решетки видны люди в лохмотьях, с бледными, изможденными лицами. Вагоны сопровождали многочисленная охрана с винтовками в форме войск ОГПУ. Это везли «кулаков» в концлагеря.

Голод, начавшийся еще в 1930-м году, достиг к 1932 году своего апогея. На Украине умирали с голода миллионы. Сотни деревень совершенно обезлюдили. В 1933 году начался страшный голод на Северном Кавказе и на Урале. На каждой городской станции, через которую мы проезжали, мы видели сотни и тысячи голодных крестьян, пришедших из последних сил из своих деревень в поисках куска черствого хлеба. Длинными серыми рядами сидели они у стен железнодорожных вокзалов, тут-же спали, тут-же и умирали, и каждое утро станционная охрана увозила их трупы на телегах, крытых брезентом.

На всем пространстве Советского Союза в эти годы свирепствовала политика жесточайшего «классового террора». «Бывших» и их детей, также как и детей «кулаков», выгоняли со всех служб, исключали из учебных заведений и, наконец,

^{*}) Настоящий отрывок взят из выходящей в ближайшее время книги Ю. Елагина «Укрощение искусств» и печатается с любезного разрешения Изд-ва Имени Чехова. Ред.

просто выселяли из больших городов на все четыре стороны. Эта последняя мера «социальной изоляции» нашла свое высшее выражение в проведенной весной 1933 года паспортизации.

Во время этой паспортизации (т. е. выдачи населению новых паспортов) в самой Москве, более миллиона москвичей паспортов не получили и потеряли навсегда право на жительство в своем родном городе. В число этих изгнанников вошли все мало-мальски сомнительные в политическом отношении и подозрительные с большевистской точки зрения, по своим связям с прошлым, люди и их семьи. Конечно, все без исключения «лишенцы» были выселены из Москвы в первую очередь.

Все это ни в малейшей мере не касалось московских учреждений искусств, в том числе и театров, в том числе, конечно, и театра имени Вахтангова.

Больше того, если уровень художественного творчества театра после смерти Вахтангова медленно, но неуклонно падал, ни разу не поднявшись до вершин большого искусства достигнутых вахтанговским гением, то в областях хозяйствственно-бытовой и, так сказать, «финансово-политической», наблюдался обратный процесс. Строили новые дома, перестраивали здание театра, улучшали оборудование сцены, доставляли сотни вещей, которые, казалось бы, нельзя было достать в стране ни за какие деньги и которые с каждым годом повышали стандарт нашей жизни и условий работы, приближая нас к утопическим условиям «совершенного социалистического общества».

Связи нашего театра, вплоть до рокового 1937-го года, были поистине огромны — вернее даже, почти безграничны. Помимо особого расположения, которое нам выказывал Максим Горький, было еще несколько влиятельнейших в те годы членов правительства, которые дарили нашему театру свои исключительные симпатии и бывали у нас завсегдатаями. К их числу (и к числу поклонников некоторых наших красивых актрис) относились в первую очередь: Авель Енукидзе, секретарь ЦИКа СССР — старый приятель Сталина, Сулимов — председатель Совнаркома РСФСР и Агранов — заместитель начальника ОГПУ. Кроме этих, достаточно важных особ, всегда готовых сделать все возможное для нашего театра, были и более высокие персоны, отношения с которыми были, конечно, более официальными. К их числу в первую очередь относились нарком обороны СССР маршал Ворошилов и В. М. Молотов.

Под покровительством всех этих могущественных людей всем нам жилось приятно и спокойно.

Конечно, никто из наших театральных служащих никогда не отбывал военной службы. Все районные военные комиссариаты Москвы просто знали, что призывать вахтанговцев на военную службу не следует, т. к. все равно они служить не будут. Помню, меня несколько раз вызывали в эти учреждения и каждый раз отпускали обратно, сказав при этом несколько приветливых слов по адресу театра. А один раз военный чиновник, возвращая мне обратно мой военный билет, откровенно попросил оставить ему на следующий выходной день две бесплатные контрамарки в кассе театра.

В начале тридцатых годов невозможно было купить железнодорожный билет дальнего следования, и люди тщетно проставляли дни и ночи, чтобы протолкнуться к заветному окошечку железнодорожной кассы. Но это затруднение нас тоже не касалось. С нашим театральным удостоверением мы могли идти прямо к начальнику любой московской железнодорожной кассы, и он немедленно давал нам драгоценный билет из числа тех, которые были у него всегда резервированы для людей из ОГПУ и для партийных чиновников.

В смысле условий нашей работы в стенах театра, было предпринято все, для того, чтобы сделать эту работу как можно более приятной и для того, чтобы каждый из нас, находясь за кулисами, не испытывал бы тех многочисленных лишений и неудобств, которые испытывало в те годы (да и не только в те годы) огромное большинство советских граждан.

За кулисами у нас, усилиями наших руководителей, была создана совершенно исключительная обстановка. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что социализм в театре был осуществлен полностью. Как только мы переступали порог артистического подъезда и входили в артистический вестибюль, мы попадали в обстановку порядка, цивилизации, высокого стандарта жизни и внимания к каждому из нас. В вестибюле, в стеклянных будках стояли телефоны, которыми каждый из нас мог пользоваться совершенно бесплатно. Верхнюю одежду отдавали мы нашей постоянной дежурной Арише — симпатичной женщине с открытым русским лицом, которая каждого из нас звала по имени и отчеству. Правда, полные имена всех нас были выбиты на изящных стальных дощечках, прибитых над вешалками, на которых висели наши шубы и пальто.

Из вестибюля проходили мы в коридор, который вел в уборные актеров. По стенам этого коридора висели стенные

газеты различных групп театральных служащих, в том числе и газета нашего оркестра под названием «Crescendo». Выходила она раз в месяц и выглядела очень красиво. В этой газете мы совершенно открыто писали обо всем, что нам не нравилось в нашей театральной жизни и что, по нашему мнению, можно было бы улучшить. Помещали мы злые, острые карикатуры на тех из наших руководителей, которыми мы были почему-либо недовольны. Особенно попадало от нас директору театра Екатерине Николаевне Ванеевой, старой коммунистке, бывшей еще в конце прошлого столетия в эмиграции в Швейцарии вместе с Лениным. Вспоминая сейчас эту старую, полную женщину, вижу, что она была весьма безобидна для всех нас, хотя и достаточно глупа. Но так как глупость соединялась у нее с мягким характером, то вреда от нее было немного.

Кроме нескольких стенных газет, в театре еженедельно выходила и обычная печатная газета под названием «Вахгановец». Небольшая типография помещалась у нас же в здании и была неплохо оборудована.

В этом же коридоре, который вел в помещение для артистов, находилась дверь, ведшая в артистический буфет. Этот превосходный буфет, в котором всегда можно было найти и вкусные бутерброды с икрой и балыком, и холодные заливные, и горячие сосиски с капустой, не говоря уже о всевозможных сортах конфет, пирожных и фруктов, был открыт только по вечерам. Днем же к услугам нас всех была большая столовая, которая помещалась в нижнем этаже театрального здания и при которой было, кроме того, еще специальное диэтическое отделение. Рядом со столовой находилась небольшая комната, где можно было по «твёрдым», т. е. по очень дешевым, ценам купить бутылку хорошего грузинского коньяка, крымского белого вина или шампанского.

Под сценой был оборудован бильярд, дабы артисты, не занятые в спектакле, могли приятно и нескучно коротать свободное время. К их же услугам была и читальня, рядом с буфетом, где можно было получить всегда все советские газеты и журналы. Хорошая библиотека была открыта днем и помещалась в другом конце здания. К нашим услугам была театральная прачечная — совершенно бесплатно. Отличные наши театральные портные шили нам хорошие костюмы, правда, не бесплатно, но сравнительно недорого.

В помещении театра находился целый ряд врачебных кабинетов, где в определенные дни недели принимали превосходные врачи по всем специальностям, конечно, совершенно

бесплатно. Немного позднее в одном из этих кабинетов поместились даже отделение московского «института красоты», где наши дамы уничтожали свои морщины и превращались из брюнеток в блондинок и наоборот, а мужчины пытались при помощи современных способов электролечения приостановить постепенное облысение — и все это совершенно бесплатно.

В театре для всех желающих был организован, так наз., «институт повышения квалификации». Любой из нас мог изучать любой предмет, любое дело по нашему выбору, за счет театра. Большинство из моих товарищей музыкантов занимались по специальности у лучших московских преподавателей. Один из моих друзей, альтист, брал уроки живописи. Я сам учился в это время в консерватории и поэтому мало пользовался услугами театрального института. Но все же взял несколько уроков инструментовки для джаза — предмет, который меня интересовал в те годы и о котором мне ничего не могли сообщить мои консерваторские профессора.

В годы всеобщего увлечения современными танцами для всех нас был организован специальный курс под руководством лучших в Москве преподавателей. К таковым причисляли одного шведа — стройного, элегантного блондина и американского негра Генри Скотта. Хотя оба они были хорошими преподавателями танцев и знали свое дело, но мы все же отдавали предпочтение Генри Скотту. В негре чувствовали мы что-то «настоящее» джазовое... Вероятно, то же самое чувство испытывали, кроме нас, вахтанговцев, еще очень большое количество москвичей, потому что Генри был в эти годы весьма известной и знаменитой фигурой в Москве, имел огромный успех у самых изысканных московских дам и зарабатывал раз в десять больше, чем директор какого-нибудь большого военного завода. Он приходил к нам на уроки всегда в сопровождении переводчика, пианиста и ассистентки — очаровательной, элегантной блондинки.

Кроме того, что мы могли ходить всегда совершенно бесплатно во все театры Москвы и даже в кино, часто в самом нашем театре устраивались великолепные по качеству, так называемые, «ночные» концерты. Лучшие музыканты, певцы и танцовщицы Советского Союза всегда с готовностью откликались на просьбу выступить для вахтанговцев — причем делалось это, конечно, совершенно безвозмездно. Концерты эти — обычно короткие, они редко продолжались дольше часа, — устраивались всегда ночью, после спектакля. Обычно в них

участвовало не больше трех исполнителей. Напр., в одном из таких концертов в 1936 году участвовали: лучший скрипач Советского Союза Давид Ойструх, лучшая балерина Москвы Марина Семенова и композитор Сергей Прокофьев. Бывало всегда в этихочных концертах что-то особенно теплое, какая-то располагающая интимность, как бывает, когда знаменитый артист поет или играет в гостиной, дома, у своих друзей. К этому примешивались чувства благодарности и дружеской солидарности с лучшими артистами России, отдававшими нам свое дорогое время и свое прекрасное искусство.

Конечно, и ложа дирекции в нашем театре была всегда к услугам выдающихся артистов. Почти каждый вечер бывали у нас на спектаклях почетные гости. К ним относились не только наши знаменитые соотечественники, но также и иностранные гастролеры (в первой половине тридцатых годов), приезжавшие давать концерты в Москву. Помню, последним из таких иностранных гостей был у нас в театре (в 1936 году) великий гитарист Андрэ Сеговия. Он смотрел пьесу Шекспира «Много шума из ничего», а после спектакля любезно согласился поиграть для нас. Кто-то из нашей молодежи поехал в гостиницу, где жил Сеговия, за гитарой, а мы все собрались в нашем прекрасном белом фойе. Было уже за полночь, когда из кабинета директора вышел к нам Сеговия. За ним шел Шукин, с почтением неся футляр от гитары знаменитого артиста. Футляр из крокодиловой кожи был весь обклеен ярлыками отелей всех стран мира. Сеговия сыграл нам четыре вещи, в том числе этюд Таррэги «Альгамбра». Я много раз слышал этого замечательного музыканта, но его выступление у нас в театре, в маленьком белом фойе, оставило у меня на всю жизнь особенно яркое, незабываемое впечатление.

Несколько раз в год устраивались у нас банкеты, на которые приглашалось также небольшое количество гостей — выдающихся молодых музыкантов, балерин Большого Театра, писателей, близких к нашему театру, а, иногда, и виднейших партийных и правительственныеых деятелей — конечно, не самого первого положения — во всяком случае тех, чья жизнь не охранялась специальным образом и которым не запрещалось общаться с такой большой массой неорганизованных, вполне беспартийных и достаточно легкомысленных людей, какую мы собой представляли. На банкетах этих играл обычно один из лучших джазов Москвы — почти всегда джаз Цфасмана — и танцы продолжались до утра. Кроме того, бывала часто еще и юмористическая концертная программа с остроумными

номерами, которые сочинялись нашими остряками специально для данного вечера.

Иногда для лиц, занимавших в правительстве исключительно важное положение, устраивались вечера, носившие совсем интимный, закрытый характер. Так, в 1935 году был устроен на квартире у одного из наших лучших актеров вечер специально для маршала Ворошилова. Кроме Ворошилова и его телохранителей, на этом вечере присутствовал также маршал Буденный и, как это ни странно, Николай Ежов, знаменитый впоследствии начальник НКВД.

Нашей совсем уже из ряда вон выходящей привилегией было то, что раз в неделю на кинофабрике Мосфильм специально для нас вахтанговцев демонстрировались оригинальные фильмы заграничной кинохроники. Мы могли видеть нашими собственными глазами то, что было не только запрещено видеть простым смертным, но о чем им было запрещено даже думать. Мы смотрели американские и немецкие хроникальные фильмы. Мы видели скачки в Париже, журналистов на приеме у президента Рузвельта, гитлеровские ночные шествия с факелами, теннисные состязания на кубок Дэвиса, Муссолини, говорящего речь с балкона дворца в Риме, и заседание английского парламента. Для нас приподнимали один раз в неделю на целый час «железный занавес».

В августе 1935 года в концлагере в Сибири умер мой отец. В течение последних лет его заключения мать жила в маленьком городке около концлагеря с единственной целью хоть изредка видеть отца и возможно облегчить его моральные и физические страдания.

После его смерти мать приехала ко мне в Москву. Когда я ее встретил на вокзале, то ужаснулся той перемене, которая с ней произошла со времени ее отъезда в Сибирь. Сейчас это была старая женщина с волосами совершенно седыми, с измученным, изможденным лицом, в котором застыло выражение большого горя. Я дал себе слово сделать все, что только было в моих силах для того, чтобы устроить ей жизнь у меня спокойную и благополучную.

Но это оказалось не так то просто.

Недели через две после ее приезда я играл в театре репетицию. Неожиданно мои товарищи музыканты передали мне,

что меня вызывают. У входа в оркестр я увидел нашу милую Аришу — дежурную по вестибюлю.

— Очень срочно, — сказала тихо Ариша.

Я попросил разрешения у дирижера и вышел вслед за ней.

— К вам ваша мама по важному делу, — говорила Ариша, когда мы выходили в коридор. На сердце у меня сразу похолодело. Я знал, что мать никогда не придет на репетицию в театр, не имея на то исключительной причины. Конечно, это могла быть только новая болыпая неприятность. Но какая? Взволнованный, я выбежал в вестибюль.

С деревянного диванчика около телефонной будки поднялась мать. По ее бледному лицу я увидел, что не ошибся в своих предположениях.

— Прости, что я тебя оторвала от работы, но у меня большая неприятность, — сказала мать, стараясь говорить спокойно, когда мы отошли с ней в сторону, — час тому назад пришел ко мне участковый надзиратель из милиции и сказал, что я, как вдова высланного, не имею права жить в Москве и должна в трехдневный срок выехать из города. Он добавил, что я не имею права жить ближе, чем в стокилометровой зоне от Москвы. Ты знаешь, что это для меня значит? Может быть, ты можешь что-нибудь сделать?

Я сразу понял всю трагичность положения. Послать мать жить в полном одиночестве в какой-нибудь маленький городишко или даже город вроде Рязани или Тулы сейчас, когда она только что пережила огромное горе и особенно нуждалась в моральной поддержке моей и наших немногочисленных сохранившихся родственников — послать ее одну в полуходяную советскую провинцию — это значило морально добить ее. Этого нельзя было допустить, и я начал немедленно действовать. Первым делом я пошел к нашему театральному доктору по болезням уха, горла и носа толстому Канторовичу, объяснил ему положение и попросил выписать мне освобождение от работы «по болезни» на одну неделю. Канторович был настоящий вахтанговец, а потому все прекрасно понял и не заставил себя упрашивать. Я получил неделю свободного времени, необходимого мне для хлопот.

На следующий же день вахтанговцы устроили мне прием у начальника паспортного отдела города Москвы, товарища Янова.

Паспортный отдел помещался в здании московского управления милиции на Петровке. Янов принял меня небыкновенно вежливо. Это был красивый молодой брюнет лет трид-

цати с небольшим, выхоленный и любезный. По манерам своим он напоминал нечто среднее между старым гвардейским офицером и провинциальным парикмахером. Он был в новенькой с иголочки милицейской форме, в лакированных сапогах, которые своим зеркальным блеском могли соперничать разве только с его же блестящим пробором на напомаженных черных волосах.

«Неужели это тот самый человек, который недавно прошел страшную паспортизацию и выслал из Москвы больше миллиона ее жителей?» — подумал я. — «Нет, это невозможно. Это был, наверное, не он, а его предшественник». Товарищ Янов от вежливости даже выпел из-за своего письменного стола, когда я вошел. Он встретил меня посреди комнаты, щелкнул каблуками и крепко пожал мне руку. — «Сердечно рад. Прошу вас...» — он изысканным жестом руки показал на кожаный диван. Я сел и он сел рядом со мной, скрипнув своими новенькими ремнями и сапогами. Вероятно тем, что он сел со мной рядом на диван, а не принял меня, сидя, как обычно, за письменным столом, тов. Янов хотел подчеркнуть свое особенное внимание ко мне и моему делу. Я это почувствовал, и настроение мое сразу поднялось. — «Разрешите вам предложить, тов. Елагин..» — изящный золотой портсигар, щелкнув, раскрывается передо мной. — «Благодарю вас, я не курю». — «Я весь внимание и я весь к вашим услугам» — масляные глаза начальника смотрят на меня с такой доброжелательностью и сердечностью, что кажется, будто паспортный отдел города Москвы готов для моего удовольствия дать разрешение на жительство в столице по крайней мере дюжине закоренелых активных контрреволюционеров, а не только одной несчастной пожилой женщине.

Я подробно излагаю мою просьбу. Янов не прерывает меня, всем своим видом изображая сочувствие и внимание. Я кончил. Несколько секунд царит молчание. Затем начальник начинает говорить. Голос у него прямо бархатный

— Ваша глубокоуважаемая матушка, конечно, имеет все основания жить вместе с вами в нашей столице, тов. Елагин, — от доброты и расположения ко мне и к моей матери в голосе тов. Янова звучат прямо трогательные ноты. — Но все дело в том, что, к крайнему моему сожалению, существуют целых два советских закона, на основании которых это совершенно невозможно. Вот если бы один... так уж куда нишло... для вас... я всей душой готов помочь. Но вы сами понимаете —

два закона. Прискорбно. Очень, очень жаль... — Янов искренне огорчен.

— Какие же это законы? — спрашиваю я

Начальник берет со стола довольно толстую инструкцию, содержащую многочисленные законы, на основании которых гражданам советского государства запрещается проживать в их собственной столице.

— Вот, изволите ли видеть... Первый закон о родственниках контрреволюционеров, осужденных по 58 и 59 статьям. Ваш батюшка по какой?..

— Пятьдесят девятая.

— Ну, вот видите, я и говорю... А здесь второй закон, по которому ваша матушка, при всем моем желании, никак не сможет проживать в Москве. У нее паспорт выдан в Сибири, как вы мне изволили сообщить. А лица с иногородними паспортами не имеют права приезжать в Москву без особого на то разрешения властей, которое, как вы сами понимаете,дается в самых крайних случаях.

— Как, неужели родители не могут приехать жить к своим детям?

— Никак нет. Только в том случае, если им больше пятидесяти лет. Тогда дети имеют право взять их на свое иждивение. Вашей матушке же только сорок пять, и она не имеет права быть на вашем иждивении, а следовательно и проживать с вами вместе.

Потрясенный этими мудрыми законами, я молчал.

— Так что, как видите, даже если бы ваша матушка не была вдовой политического... — Янов хотел сказать «преступника», но удержался и сказал «заключенного», — то и тогда было бы трудно что-либо сделать. Сейчас же это совершенно невозможно. Крайне сожалею... Был бы чрезвычайно рад помочь...

Начальник провожает меня до двери и опять щелкает каблуками.

— Очень был рад познакомиться. Сердечно сожалею...

Я благодарю за прием и выхожу. Мне ясно, что вахтаговских связей в этом случае хватило на любезный тон и на длительность приема, но не больше. Я подумал о том, как этот товарищ Янов разговаривает не с вахтаговцем, которого его просили принять сильные мира сего, а с простыми смертными, и мне стало не по себе.

Я пришел домой в скверном настроении. Мать сказала,

что опять приходил участковый, был очень груб и требовал, чтобы она «поскорее выметалась, а то плохо будет».

Вечером я пошел к заведующему административной частью нашего театра Льву Петровичу Русланову и рассказал ему о моем деле и о моем визите к Янову.

— Напрасно вы пошли к этому наглому молодому человеку, — сказал мне Русланов. — В таких случаях надо начинать всегда с головы. У нас есть друзья среди лиц покрупнее Янова. — Я, конечно, никогда не сомневался в том, что у Льва Петровича есть друзья покрупнее и поважнее — в том числе и совсем крупные и весьма важные.

На следующий день Русланов позвонил мне по телефону и сообщил, что он уже начал действовать вместе с некоторыми из наших актеров — он назвал фамилии двух наиболее прославленных вахтанговцев.

— Пока мы добились отсрочки высылки вашей матушки на одну неделю. Вам нужно завтра поехать лично в главное управление милиции Советского Союза и получить разрешение. Оно будет готово к двум часам дня. — Русланов сказал мне адрес главного управления милиции СССР, и я понял, что он действительно начал «с головы».

Это управление помещалось на Лубянке 2 — в главном здании ОГПУ. Есть ли хоть один человек в Москве, который не знал бы этого адреса?

В назначенный час я получил пропуск в комендатуре, и после обычной тщательной проверки документов шел по длинным, изумительно начищенным коридорам страшного дома. Всегда, когда мне приходилось переступать его порог, мной овладевало смешанное чувство отвращения и любопытства.

Я постучал в дверь, на которой был номер, указанный в моем пропуске, и вошел. За столом сидела женщина средних лет в милицейской форме. «Бумага готова для вас, товарищ Елагин», — сказала она резким и властным голосом, слегка улыбаясь и передавая бумагу. Весь визит длился менее одной минуты.

Когда я вернулся домой, мать встретила меня в отчаянии. Опять приходил участковый, кричал на нее и грозил — «...если ты до ночи не уберешься со всем твоим барахлом, так мы тебя загоним туда, куда Макар и телят не гонял».

— Когда он опять придет, покажи ему вот это, — протянул я матери маленькую бумажку. На ней ниже штампа главного управления милиции стояло кратко — «отсрочить вы-

сылку из Москвы гражданки Елагиной В. М. на семь дней со дня выдачи настоящего удостоверения».

Это было еще не все, но это было уже много. Ночью я первый раз за эти трое суток заснул более или менее спокойно.

Было еще темно, когда я и мать проснулись от громкого стука в дверь.

— Это опять участковый за мной, — прошептала мать.

— Подожди, дай я с ним поговорю, — сказал я, надевая халат и доставая драгоценную бумажку. Стук в дверь продолжался: — Эй, открывайте! Милиция!

Я подошел к двери и открыл ее. За дверью стояли два дюжих милиционера.

— В чем дело, товарищи? — спросил я. — Почему вы будите людей?

— Елагина уехала? — рявкнул один милиционер, который был ко мне ближе. Рыжая квадратная физиономия его изображала крайнюю степень свирепости.

— Елагина? — удивился я. — Нет, конечно. А зачем ей так торопиться?

— Что вы притворяетесь, гражданин. Мы пришли не шутки шутить. А ну, Сидоров, ступай сюда.

Рыжий сделал шаг в комнату, отстраняя меня. Второй следовал за ним. Я загородил дорогу милиционерам и резко изменил тон. «Будьте любезны не беспокоить людей по ночам! И разговаривайте со мной повежливей. Я очень не люблю, когда со мной вот так разговаривают, как вы сейчас. Читайте удостоверение!». Я сунул ему бумажку под нос. Тон мой, вероятно, удивил блюстителей советского порядка, так как они сразу остановились. Рыжий взял бумагу и стал ее внимательно читать. Я с чувством огромного удовлетворения наблюдал, как на его тупом лице появлялось выражение недоумения и растерянности. Он долго читал и рассматривал печати и штампы. Пот выступил у него на лбу от непривычного напряжения мысли. Как типичный советский служака, он был груб и хамоват с подчиненными и труслив при малейшем соприкосновении с высшим начальством или хотя бы с самой тенью этого начальства. Так и сейчас, участковый даже не пытался сохранить чувство собственного достоинства, что, вероятно, сделал бы другой на его месте. При виде бумажки, подписанный начальником главного управления милиции СССР лицом совершенно недосягаемым, каким-то олимпийским сверхначальством для рядового милиционера — рыжий сразу пере-

шел с фортифисимо на пьяниссимо. «Извиняюсь, товарищ. Оно, конечно, сами понимаете. Наше дело — служба. Пошли, Сидоров. До свиданья, будьте здоровы».

Милиционеры ушли, осторожно ступая по коридору своими сапожицами. Мы с матерью облегченно вздохнули. Дело явно шло в гору.

Утром меня вызвал к себе заслуженный артист республики, один из руководителей художественной части Вахтанговского театра.

— Ну, Юрий Борисович, — сказал он, лукаво улыбаясь и потирая руки, — садитесь и пишите.

— Что писать? — удивился я.

— Пишите заявление в главное управление милиции.

Я покорно взял в руки перо, еще ничего не понимая.

— Пишите: — ввиду моей ответственной творческой работы в качестве члена музыкальной коллегии художественного совещания и помощника концертмейстера театра имени Вахтангова, мне особенно нужна покойная домашняя обстановка, которая является совершенно необходимым условием моей продуктивной работы в области советского искусства. По вышеизложенным причинам, прошу главное управление милиции Советского Союза разрешить проживание вместе со мной моей матери Елагиной, В. М., т. к. только она способна обеспечить мне необходимые для моей творческой работы домашние условия. — Точка. Все. Подпишитесь.

Я подписался под этой галиматьей.

— Неужели этот вздор может помочь? — спросил я.

— То, что мы с вами тут написали, в конце-концов, совершенно неважно. Дело уже сделано. Вы же знаете, что у Льва Петровича есть друзья в главной дирекции милиции СССР, и нам сейчас нужно только формальное обоснование дела, имеющее хотя бы видимость логики, пусть хоть самой готтентотской. А завтра я и Лев Петрович поедем на Лубянку и лично отдадим это веселое сочинение по назначению. Я уверен в успехе. Можете теперь спать спокойно.

Через два дня мать вызывали к телефону. «Товарищ Елагина? Здравствуйте. Говорит начальник вашего отделения милиции товарищ Пушкин», раздался любезный голос. Это был тот самый начальник, который посыпал два дня тому назад участкового надзирателя выгонять мою мать на улицу. «Я был бы очень рад вас повидать, товарищ Елагина. Когда вы сможете ко мне зайти?» — товарищ Пушкин не говорил, а прямо пел в телефон.

Я могу прийти сейчас, — сказала мать недоумевая
Прекрасно. Жду вас.

Когда мать пришла в милицию, ее грубо окликнул дежурный у входа

Вам что надо?
Я к начальнику.
Начальник занят.
Но он звонил мне и просил прийти.
Как фамилия?
Елагина.

Пожалуйста, товарищ Елагина, начальник вас ждет.

Товарищ Пушкин был очень мил. «Я прошу вас, товарищ Елагина, забыть это маленькое недоразумение. Конечно, вы имеете все данные, чтобы жить в Москве. Дайте, пожалуйста, ваш паспорт...»

Мать протянула паспорт, и начальник поставил на нем маленькую печать «Н-ское отделение милиции города Москвы».

Эта маленькая печать давала право на жизнь в столице. Как все это оказалось просто и легко.

Превосходная жизнь актеров московских театров давалась им, конечно, не даром. Все чаще и чаще театры ставили современные пьесы советских авторов. Все чаще и чаще пре- восходным актерам приходилось играть лживые, надуманные образы, говорящие тяжелым, примитивным языком. Все больше и больше появлялось на сценах лучших театров Москвы штампованных героев сталинской эпохи: бравых летчиков, стахановцев, девушек-комсомолок, негодяев-белогвардейцев, злодеев-кулаков, иностранных шпионов и т. д. и т. п. Это и было то, чем оборачивалась советизация искусства в области содержания. Главной причиной трагедии русского театра (также как и русского искусства вообще) явилось то, что официальная версия жизни Советского Союза, которую приходилось изображать, резко расходилась с действительностью. Согласно официальной точке зрения в СССР уже воцарилась рабская социалистическая жизнь, полная всевозможных радостей и изобилия. Крестьяне весело трудятся на колхозных полях, а после работы идут отдыхать в уютные читальни и клубы — послушать радио, посмотреть кинофильм. Рабочие с энтузиазмом перевыполняют планы, а вечером принимают ванну в

чудесных своих новых квартирах. Жизнь пограничников, инженеров, сельских учителей и врачей преисполнена красоты, героизма, радости труда и достойной награды за этот труд. Конечно, все советские граждане прекрасно понимают, что этой счастливой жизнью они обязаны только и исключительно их гениальному вождю, учителю и другу товарищу Сталину.

Такова схема жизни в сталинскую эпоху, созданная и утвержденная в управлении агитации и пропаганды ЦК ВКП (б). И эту схему предложено было изображать средствами искусства и литературы.

Так вошла ложь в искусство и в литературу России, а раз войдя, стала отвоевывать себе все большее и большее место, пока, наконец, не залила мутным потоком еще недавно великую русскую культуру. Когда я впервые попал за границу и увидел фильмы из современной жизни, меня необыкновенно поразила их правдивость. Сами герои, их поступки, их одежда, дома, обстановка квартир, автомобили и города — все было совершенно таким же, как и в действительной жизни. В советских же фильмах вымыщено всё — от колхозной избы, в которой живет герой, и до пальто, которое на нем надето, от характера героя и его действий и до его отношения к товарищу Сталину. То же в литературе. То же и в театре.

Но для того, чтобы облегчить эту ложь и авторам и актерам — вернее, для того, чтобы и те и другие скорее бы сами поверили этой лжи, — для этого правительство создало для них хорошие условия жизни — такие же, какие были у героев, которых авторам и актерам приходилось изображать, условия, которые не существовали в действительности для всего населения советской России. Живя в огромной стране, как в заповеднике, не испытывая ни в чем недостатка и лишений, было, конечно, легче принять фантазию за истину. И через некоторое время в этом заповеднике действительно воспиталось порядочное количество драматургов, режиссеров и, особенно, актеров, научившихся мастерски изображать лживую официальную версию советской жизни. Я думаю, что если бы советская власть ограничила свою политику в искусстве вопросами содержания, то в течение еще долгого времени театр находился бы на относительно высоком уровне. Но советское правительство не ограничило свою политику в области искусства вопросами содержания. Оно повело атаку и в области формы.

Осенью 1934 года с трибуны первого съезда советских писателей Максим Горький впервые провозгласил о новом советском стиле в искусстве и в литературе. На этот раз совет-

ский стиль был назван вполне определенно. Имя ему было «социалистический реализм». Таким образом, теперь определялись не только содержание, но и форма. Горький был первым, кто теоретически обосновал новый стиль, как единственный стиль «достойный эпохи строительства социализма». Конечно, возвестил он это после многих разговоров и обсуждений этого вопроса со Сталиным и с полного одобрения последнего. Мне часто приходилось слышать, что когда Горький провозглашал «социалистический реализм», по его мысли, было это, якобы, не приказом, а только рекомендацией. Не обязательным, а только желательным. Может быть, это и было действительно так, но события развернулись иначе. Вскоре после провозглашения «социалистического реализма» звезда самого Горького стала закатываться, а в виде «социалистического реализма» сталинское правительство получило в руки страшное оружие для вторжения в самое сердце художественного творчества и для установления над этим творчеством жесточайшей диктатуры.

Ю. Елагин

**

Я недоволен медведями:
 «Они не сеют и не жнут»,
 Но мёд и землянику жрут
 И спят в берлогах месяцами —
 — Я очень недоволен медведями!
 На небе знаки звездочёта
 Большой Медведицей зовут,
 На небе звездочек без счета
 И Малые Медведицы растут.
 Медведь огромный вместо Бога
 Над миром лапу протянул,
 Он лермонтовским сном уснул
 Пока не прозвучит тревога.
 Не призываите-ж имя Бога!

Юрий Одарченко, 1950 г.

КИЕВ, ВОЙНОЙ ОПАЛЕННЫЙ

III.

Под весенним солнцем голодный и холодный Киев отогревался. Белорозовые яблони, кисти сирени, еще влажные от утренней росы, золотые одуванчики в нашем саду... Киев — уже глубокий тыл. Война отошла от него, чтобы взбираться на синие вершины Кавказа, подплывать к осажденному Севастополю, катиться по пыльным равнинам Донбасса...

Соседские юноши, сбросив рубахи и подставляя солнцу спины и плечи, весело заравнивают нашу «щель» — самодельное бомбоубежище под старой грушей. Вокруг города, в полях, тоже кипит работа. Надеясь на раздел осенью земли и урожая, крестьяне напрягают все силы, чтобы нагнать потерянное. Плодородная земля Украины покрывается волнистым шелком хлебов, пестрыми клеточками огородов, серебрится ранней гречихой. Крестьяне еще не знают, что колхозная система будет сохранена почти полностью. Ведь именно эта система выкачивания хлеба, давшая возможность Советскому Союзу создать огромные военные запасы, полностью соответствует и немецкой политике.

Раскормленные гебитс-и ландкомиссары, сопровождаемые не менее цветущими переводчицами, исполнявшими в большинстве случаев и другую роль, зорко присматривали за тем, чтобы все сельскохозяйственные продукты неукоснительно отправлялись в Рейх. Пора заигрываний с населением уже проходила, и отрезвлявшееся село мрачно оstriло: «Спасибо немцам-освободителям — освободили от последней коровы». Но еще спокойно было в то лето в украинских лесах: не до конца еще обманутые люди верили в новую, лучшую жизнь.

Горожане дрожали над каждым ломтиком, вернее щепоткой хлеба, выдававшегося по карточкам в жалком количестве. Незабываемый хлеб времен немецкой оккупации — так называемый «наждак», сверкавший шелухой от проса, горький от при-

*) См. кн. 27-ю «Нов. Журн.»

месей, глинисто-тяжелый, на другой же день рассыпавшийся песком. А на Киевском вокзале бесконечные составы вагонов наполнялись золотой, отборной пшеницей, тысячами мешков драгоценного зерна, для отправки его в Германию. Тупо и твердо уверенные в победе немцы спешили набить карманы всем, чем только могли.

Такое отношение к населению сыграло огромную роль во вспыхнувшей к немцам ненависти, но всё же не оно явилось основной ее причиной. Насильственный набор в Германию, не менее жестокий, чем татарская неволя, вот что было последней каплей, переполнившей весьма вместительную чашу народного терпения, вот что сразу перерубило еще неокрепшие нити, протянувшиеся между завоевателями и завоеванными.

Первый транспорт киевлян в Германию был добровольным. Газеты и листовки широко его рекламировали, призывая молодежь воспользоваться возможностью повидать свет, побывать в Европе. И многие отозвались на этот призыв. Любопытство, жаждя повидать всё, доселе запретное, неведомое, лежавшее за советскими рубежами, еще подогревались рассказами немецких солдат о стране, где в селах стоят чистенькие каменные домики с электричеством, где леса и поля прорезаны целой сетью гладких, как скатерь, асфальтированных дорог, где средний крестьянин имеет по несколько коров, не считая другого скота...

Юноши и девушки ехали с песнями и цветами «на зароботки», расчитывая скоро вернуться на родную землю. Но следующие транспорты были уже далеко не такими веселыми. Добровольцев оказалось всё же слишком мало, и в Киеве, как и во всех других городах, кроме центрального «арбайтсамта», были созданы специальные «инспектуры труда» при каждой районной управе. Молодых, здоровых мужчин и женщин вызывали туда по годам рождения, и с Львовской 24 (бывшее здание Военкомата) под конвоем отправляли на станцию для отсылки в Германию. Говорили, что с февраля по август 1942 г. оттуда было отправлено около 30.000 рабочих. Однако, требования немцев в отношении рабочей силы всё более повышались. И вот, начались облавы. Под предлогом борьбы со спекуляцией, немцы всё чаще и чаще оцепляли базары, и люди метались с расширявшимися от ужаса глазами, переворачивая корзины и лотки, но немецкие полицейские неумолимо вталкивали рыдавших женщин и побледневших мужчин в огромные грузовики. Всех, за редкими исключениями, отправляли в Германию, и не одна мать, не дождавшись дочери или сына, с тя-

желым предчувствием спешила на Львовскую. Там, за колючей проволокой забора, иногда еще удавалось разыскать близких и передать им узелок или чемоданчик с самым необходимым.

Позже и Алёша, вышедший купить хлеба, будет захвачен в такую облаву. Мне передадут об этом соседи, и я нагоню колонну уже при выходе из города. Бледная, задыхающаяся от быстрого бега, еле держащаяся на ногах, прижимая к груди все документы, я буду напряженно вглядываться в десятки хмурых лиц, проходящих мимо. К счастью, знание немецкого языка выручило Алёшу; ему удалось уговорить полицейского отпустить его.

Видно такая уж нам судьба — не расставаться. Сердцем почувствовала — будем ити вместе трудной нашей дорогой еще тогда, в приемной Военкомата, когда Алёша вышел из кабинета врача, вертя в руках какую-то бумажку и криво улыбаясь: «Не берут, Натуся, из-за астмы, вот уж не думал, что стану белобилетчиком».

Замужество мое мало изменило наш быт. Перемены произошли из-за внешних причин. От нашего дома до конца Демидовки, где Алёша работал в бывшей Малой студии Киевской кинофабрики — километров восемь. И проделывать ежедневно такой путь пешком — не под силу.

Несмотря на то, что центр Киева погиб в огне, а лучший квартал — Липки — почти полностью выселен и занят немцами, квартирный вопрос в то время разрешался довольно легко. Город, насчитывавший перед войной около 900.000 населения, свободно вмещал 300.000 жителей, оставшихся при немцах. Десятки тысяч людей, ютившихся целыми семьями в тесных комнатушках, теперь расширяли свои владения и обзаводились более или менее соответствующей жилищной площадью. Многие при этом даже разбогатели на несчастии других, захватив только что покинутые квартиры.

Мы поставили себе задачу найти такую комнату, бывшие владельцы которой не были бы расстреляны и где бы не было ничего чужого. После довольно продолжительных поисков мы нашли квартиру, отвечавшую нашим требованиям. Большая солнечная комната с балконом, невероятно грязная и запущенная, изуродованная фанерными перегородками, стояла с настежь открытой дверью, со взломанным замком. Всё, что осталось от прежних владельцев, эвакуировавшихся на Урал, было расташено в первые же дни благодарными соседями. Только старинный рояль, не пролезавший в дверь, одиноко стоял в углу, покрытый толстым слоем пыли. Рядом была и небольшая

комната, могущая служить спальней. Словоохотливая соседка, очевидно, приложившая руку к освобождению комнат от вещей, так как ее собственная квартира была буквально загромождена мебелью, услужливо объявила, что при советах в этой квартире ютилось семь семейств, а теперь с нами было только три.

Я решила остановиться на этих комнатах, и на другой же день принялась приводить их в порядок. Безобразные перегородки рухнули, стены и потолок, свеже-выбеленные и подкрашенные бледно-зеленым, весело отражали солнечные лучи. Алёша красил двери и окна. Заблестел свеже-натертый паркет, на балконе появились ящики с цветами... Но лето промелькнуло слишком быстро.

Снова люди начали кутаться в старые пальто, платя бешеные деньги за маленькую вязаночку дров на базаре. Рано темнело, но многие киевляне в эту зиму уже не сидели при коптилках — настала эра карббитных ламп, самодельных и грубых, но всё же дававших возможность читать и заниматься какой-либо работой.

В эту зиму к нам повадился довольно странный гость. Это был очень худой, очень близорукий человек, лет сорока восемьми, старый холостяк, проживший жизнь где-то в маленьком городке Германии со стариком отцом и не менее старой экономкой. Кабинетный ученый, далекий от всяких военных событий, он с большим удовольствием сам вспоминал свои студенческие годы и обращался с нами отнюдь не как представитель «высшей расы». Держась вообще вдалеке от немцев, мы многое почерпнули из разговоров с этим умным, скромным и вдумчивым человеком. Он хлебал с нами пустой суп и искренно ужасался, как могли семь хозяек в свое время готовить на семи примусах в маленькой, закопченной кухне (“Нехеп-küche”, как он ее называл).

В то время нам пришлось сооружать печку, так как паровое отопление, конечно, бездействовало. Я помню, как он уговаривал меня не продавать для этого стеганое одеяло и другие вещи, как, смущаясь, тыкал нам в руки толстую пачку денег, говоря, что ему не на кого тратить сейчас получаемое жалованье, и что он очень просит взять их, а потом вернуть ему долг... по окончании войны...

Денег мы, конечно, не взяли, но близорукий чудак, милый доктор Зиблер, один из завоевателей нашей несчастной земли, был одним из немногих людей в нашей жизни, искренно и бескорыстно желавших помочь близким...

Частым гостем бывал у нас Ваня Матвеев, худенький, черненький, совсем еще молодой, талантливый поэт.

Сколько раз, бывало, распилият они с Алёшой притащенную откуда-то доску, и пока в нашей печурке закипает неизменный пшеничный суп, Ваня читает свои стихи, жуткую «Камаринскую», написанную им под впечатлением недавней расправы на Бессарабской площади:

«В небо крыши упираются торчком,
В небе месяц пробирается бочком.
На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренъка...»

Или:

«Одеялом завешены стекла,
Тишина стоит у плеча.
Скудный луч на томик Софокла
Клонит нищенская свеча».

А каким мальчишески-веселым мог быть тот же Ваня, если судьба бросала ему хоть жалкую долю радости. Когда один знакомый инженер, разбогатевший на открытии комиссионного магазина и спекуляциях с мадьярами, подарил ему дорого стоивший словарь Даля, о котором Ваня долго и тщетно мечтал, то какие чудесные пародии в духе Маяковского, Северянина, Есенина, Некрасова и многих других написал он, вместе со своей женой, под заглавием «Как даль стала близью». Эти пародии, заботливо переписанные его Люшней, я возила всюду с собой.

Заходил к нам и Валерий, инженер-архитектор, знаток и любитель русской старины. Он знал на память всё «Слово о полку Игореве» и бесчисленное количество былин и сказаний. Зегзицей плакала Ярославна, шли походом славные князья, сражались и умирали богатыри... Иногда Валерий подолгу играл на нашем старом, разбитом рояле, и снова расступались стены, свежая струя врывалась в серый, голодный и холодный быт.

В то время мы невесело шутили, что жизнь наша шита то белыми, то зелеными, то красными нитками. Дело в том, что я, увлекаясь вышивками, в свое время неизменно покупала все попадавшиеся мне на глаза нитки, и теперь они сослужили нам хорошую службу, так как относительно легко продавались на базаре. Постою часок на морозе, сбуду несколько мотков и радостно несу домой немного картофеля, пшена и микроскопическую порцию сала, так и продававшегося порезанным на мелкие кусочки. Часто не хватало денег на дрова, но мы обна-

ружили сваленные во дворе противогазы, которые, как оказалось, великолепно горели, и варили на них суп. Когда же не хватало и на сало, то на старательно натертой луком сковородке пекли «деруны» из тертого картофеля. Почему-то лук действовал так магически, что они не пригорали и благополучно отставали от сковородки...

Единственное, что радовало, это возвращение друзей. Из окружения, из плена приходил то один, то другой. Вернулся Юра. Долгие месяцы плена поселяли в душе его острую ненависть к немцам, и он неутолимо ждал возвращения «своих». Я не могла найти с ним общий язык — для меня уж ни советы, ни немцы не были своими.

**

Я получила новую работу — мне предложили должность переводчика в украинской конторе лекарственных растений.

Работать там — сплошное блаженство уже потому, что в конторе тепло, не говоря о том, что в виде пайка мы получаем по несколько килограммов тыквенных семечек. Все служащие, конечно, немедленно продают их торговкам, но всё же можно разрешить и себе погрызть теплые, утоляющие голод зерна. Кроме того, дают сушеные грибы и ягоды, и та же тухловатая пшененная каша, густо пересыпанная вишнями, кажется необыкновенно вкусной. Жить становится гораздо легче.

Зато с улучшением материального положения появляется и соблазн: книги, которые так трудно было достать в советские времена. Теперь они непрерывным потоком плывут в магазины букинистов; продаются брошенные библиотеки крупных партийцев, академиков и профессоров, эвакуированных советами. Мы знаем, что тратиться сейчас на книги — безрассудно, нужно хоть немного поправить здоровье, безжалостно подорванное тяжелыми годами, знаем... и не можем удержаться и мы приходим домой то с тяжелыми коричневыми томами «Саги о Форсайтах» Гэлсуорси, то с «Осуждением Паганини» Виноградова, то с «Романтиками» Паустовского в ярко-синей обложке...

IV.

Над Днепром остро пахнут лозы; чайки, задевая крылом воду, носятся над вспыхивающей бликами темно-голубой лентой реки. Белая Лаврская колокольня ярко выделяется на фоне сочной молодой листвы.

Обхватив руками колени, Валерий говорит, смотря куда

то вдаль, где на бледно-голубом небе порванным кружевом темнеют арки и переплеты рухнувшего моста. Для него каждый поворот реки, каждый луг на ее берегу полон особого и дорогого ему значения. Вот здесь пестрели ханские шатры, вон там устилали песок трупы, а там выезжали друг другу на встречу свободолюбивые, непокорные князья...

Теперь мы чаще видимся с Валерием. Позади остались мучительные холода; выходить из дома разрешено до девяти часов. Дни стали длинными, светлыми, исчезло мучительное чувство изолированности... Вечерами у нас даже горит электричество. После почти двух лет тьмы я, как ребенок, не могу нарадоваться вспыхивающему под бледно-зеленым шелковым абажуром светящемуся шарику, и первые дни почти поминутно щелкаю выключателем.

Нам еще тugo, очень тugo, но мы уже не голодаем. Иногда мы собираемся вместе — Ваня, Юра, Шура, Лена, еще двое-трое из старых и новых друзей. Хочется забыться, уйти от тяжелых мыслей, от навязчивого и неразрешимого вопроса — когда же и чем кончится война? Собравшись, мы ставим шары. У Вани Матвеева открылся новый талант и он невольно заражает им товарищей. Играют они с большим воодушевлением и так перевоплощаются, что в Париже, задрапированном вместо овечьей шкуры в две лисьих горжетки, задумчиво рассматривающим яблоко, трудно узнать Валерия, а у молодой богини с пышными формами, кутающейся в простыню, странно-знакомыми кажутся только штопанные-перештопанные сиреневые алёшины носки. Ване более всего удаются роли авантюрные и трагические. Венцом же его режиссерской деятельности была шарада, одна из сцен которой изображала залу «арбайтсамта», где ожидали назначения на работу различные типы. Наконец, им объявили, что все они приглашаются в качестве статистов для выступления известного немецкого трагика. Так как еще не было известно, в какой именно веци шекспировского репертуара выступит эта приезжая знаменитость, им предписывалось, в случае выхода на сцену белого человека в черном, говорить “Ja, Prinz”, “Nein, Prinz”, так как это был бы Гамлет, а в случае появления черного человека в белом, говорить: “Ja, General”, “Nein, General”, так как это был бы Отелло. И Отелло-Ваня, вообще не владевший немецким языком, делал весь упор на потрясающую мимику, повторяя с различными модуляциями только два слова: “Desdemona... Taschentuch”...

Отпраздновали мы и пятилетие Ваниной свадьбы. Его черненькая жена с китайскими глазами, сама поэтесса и тонкий

критик, изготавлила паштеты из гороха и еще какие-то кушанья, не указанные в «Молоховце». Незатейливая еда обильно сдабривалась стихами и остроумными тостами. Было много изящной выдумки, дружеского тепла и хорошей, ничем не убитой молодой бодрости...

**
*

Как-то мы вышли на балкон, повисший над уже безлюдной улицей. Как тихо в городе. Вот простоял подкованными «вермахтовскими» ботинками спешащий куда-то солдат, вот донеслось привычное урчанье самолета... И вдруг все окрасилось мертвенным зеленоватым светом. Сильный удар, один, другой, третий... Совсем близко... Хлопнули двери, с подоконника упали вазоны с цветами, с жалобным звоном посыпались где-то стекла... Шум мотора замирал в отдалении...

Через несколько минут мы уже знали, что произошло. В этот вечер в Оперном театре шел «Лоэнгрин», конечно, «*Nur fuer Deutsche*». Зал был битком набит серо-зелеными мундирями. В разгар спектакля советский самолет, прорвавшийся за сотни километров с фронта, сбросил бомбы. Они, видимо, предназначались для театра и для Управления Юго-Западных Железных дорог, в котором помещалось и немецкое транспортное управление, но разбили соседний жилой дом и изрыли мостовую вокруг зданий. Одна бомба пробила крышу театра и упала в подвал, не разорвавшись. Говорили, что только одна женщина была убита и несколько человек обожжены.

Киевляне, уже чувствовавшие себя в безопасности в глубоком тылу, снова всполошились, и не без оснований. Через несколько дней над городом снова завыли моторы. Люди, лишенные права выйти из своих жилищ, не имевшие никаких бомбоубежищ, давно засыпанных по приказу немцев, столпились в лестничных клетках, дрожащими руками старались отпереть замки погребов. У нас в доме вообще некуда было прятаться. А страшный фейерверк разгорался всё сильнее и сильнее. Нестерпимо-яркие зеленоватые или огненно-красные лампы, медленно планируя, спускались, казалось, прямо на головы сгрудившихся у выхода во двор людей. А наверху, в темном небе вились незримые самолеты, обсыпая притихший город тоннами стали. Тяжело гудела земля от взрывов, перекрывая грохот, иступленно лаяли зенитки. А бесконечные очереди трассирующих пуль сшивали мелкими огненными стежками разорванное бомбами небо.

Нам казалось, что всё это тянется бесконечно долго. На

самом деле налет продолжался почти три часа. Позже мы переживем более тяжелые налеты, но тогда над нами будет хоть слой земли, хоть доски наскоро сделанных «щелей» или потолок ненадежного погреба...

И в третий раз возвратились «сталинские соколы», чтобы коршунами броситься на тот самый прекрасный, пощаженный врагами город, о котором так задушевно пелось в излюбленной песне летчиков:

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны...

На этот раз жестоко пострадала рабочая окраина с забавным именем «Теличка». Летчики сбрасывали бомбы туда, где, возможно, не у одного из них был

...знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...

**

Уже первое сентября и каштаны желтеют. Дни стоят по осеннему прозрачные, такие, какими могут быть только солнечные дни ранней осени, мягко плывущие под ярко-голубым фарфоровым небом.

Красная Армия уже захватила Смоленск и вышла на юге на линию Днепра. Лавина советских войск неудержимо катится к Киеву и всем ясно, что военное счастье изменило немцам.

Вторая годовщина прихода немцев в Киев, задуманная в свое время как торжество, прошла под знаком отступления и паники. Соответствующие статьи в газетах звучали фальшиво и смешно, а торжественное открытие реставрированного Владимирского собора прошло достаточно уныло. По вечерам небо снова отливало румянцем — на левой стороне Днепра горели десятки сел, безжалостно поджигавшихся отступавшими немцами. Вскоре зарево появилось и недалеко от нас...

Под нашими окнами медленно облетал лимонно-желтый клён, пахло увядющей травой. И вдруг резко потянуло гарью, и даже не просто гарью, а чем-то тошнотворным, разложившимся, жженым. Черные мелкие хлопья сажи, похожие на коштопль от керосиновой лампы, влетали в комнату. Я поспешила захлопнуть окно. Только на следующий день я узнала, что немцы выкопали разложившиеся трупы евреев из Бабьего Яра и, поливая их чем-то горючим, сжигали на огромных кострах.

Вскоре на стенах домов, на заборах забелели огромные

листы с призывом к населению сохранять спокойствие и довериться германскому командованию, которое будет защищать город от наступающих советских полчищ и несомненно добьется полного успеха. Как это напоминало крикливые уверения о том, что «Киев был, есть и будет советским» накануне его сдачи! Вскоре возле огромных листов появились и маленькие, извещавшие, что 25 и 26 сентября, все жители центрального и выходящих к Днепру районов должны покинуть свои жилища и очистить их для войск. Лукьяновка оказалась одним из немногих районов, которые судьба пока еще щадила, туда и устремились тысячи людей, внезапно очутившихся без крова.

К нам прибежала взволнованная Таня, подруга детских лет, с большеглазой худенькой дочкой и сгорбившейся под тяжестью узла с пожитками свекровью. Впрочем, им приходилось тащить немногое — квартира, вещи, книги — всё погибло в огне страшного киевского пожара. Пришла и восьмидесятилетняя Ольга Ивановна с дочерьми, — старые друзья нашей семьи, славившиеся своим гостеприимством и отзывчивостью, уже не в первый раз они оказывались на улице. Всего только несколько месяцев назад их дом понравился немцам и в несколько часов их выбросили из тесной квартирки, обставленной со старомодным уютом, в которой мы так часто бывали... Растерянные, всю жизнь проведшие в труде и заботах, эти три слабых женщины с трогательным упрямством старались спасти хоть осколки разбитого уюта, дорогие вещицы, напоминавшие о родных и близких, рассеянных по свету, как, например, о трех сыновьях-офицерах, ушедших когда-то с Белой Армией.

В те дни только редким счастливцам удавалось достать какие-либо «транспортные средства». Десятки тысяч людей, согнанных с насиженных мест, вынуждены были довольствоваться для перевозки вещей только детскими колясками или наско로 сколоченными тачками и повозками. Соседи снабдили нас такой самодельной повозкой и мы с Алешей начали утомительные рейсы между центром города и нашим Лукьяновским домиком, каждый раз делая около пяти километров пути.

Усталые, измученные как и тысячи других, надрываясь, мы тащим нашу поклажу, не зная, как ненужны все эти усилия. Ровно через месяц у нас не будет не только любимых книг, но и никакого дома.

Срок, данный для переселения, на исходе... Хождение по улицам только до девяти часов... Лавина людей, последний

раз нагрузивших свои жалкие тележки скарбом, катится на Лукьяновку. Нужно спешить, осталось всего 10-15 минут, и немцы-часовые потарабливают окриками. Мне вспоминается поток евреев, два года назад прошедших по этим же улицам... Что-то ждет нас впереди...

Люди почти бегут, толкаясь и спеша. Голова болит от назойливого тарахтенья бесчисленного количества колес. Повозки сталкиваются, наскакивают друг на друга. Вот у кого-то отскочило колесо, вот кто-то перевернул повозку со всем своим нехитрым скарбом. Образуется затор, в темноте нельзя ничего разобрать. Истерически рыдает какая-то женщина, мужчины ругаются охрипшими от усталости голосами. И над всем этим — скрип, тарахтенье и топот тысяч ног. А на утро немецкие солдаты начнут шарить по квартирам и огромные немецкие машины покатятся по шоссе, нагруженные мебелью красного дерева, диванами и трюмо. Опустевшие улицы оцеплены колючей проволокой и жителям под страхом смерти запрещают подходить к покинутому жилью, но серо-зеленые фигуры еще долго будут выносить из домов аккуратно увязанные тюки... Киев никогда не будут защищать с его высоких зеленых склонов. Красные войска скоро займут его почти без боя, и у многих зашевелится горькая мысль, что под предлогом «стратегических соображений» он был просто отдан на разграбление...

В доме у нас тесно, по-походному. Всюду узлы, чемоданы, картонки. Всюду варят, стирают, спят.

Шура, неизменный друг, пришел к нам из пригорода, куда переселился с матерью и братом. Его великолепная библиотека спасена — он один из немногих счастливцев, раздобывших грузовик.

На этот раз Шура, не теряющий спокойствия ни в какие критические минуты, возмущен. В руке у него — старательно переписанная чернилами советская прокламация.

— Подумайте, какие лицемеры, — говорит он, — вы только почитайте, как они сладко поют, что спешат освободить любимых братьев и сестер от ига захватчиков и несут им свободу и счастье. Да только если им удастся появиться здесь, они всех этих братьев и сестер сгноят в Сибири или повесят на первом столбе. И вся эта лживая чепуха подписана не кем-нибудь, а пятьюдесятью виднейшими учеными и артистами Киева, в свое время вывезенными Советами...

А все-таки напрасно носит Шура эту листовку с собой. Я настойчиво прошу его уничтожить ее. Путь его далек, неро-

вен час, как бы чего не случилось. Ведь теперь мужчин часто останавливают на улицах и всех молодых и работоспособных посылают на рытье окопов — совсем так же, как два года назад. Умудренные опытом киевляне знают, что если копают окопы, — значит город будет скоро сдан. Но Шура не верит в это. Он, как и очень многие русские интеллигенты, успел возненавидеть немцев, которых когда-то так страстно ждал, но ненависть к сталинскому режиму у него так глубока, что он упрямо не хочет согласиться с возможностью его возобновления, и всё рассчитывает на какое-то чудо, которое уничтожит сначала «тех», а потом «этих».

Мы идем с ним по узкой каменной дорожке к воротам и я впервые замечаю, как он постарел. Сильно поседели виски и весь он, такой крупный и красивый, как-то обрюзг и потух. Я знаю — всю жизнь он надеялся на эту войну, и вот — война проиграна. Мы прощаемся у ворот. И я не знаю, что он уходит из моей жизни навсегда.

Шура был арестован на следующий же день. Как потом выяснилось, какой-то гестаповец из русских немцев, знавший о существовании его великолепной библиотеки, видимо хотел завладеть ею таким путем, но при обыске у Шуры обнаружили злосчастную листовку, переписанную рукой сестры. Их забрали всех и передали особому военному суду. О судьбе их никому не удалось узнать, но немцы намекнули, что для этих людей сделать уже ничего нельзя...

**

Тревога всё сильнее охватывала Киев. Уже отчетливо долетала орудийная стрельба и стёкла жалобно звенели от ее глухих ударов. По улицам носился автомобиль с пронзительно визжавшей сиреной и радио-приемником, извещавшим, что такого-то и такого-то числа выселяется та или иная улица из еще уцелевших районов. Каждый раз, услышав в отдалении знакомое завывание, я вся холодела от ужаса. А вдруг сегодня объяят и о нашей улице? Ведь маму еще нельзя поднять, она больна, тиф у нее осложнился, у нее воспаление легких, и хотя магический сульфациридин, раздобытый Ваней Матвеевым, блестяще делает свое дело, всё же жизнь мамы под ударом.

На руке у меня белая повязка с напечатанным немецким текстом. Это значит — пока не подлежит выселению, работает на важном предприятии. Собственно говоря, я уже нигде не работаю, контора наша давно выселена, и только на базе,

около самого вокзала, идет лихорадочная отгрузка лекарственных растений в Германию. Иногда я заглядываю на базу, «держу связь» на случай отъезда. Все наши — там. Служащие, выселенные из своих жилищ, перекочевали со своими пожитками в огромные помещения, заваленные мешками с ромашкой, клевером и анисом. Даже на улицу доносится этот прянный и острый запах. Ходят слухи, что нас повезут в Винницу, где тоже есть филиал нашей конторы.

На русском помощнике директора нет лица — только что он ездил с немецким шефом на склад за оставшимся оборудованием и наблюдал страшную картину. Люди, срочно выселяемые с Куреневки, прорвались в соседнюю, ставшую уже запретной, часть города — Подол, в надежде спрятаться там, «пересидеть», избежать погрузки в бесконечные транспорты, в образцовом порядке подававшиеся к вокзалу и отправлявшиеся прямо в Германию. Их всех расстреляли, и трупы женщин, детей, молодых, крепких парней валялись на улице, в пыли, никем не убираемые «для устрашения».

Множество людей, два года назад ждавших немцев, отсживаясь по чердакам и подвалам, чтоб только избежать насилиственного увода (именно увода, а не увоза) из города, теперь со страстной надеждой ждали «своих». Слишком уж досадили всем иноземные пришельцы, и все пороки советской власти стушевывались, забывались, заглушались надеждой, что советы «переменились» — и в Бога теперь веруют, и церкви открывают, и ордена Суворова, Кутузова, даже Александра Невского ввели, и на каждом шагу говорят о «великом русском народе» и «отечественной войне»... А главное это не была власть иностранцев, оравших “Raus!” и сыпавших при всяком удобном случае оплеухи. И люди снова забивались в погреба, по ночам проскальзывали юркими тенями в запертые зоны, прятались среди развалин и ждали, ждали...

Мы тоже ждали, напряженно и безнадежно, того неизбежного момента, когда небольшая серая машина с радио-установкой и пронзительной сиреной промчится и по нашей улице, вещая ставшие такими обычными слова: «Сегодня выселяется такая-то улица. Население, с тем количеством вещей, которое каждый может унести на себе, должно направиться на вокзал и грузиться в ожидающие там поезда».

Впрочем, по нашей улице такой автомобиль не проехал. Вместо этого как-то утром, часов около девяти, к нам поступал рослый офицер полевой жандармерии в сопровождении огромной ищейки и объявил: «До 12 ч. все жители должны по-

кинуть эти дома. Потом мы обыщем их с собаками. Если кто-либо окажется в них, то будет отправлен на вокзал силой». На мой вопрос, что же делать с больной мамой, он вежливо сообщил, что может прислать за ней санитарную машину и что ее и без моей помощи отправят в Германию.

К счастью, критические шесть недель только-только прошли. Болезнь позади, но мама еще очень слаба и теперь, когда мы поднимаем ее с постели и поспешно одеваем, мне больно смотреть на ее осунувшееся лицо, на прозрачные руки. Алеша отправился на базу за транспортом, а я раскрываю шкафы, выдвигаю ящики. Вот там, за хрустальными створками буфета старинный фарфор, изящные безделушки, там книги, картины, ковры — все, с чем нужно расстаться навсегда. Подхожу к роялю, провожу рукой по черной полированной поверхности, по холодным желтоватым клавишам... Всё это — осколки прежней «дореволюционной» жизни, жизни моих родных, которую я почти не помню, но в этих двух комнатах — вся моя жизнь. Здесь я росла, училась, любила. Сюда пришел Алеша, отсюда увела папу... В этом домике мне знаком каждый гвоздь, каждая половица. Я знаю каждое дерево в саду, и знаю каким-то внутренним чутьем, что я ухожу отсюда навсегда, что никогда больше мы не соберемся за нашим круглым столом, под уютным золотистым абажуром. Я внешне спокойна, как всегда в тяжелые минуты, и только где-то там, глубоко, почти физически-ощущимая острую боль...

Чемоданы запакованы, наскоро набиты мешки, связаны тюки... Комнаты сразу стали чужими, неприветными, уже не родными. Во дворе стоит подвода. Медленно свожу маму по ступенькам крыльца. Она останавливается, оборачивается к дому, окидывает всё каким-то вбирающим, прощальным взглядом, сжимает руки. Осторожно усаживаем ее на подводу. Последний стук калитки. Лошади трогают...

Позже, когда орудия будут ухать уже совсем близко, мы с Алешей еще раз проберемся сюда, но это уже не будет домом — во дворе, топча поздние настурции, позвякивая сбруей, лошади полкового обоза будут мерно жевать сено. Сквозь раскрытые настежь двери долетят обрывки немецкой песни, немецкий говор...

**
*

Рано утром перед глазами замелькали пригороды Киева, заводские трубы, купы деревьев в золотом осеннем уборе. День рождался теплый, солнечный, и на фоне бурых полей

весело горели изумрудные пятна молодой озими. Не хотелось верить, что эта поездка в товарном вагоне — не обычная посылка студентов на село для проведения полевых работ, не посещение какого-нибудь подшешного колхоза, а разрыв с прежней жизнью, и может быть безвозвратный...

Не отрываясь, смотрю туда, где уже давно исчез на горизонте милый зеленый город... Поскрипывают вагоны, мерно стучат колеса, проносятся мимо знакомые станции. Позади остался Фастов, только за два дня перед этим искалеченный бомбардировкой. Скоро Казатин. Стараюсь закрыть от мамы страшное зрелище — обуглившиеся остатки состава, пущенного под откос партизанами. Перевернутые вагоны, лежащие колесами вверх, напоминают мне огромных жуков, упавших на спину и в страхе поджавших лапки... Мимо, мимо...

Н. Павлова.

**
**

Мне нынче скромный ужин послан,
Но все ж иллюзия дана:
Весь Новый Год, как в микрокосме,
Как люстра в капельке вина.
Я, как герои Пастернака,
Прилежно чистил апельсин,
Хоть и единственный, однако,
Он свежесть в комнату вносил.
Когда куранты задрожали,
Весь город пробудив от сна,
Смеялась лампа, отражаясь
В бокале белого вина.
Пока смеялся темный город,
Звенел хрусталь и плавал дым,
Я пил с единственным партнером —
С висящим зеркалом моим.
Как видишь, можно веселиться
И одиночество храня —
Ведь ты, подняв бокал в столице,
Едва-ли вспомнила меня.

1-го января 1950 г.

Олег Ильинский

К РУССКО-ПОЛЬСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

(РАЗРЫВ ПСР И ППС НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)

Канун первой мировой войны был для нас ознаменован событием, на которое в нормальные времена, казалось, не было и тени намека: внезапным острым расхождением нашим с польскими социалистами в лице известной Партии Польских Социалистов.

С самого возникновения Партии Социалистов-Революционеров у нее как-то, почти автоматически, установились с ППС самые тесные и, могу сказать, сердечные отношения. Уже в нашем «надполье», в «Русском Богатстве» Н. К. Михайловского, обо всех польских делах и проблемах знакомил русскую читающую публику видный член ППС Людвиг Плохоцкий, писавший под псевдонимом Л. Василевского. Естественно, что он в той же роли перешел и в «подполье», в нашу «Революционную Россию». Далее, мы всегда считали себя непосредственными преемниками и продолжателями «Народной Воли»; а одним из ее замечательных организационных достижений всегда считалось заключение федеративного союза с предшественницей ППС, польской партией «Пролетариат». То было формальное закрепление полной идейной солидарности русского и польского социализма в делах их общей, единой и нераздельной непосредственной революционной войны против самодержавия: — «За вашу и нашу вольность!».

В рядах основоположников и ветеранов нашего движения никаких расхождений по вопросу о взаимоотношениях наших с поляками тоже не возникало. Лично я всегда сознавал и чувствовал себя в этом вопросе политически всецело единодушным с такими людьми, как Петр Лаврович Лавров, «бабушка» Катерина Брецковская, Леонид Шишко, Феликс Волховский и др. Не иначе смотрели на дело и люди поколения, непосредственно предшествовавшего моему: — Михаил Гоц, Осип Ми-

***)** Настоящая статья представляет собой главу из готовящихся к печати воспоминаний В. М. Чернова. Ред.

нор, Григорий Гершуни. Всем нам были чрезвычайно дороги и святы великие традиции всей русской революции, утвердившие польско-русское братство еще со времен «декабристов» и кончая идеяными основоположниками революционного народничества: Некрасовым и Чернышевским внутри России, Герценом и Бакуниным за рубежом.

Я написал все это, чтобы объяснить, почему в рядах ППС господствовало тогда величайшее доверие к нашей партии и высокая оценка ее высоко над межнациональными расприями поднявшейся в сече ловечности. Но именно поэтому, помню, на нас пахнуло чем-то необычным и тревожным от нового выступления Иосифа Пилсудского. Мне уже приходилось описывать встречи с этим властным и энергичным лидером польского социализма. Он всегда производил на меня такое впечатление, что социализм у него был лишь средством, а национализм целью. И оно было только подкреплено прочитанной им в Париже в январе 1914 года в зале Географического Общества лекцией, оставившей сильное впечатление.

Лектор показал себя человеком, знающим чего он хочет, умеющим зорко следить за направлением общего хода событий, не боящимся предвидеть и предрекать ближайший их оборот и с ним сообразовать свою тактику. Пилсудский уверенно предрекал в близком будущем австро-русскую войну из-за Балкан. Не было для него сомнений и в том, что за Австрией будет стоять — да и теперь уже скрыто стоит — Германия. Он высказывал, далее, уверенность, что и Франции нельзя будет, в конце концов, остаться пассивным зрителем конфликта: день, в который Германия вступится открыто за Австрию, будет кануном того дня, когда Франции придется, в силу связующего ее договора, вмешаться на стороне России. Наконец, Британия, полагал он, не сможет оставить на произвол судьбы Францию. Если же соединенных сил Франции и Англии будет недостаточно, они вовлекут рано или поздно в войну на своей стороне и Америку.

Анализируя, далее, военный потенциал всех этих держав, Пилсудскийставил ребром вопрос: как же пойдет и чьей победой кончится война? Ответ его гласил: победа «пойдет с Запада на Восток». Что это значит? Это значит, что Россия будет побита Австрией и Германией, а те, в свою очередь, будут побиты англо-французами (или англо-американо-французами). Восточная Европа потерпит поражение от Европы Центральной, а Центральная, в свою очередь, от Западной. Это и указывает полякам направление их действий...

Помню, что первый целиком усвоил себе и безоговорочно принял эту точку зрения М. А. Натансон. Однако, он долго оставался в этом вопросе одиноким. Ему возражали: ведь тут будет война двух нераздельных коалиций; это не одно и吏е — лишь борьба нескольких держав против нескольких других, а одна, нераздельная борьба — блока против блока. Судьба держав одного лагеря в борьбе против другого будет одинаковой: так гласит закон стратегической и тактической нераздельности. На это Натансон возражал. Во всех этих коалициях и союзах, говорил он, солидарность бывает очень относительной, а «нераздельность» каждого из враждующих лагерей — и вовсе мнимой. Как часто коалиция, победившая в известной войне, оказывалась совсем другой, чем та, которая ее начинала. Как часто в течение войны происходила перетасовка союзников. Как часто, наконец, после победы над врагом разыгрывалась война из-за раздела добычи между бывшими союзниками. И Пилсудский, вероятно, прав: разбитая Россия будет просто выбита, окончательно выйдет из строя. Но это не спасет, в свой черед, и немцев. Дело кончится проигрышем дела и Восточной и Центральной Европы, а выиграет только Западная. Если Польша с нею во время соединится, будет выиграно и ее дело.

Не могу похвалиться проницательностью: меня осаждали тогда самые разнообразные колебания и сомнения. Да, полагал я, гипотеза Пилсудского не исключена. Но ведь если Россия потерпит ряд поражений, полунемецкая дворцовая камариля сумеет примирить Николая с Вильгельмом не черезсур дорогой для первого ценою: они как-нибудь по новому говорятся о Польше, но никаких «освобождений» из этого для поляков не получится: просто германская доля в Польше увеличится за счет русской. Я, увы, никак и представить себе не мог, чтобы Россия была выведена из войны и на время превращена в германского вассала какими-нибудь другими руками, а не руками Дурново и Протопопова, всегда предпочитавших сохранение дружбы с Германией. Того, что произойдет на самом деле, не представлял себе и Натансон, да и никто представить себе не мог: Пилсудский тоже не был исключением. Без этого никем не угаданного оборота событий план Пилсудского оказался бы карточным домиком, мечтой политического комбинаатора, черезсур уж надеющегося всех перехитрить: обычно им удается хорошо перехитрить лишь самих себя. На этот раз, однако, история обманула все предвидения и все расчеты; но обманула так, что Пилсудский вышел на первых

порах несомненным бенефициантом создавшейся конъюнктуры.

В чем должна состоять польская тактика, приспособленная к шествию богини Победы с Запада на Восток, Пилсудский в своей лекции лишь намекал. Мы не особенно старались разгадывать оставленные им загадки: наш ум был занят прежде всего вопросом быть или не быть мировой войне, а затем — что в случае войны делать Социалистическому Интернационалу. В последнем вопросе партия явно могла быть поставлена в тупик, впервые дезориентированная никогда прежде в ней не-бывальми внутренними разногласиями. Но сам Пилсудский, видимо, считал нужным объясняться с нами напрямик и расшифровать всё, о чём в зале Географического Общества говорил обиняком. Ко мне от ППС (тогда это значило — от Пилсудского) явился для совершенно конфиденциальных разговоров старый польский революционер и социалист Иодко (если не ошибаюсь, он кончил жизнь послом Речи Посполитой в Константинополе).

Этот разговор в памяти моей остается, как один из самых значительных, которые мне приходилось вести. Длился он очень долго. Чем далее продвигался он вперед, тем оба мы становились внутренне взъявленными; но именно потому в самых трудных пунктах мы держались величайшей сдержанности. В конце концов, понимали мы друг друга с полуслова, и «агитировать» друг друга не собирались. А что мы встретились друг с другом не для того, чтобы вести переговоры, а объясняться и распрощаться, это, надо думать, Пилсудскому с самого начала было ясно, а для меня выяснилось тотчас, как только его посланник вошел в самое существо дела.

— Против истории итти нельзя, нельзя «прать против рожна», — говорил он, — не менее абсурдно было бы для нас остаться простыми зрителями событий. Это возможно для кого угодно, только не для нас, поляков. Кто в критический, поворотный момент истории не хочет встать ни на одну из борющихся сторон, тот ничего, кроме тумаков, ни откуда не получает. Если наша партия своего выбора не сделает, то поляки Krakova и Poznani будут драться в рядах немецкой армии против поляков Варшавы, Лодзи и Люблина. И мы окажемся, если не виновниками, то попустителями этого ужаса: брат, идущий на брата, без того, чтобы Польская Социалистическая Партия указала им выход из трагического тупика! Нет, наша партия этого не переживет. Мы не можем и не должны дожидаться того момента, когда половина поляков окажется моби-

лизованной в австро-германскую армию, а другая — в русскую, для целей полякам одинаково чуждых. Иного выхода нет. Мы сами должны мобилизовать в с е х поляков, и во имя лишь общей н а ш е й цели: освобождения Польши, всей Польши.

— Это не плохо звучит в теории, но как будет выглядеть на практике?

— Просто и ясно. Если первым, предварительным результатом войны будет поражение России — мы прежде всего должны добиться освобождения русской части Польши, тем более, что она и самая большая и наиболее исконно-польская из трех ее частей. Скажите мне прямо: имеем мы на это право или не имеем?

— Вы имеете право не только на это, но даже и на большее: на воссоединение всех трех частей. Но вопрос не в «праве», а в том, как это право реализовать. Вы же ведь не думаете, что на это вы будете иметь санкцию Германии и Австрии?

— А почему нет? На это будет тем больше шансов, чем успешнее польская военная сила параллельно с германской будет очищать губернии «царства польского» от русской власти и ее сил; и чем большим подспорьем для ликвидации русской власти над Польшей будет нами организованная польская партизанщина, дезорганизующая коммуникации и вообще тыл русских армий.

— В войне нет просто параллельных действий против общего врага, а есть действия союзные.

— Это почти так, и все же не совершенно, не вполне так, — история знает примеры параллелизма действий и без настоящего союза.

— Во-первых, очень плохие примеры, весьма несовершенные, по сравнению с примерами действий формально объединенных. А, во-вторых, простой параллелизм действий еще возможен там, где действующие против одного врага силы имеют каждая свой отдельный фронт и свою отдельную базу. А тут база противо-русской войны может быть только целиком в немецких руках, а это ставит вас в полную зависимость от немцев: не обманывайте же самих себя.

— Пусть так, не спорю, и понимаю, что это — особенность положения, очень для нас неблагоприятная. Но над этим мы не властны.

— Значит, вы будете организовывать польские бригады, инкорпорированные в германскую армию? Вы будете частью силы, враждебной России и ее союзникам?

— Я буду с вами совершенно откровенен — только, разу-

меется, то, что будет мною здесь сказано вам с глазу на глаз, публичному оглашению не подлежит.

— Я вас слушаю.

— Мы уже теперь усиленно подготавляемся на случай все-европейской войны. Да, мы готовы инкорпорироваться в одну из собирающихся действовать на русско-польской территории армий. Только мы предпочитаем германской армии — австрийскую. У нас в Галиции уже идет военная подготовка польских военных кадров...

— Тайна небольшая, — вставил я, — вот только основное участие в этом деле Партии Польских Социалистов — новость и большая, печальная новость. Но она интересна будет не для русского правительства, — ему то что за дело, — а только для нашего Социалистического Интернационала.

— Австрию мы предпочли Германии, — невозмутимо продолжал Иодко, — потому что она слабее и ей будет можно ставить условия.

— А с ее стороны не будет условий — вроде принца из Габсбургской династии на польском престоле или, как наименееющее, ограничение будущего польского государства размерами только русской части Польши?

— Предположим. Однако же, с польской точки зрения независимое государство даже только из одной русской части Польши — все же лучше, чем ничего. Главное для нас — получить какую-либо свою собственную территорию, где будет формироваться самостоятельная польская армия. Не забывайте, что после разгрома царской армии европейский Запад оружия не сложит, и немецкий блок раньше или позже испытает в свою очередь судьбу России. Вот когда наступит время для освобождения и прусской, и австрийской части Польши; а немецкий принц, если такой будет посажен, если жизнь будет ему дорога, будет низложен нами.

— Значит, ваши слова о перемене ориентации на французскую есть заранее предусмотренный и планированный маневр?

— Святая истина, и для Парижа, и для Лондона это не является тайной. Первая фаза войны — мы с немцами против русских. Вторая и заключительная фаза войны — мы с англо-французами против немцев.

С минуту продлилось молчание. Наконец, Иодко снова заговорил:

— Теперь всё сказано. О подробностях и всяких возможных осложнениях будет время говорить и даже подробно дебатировать потом... если окажется, что есть смысл этим за-

няться.. Но прежде всего — основной вопрос. Зная будущую нашу позицию в надвигающейся войне и зная общий наш план вмешательства в ее ход, — сохраните ли вы, сохранит ли ПСР сочувствие нашей освободительной войне, останется ли, в главном и целом, — нашим союзником, соединяющим свою борьбу против царизма с нашей борьбой, или... или нам грозит расхождение?

Видя, что я молча прошелся несколько раз по комнате, Иодко прибавил:

— Я понимаю, что вы вряд ли решитесь, да и вряд ли вправе дать мне ответ без совещания с другими ответственными товарищами... Мы и сами имеем пока в виду лишь дать вам повод и материал для такого совещания. Мы еще не воюем, время у нас есть. Да и военные тучи могут еще рассеяться. Но все же ведь лучше предвидеть всё на худой конец, не правда ли?

Я вскинулся:

— Нужны ли эти оговорки? По совести говоря, они звучат неубедительно. У вас ведь война имеется в виду совсем не «на худой конец», напротив, вы ведь в сущности возвращаетесь к мотивам времен Мицкевича — «Боже, дай нам европейскую войну, которая освободит Польшу». Вот эта-то ваша психология нас с вами теперь и разводит в разные стороны. Будущая мировая война, если она разразится, будет, с нашей точки зрения, катастрофой, от которой стынет кровь в жилах, и не позволяет ставить на нее какие бы то ни было ставки...

— О, с точки зрения общей гуманности, — холодно-вежливым тоном, не без оттенка иронии, вставил Иодко, — поверьте, и мы вполне разделяем ваши чувства.

— Нет, вы их не разделяете, ибо они идут гораздо дальше абстрактной гуманности. Поймите же и вы нас. Война расстроит все наши планы и все расчеты, она перевернет всё вверх ногами, всё предоставит бесконтрольной игре слепых, разнозданных сил. Их последствия никем не могут быть предвидены, их величина заранее измерена извешена быть не может. В послевоенном хаосе может бесследно погибнуть всё, в чем мы видели лучшее из своих завоеваний, в чем была наша гордость. Тот план, который мы вычитывали и вместе боялись вычитать из парижской лекции вашего лидера, будет одной из дерзновеннейших авантюр в истории. Ее успех не вовсе исключен, но если судьба им ее и увенчает, то с дальнейшими неизмеримыми последствиями, которые могут оказаться роковыми...

— Ваше пророчество разделяет судьбу всех пророчеств:

ено туманно. Вы хотите сказать «Крез, перейдя Галис, разрушит большое царство». Но вы забываете, что нам терять нечего.

— Терять можно не одни лишь материальные и юридические ценности, но и моральные. Скажу немного. Будь ГПС не более, как чисто национальная партия...

— Более глубоко национальной, чем наша партия, в Польше нет!

— Я сказал: не более, как национальная, иными словами — чисто националистическая. У такой партии план ваши был бы естественным. Националист способен делать самую азартную ставку на всеобщее пришествие «труса, глада, огня, меча и нашествия иноплеменных», лишь бы была достигнута его национальная цель; он не ставит вопроса, не слишком ли дорогою ценой обойдется она всему человечеству. Его лекарства могут всегда оказаться горше самой болезни. Но партия социалистическая может иметь только такую стратегию и тактику, при которой с ней сможет все время итти в ногу и весь Интернационал.

— До Бога высоко, до Интернационала далеко. Нас сейчас интересует не он, а ваша партия.

— Наша партия? Думаю, что могу уверенно сказать за нее: с болью души нам придется отметить — наш с вами доселе ничем не омраченный союз в борьбе против царизма неизбежно оборвется.

— Как? Вы прекратите борьбу с царизмом?

— Мы ее не прекратим, но воинские части, инкорпорированные в одну из немецких армий, будут всем русским народом встречены, как его враги, а не союзники: ничего другого вы ожидать не можете.

И, на протестующий жест Иодко, я продолжал:

— Понимаю, что вы такими стать не хотите, но объективная логика вещей будет сильнее ваших желаний и субъективных намерений. Величайшее русско-польское отчуждение придет и не думаете ли вы, что из него может родиться в будущем какой-нибудь акт возмездия со стороны России?

— Должен ли я это понять, как угрозу?

— Нет, об угрозе с нашей стороны не может быть и речи. Я говорю не о наше^и России, — когда-то она будет. Говорю о России, податливой к сведению национальных счетов, о России, для которой оправданием противопольских чувств будет то, что она видела вас против себя под знаменем Габсбургов или Гогенцоллернов, для нее это безразлично...

Иодко был, видимо, глубоко взволнован. Надо было кончать. Фразы были излишни. Мы говорили на разных языках.

— Хочу верить, что польский народ когда-нибудь разочаруется в политике дерзновенных международных авантюров, и что его социалистические лидеры захотят вернуться с путей, которые сейчас нас неправильно разделяют, на те пути, которые нас соединяли и сдружили — смею думать, на благо обоих народов. Верьте, что тогда протянутая вами рука встретит нашу братскую руку, без оглядки на прошлое, со взглядом, устремленным не назад, а вперед.

Иодко поднялся с кресла и взялся за шляпу.

— Мне тоже больно было услышать то, что я сейчас от вас услышал. Хотелось верить, что если уж не вся ваша партия в целом, то хоть лично вы, — мы вас считали испытанным другом Польши, — нас поймете и не обидите порицанием. Но нет: русский поляка, должно быть, никогда не поймет. Вы никогда не бывали в положении, подобном нашему. Вам оно так же мало знакомо, как мужчине — муки роженицы. Завтра, может быть, поражения русских армий заставят зашататься царский трон — русские почти всегда выигрывали от царских неудач и проигрывали от царских побед — и вы требуете от нас, чтобы мы пропустили этот момент, чтобы мы упустили случай, бывающий раз в столетие, и не попробовали вернуть себе независимость и свободу? Да, я знаю, знаю, — ответил он на мое протестующее движение, — вы скажете, что мы из огня попадаем в полымя, что кайзерское рабство внешним образом культурнее царского, но внутренне опаснее, подсекая глубочайшие экономические корни нашего бытия. Но, во-первых, мы еще посмотрим — откуда вы взяли, что нам к концу войны не удастся и от кайзерского засилия отделаться, как от царского? А, во-вторых, пусть выйдет по вашему. Но разве нет русской поговорки: хоть горше, да по-иному. Так чувствует себя вся русская часть Польши, и мы одно с ней, мы ее плоть и кровь.

Я заранее решил оставить за Иодко последнее слово и не прерывать его. Но здесь не выдержал и поставил еще один вопрос:

— Если я правильно вас понял, вы принятие вашего «плана кампании» не ставили в зависимость от того, какое он встретит отношение со стороны нашей партии? Мы стоим перед совершившимся фактом, и решение ваше окончательное?

— Да, точно так. Вы не ошиблись. Можно сказать: «жреций брошен».

И пробормотав еще какие-то неловкие и стесненные прощальные слова, мы разошлись... Иодко, во всяком случае, пожелал нашей партии лучших успехов во всех ее начинаниях. Я, по совести, не мог ответить ему тем же и пожелал Партии Польских Социалистов благополучно пережить ждущие ее тяжелые испытания...

Чего-то подобного я уже ожидал и опасался. И все же мне было неизъяснимо грустно...

Виктор Чернов.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Вот узник вышел на дорогу.
Захлопнулась темницы дверь.
Еще он молод, слава Богу!
И полон сил. Куда теперь?

Под сень родительского крова?
В ярмо? Но проклят отчий дом.
Он дал себе в темнице слово:
Ничьим не будет он рабом.

К невесте? К лешему невеста!
Еще позорней страсти плен.
Из одного все бабы теста:
Любовник, юбка до колен.

И он идет и дышет, дышет,
Холодный воздух жадно пьет!
Уж скрылись за холмами крыши
И башня городских ворот.

Над ним звезда стыдливо блещет,
А он — все дальше, не спеша.
И словно в рай попав, трепещет
Освобожденная душа.

Владимир Злобин

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О П. И. ЧАЙКОВСКОМ

У каждого человека есть своя жизненная дата, которая является поворотным пунктом в его жизни. Такой датой для меня было 1-е сентября 1885 года — день моего поступления в Императорское Музыкальное Училище в Харькове. Мне шел 13-й год.

В Училище в большом зале, который служил для устройства ученических концертов, на стенах были развешаны портреты композиторов: Баха, Моцарта, Бетховена, Мендельсона и других, а из русских — М. Глинка и А. Рубинштейн. Тогда еще были живы Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, но имена их еще не были достойны Пантеона Русского Искусства, и я не имел представления, каков Чайковский или Римский-Корсаков, уже тогда автор известной оперы «Снегурочка». Из сочинений Чайковского я знал только *Andante cantabile* из его струнного квартета и несколько фортепьянных пьес. Ни его симфонии, ни увертюры до нас еще не дошли, а из опер в Харькове ставилась только «Мазепа». «Евгений Онегин» в провинцию еще не проник и был мало известен. Только в 1887-88 году, в одном из симфонических концертов исполнялась увертура Чайковского «1812 год».

Помню репетиции этой музыки и впечатления от нее. Она казалась трудной и сложной, как музыкантам, так и дирижеру И. Слатину (он же директор Музыкального Училища). Хорошо помню генеральную репетицию, на которую пришли солдаты-музыканты Тамбовского полка во главе с их капельмейстером Катанским, и зал Дворянского Собрания, где происходили репетиции, наполнился военными звуками «Коль славен» и солдатским запахом сапог и пинелей. Мы, струнные инструменты, казались такими жалкими в массе звуков медных духовых, да еще с колоколами. Дирижер Слатин совершенно не был в состоянии, хоть в малой доле, сбалансировать этот звуковой хаос. Но композитор Чайковский предстал в моем воображении творцом такого океана звуков, что «гениальный» Рубинштейн как-то отошел в тень. Отныне у меня, юноши, и появился интерес к Чайковскому.

Приблизительно в те же годы 1887-88 в Харьков приезжал дать концерт пианист А. И. Зилотти. После своего концерта он через несколько дней играл в зале нашего Музыкального Училища, для учащихся, трио Чайковского. Его партнерами были наши преподаватели скрипки и виолончели. Это сочинение произвело на меня, начинающего музыканта, потрясающее впечатление. Мы, молодежь, обезумели от богатства этой музыки. Отныне Чайковский стал для нас притягательным магнитом. Мы стали искать и наигрывать все вещи Чайковского, какие попадались. Мой друг пианист, мальчик 15 лет, купил ноты этого трио, и мы вдвоем, без скрипача, играли все, что было возможно, воображением дополняя третью партию. К этому времени уже становилась известна опера «Евгений Онегин» и отрывки оттуда исполнялись всюду, в концертах и садах. Военные капельмейстеры стали делать попурри из этой оперы, и популярность ее росла. Так что, когда я осенью 1890 года приехал в Москву для поступления в Консерваторию, Чайковский был мне уже знаком по многим его композициям, а отрывки из «Евгения Онегина» были мною играны уже в оркестрах.

**

Как-то по Консерватории пронесся слух, что пришел Петр Ильич Чайковский. У него, бывшего профессора этой Консерватории, было много старых друзей среди учительского персонала. Александра Ивановна Губерт (урожденная Баталина), Евгений Эдуардович Лангер, Иван Войцехович Гржимали, Николай Дмитриевич Кашкин и др. были его старыми друзьями и, когда он приезжал из своего Клина, где жил и работал, в Москву, то неизменно посещал своих товарищей в Консерватории.

Ученики старших курсов хорошо знали Петра Ильича и всегда выбегали его встречать. Чайковский здоровался с ними за руку, удостаивая многих разговорами и шутками. Этими счастливчиками были: А. Корещенко, С. Рахманинов, Ю. Поплавский, Н. Авверино и др. Мне же, новичку, оставалось только смотреть и жадно ловить каждый жест и взгляд этого обаятельного по внешнему виду человека. В отличие от Рубинштейна внешность Чайковского, такая обыкновенная, и доступная, и вместе с тем такая аристократическая и изящная, притягивала и располагала к себе. Чуткий Чайковский улавливал желания молодежи и иногда наугад жал кому-нибудь руку или что-нибудь говорил. Я любовался им.

**
*

В сезон 1891-92 годов мне выпало счастье дважды играть под его дирижерством. Тогда я уже чувствовал себя не скромным и застенчивым новичком Консерватории. Играл в оркестровом и камерном классах под управлением В. Сафонова, был членом симфонического оркестра Музыкального Общества и уже знал 4-ю симфонию Чайковского, его же «Ромео и Джульетту» и много других крупных сочинений. Перспектива играть с Чайковским наполняла мое юношеское сердце гордостью.

Симфонические репетиции, как и концерты Императорского Русского Музыкального Общества, происходили в большом зале Благородного Собрания. Репетиции обыкновенно назначались в 9 часов утра и оканчивались в 12. Большой Колонный Зал Собрания был темен; освещался только люстрами, обрамлявшими эстраду. Колонны зала в полутемном освещении казались мачтами кораблей, а высокий потолок — темным небом. Фигуры людей, собравшихся на репетицию, казались маленькими и П. И. Чайковский среди них ничем не отличался.

Но вот инспектор оркестра собирает музыкантов на эстраду, все рассаживаются по своим местам и за дирижерским пультом появляется Петр Ильич. Все встали и приветствуют его стуком смычка по инструментам. Чайковский, видимо, тронутый этой овацией, смущенно кланяется и благодарит. Потом он постучал палочкой, и все успокоилось. Начали репетировать увертюру «Гамлет». Музыка этой вещи показалась неровной, нескладно сшитой и разрозненной. И она плохо шла. Чайковский стал выражать нетерпение. В его обращении с музыкантами было столько деликатности и доброты, что каждый старался угодить ему. Но сам автор-дирижёр меньше выполнял напечатанные в нотах обозначения, чем музыканты-исполнители. Сочинение это оставалось неясным и непонятным для музыкантов. Чайковский, видимо, это и сам почувствовал. У меня к этому сочинению осталось равнодушие на всю жизнь.

Мне хочется описать внешность П. И. Чайковского того времени. Несмотря на свои сравнительно не старые годы (он умер 53 лет), Чайковский выглядел тогда уже почти стариком. Среднего роста, совершенно седой, редкие волосы, множество морщин на лице и пожелтевшие зубы; говорил он сипловатым голосом; подкупал Чайковский своими чистыми, ясными, доверчивыми глазами, теплой улыбкой и таким искренним смехом. Он был довольно бодр и строен. От его фигуры

веяло аристократичностью. Приходил он на репетиции всегда аккуратно одетым, застегнутым на все пуговицы и производил впечатление европейца.

Помню одну репетицию, когда музыканты во время антракта собирались в курительной комнате. Пришел и Чайковский выкурить папиросу. Мы, музыканты, обступили его, стали спрашивать, что он сейчас пишет. Чайковский сказал, — что пишет балет по заказу Императорского театра на фантастический сюжет и он будет называться «Шелкунчик»; и добавил: «ужасно весело писать марш оловянных солдатиков, вальс изветов и пр.».

Кроме увертюры «Гамлета», мы работали еще над его новой вещью «Воевода», на сюжет баллады Мицкевича в переводе Пушкина. Пьеса начинается тревожными звуками струнных инструментов, разростающимися и приводящими к большому любовному дуэту. Разучивая эту вещь, Чайковский очень нервничал. Его волнение передавалось музыкантам, и вещь звучала вяло и неуверенно. Пьеса была строго программной, и автор не был свободен в развитии музыкального материала; возможно, что это и раздражало его.

Этот концерт в смысле техническом прошел благополучно. Появление Чайковского на эстраде вызвало такой фурор в публике, чтоapplодисменты продолжались, может быть, десять минут, не давая ему начать. Мало того, начали сыпаться цветы, а с балкона огромные букеты, так что музыкантам надо было беречь свои инструменты, чтобы их не повредили. Наконец, Чайковский дал знак и публика стала успокаиваться. Нам, музыкантам, стало тесно на эстраде от образовавшейся горы цветов.

Я наблюдал за Чайковским во время этой восторженной овации. К своему удивлению, я заметил на его лице какую-то грусть, как будто ему было жаль самого себя. Я долго не мог объяснить себе эту грусть в пылу победы.

**
*

Теперь, после такого огромного отрезка времени, хочется вспомнить, как дирижировал Чайковский. Но тут надо вспомнить, что представлял собою симфонический оркестр Музыкального Общества того времени.

Он состоял из человек 90 музыкантов Императорской оперы Большого театра, профессоров Консерватории и учеников Консерватории старших курсов, тренировавшихся в ор-

кестровом классе под управлением того же В. И. Сафонова, директора и дирижера симфонических концертов. Русское Музыкальное Общество давало всего 10 симфонических концертов в сезон. К каждому концерту устраивались 4 или 5 репетиций. Обыкновенно они происходили по утрам от 9-12. Музыканты Императорской оперы были очень хорошими, опытными артистами. Но они не могли и не хотели отдавать все свои силы симфоническим репетициям, так как их ждала еще большая репетиция в театре, а вечером спектакль. Их оперный дирижер Альтани был очень требовательным и не считался с их физическим состоянием. На этой почве происходили недоразумения и ссоры с симфоническими дирижерами, и Сафонову пришлось много претерпеть от такого положения. Так что говорить о постоянном, сыгранном симфоническом оркестре не приходится.

Симфонического оркестра, как инструмента, на котором можно играть извлекая из него оркестровые красоты, в то время в России еще не существовало и дирижера-виртуоза, купающегося в оркестровых красках и эффектах, тогда еще не знали. Вся работа русских симфонических дирижеров сводилась к простой передаче музыкальных мыслей автора, без особенной заботы о звуковой красочности, балансе отдельных групп инструментов и звуковом равновесии. Проверка точной интонации тоже мало практиковалась. Иногда флейта, а иногда кларнет звучали ниже других инструментов, но это принималось, как неотвратимое зло, вытекавшее из характера инструментов. Динамическая оркестровая звучность того времени была несколько преувеличенной. Музыканты любили играть в оркестре полным звуком, и то, что называлось тогда «тоном», считалось главным условием хорошего оркестрового музыканта.

«Тон» требовался не только от скрипача, виолончелиста и контрабасиста, но и от кларнетиста, флейтиста, трубача и всех других. Не гибкость звука ценилась, а сочность и полнота его. Этот «тон» безусловно был характерной чертой русского музыканта, и когда приезжали иностранные дирижеры, то не мало приходилось им работать, чтобы умерить этот «тон» и сбалансировать звучность.

Помню первый приезд французского дирижера Эдуарда Коллон. Он был совершенно не в состоянии понять особенности русского музыканта и всё требовал уменьшения его экспрессии на половину. Музыканты его не понимали и нервничали. Почти каждая репетиция кончалась скандалом. Так

что француз-дирижёр жаловался своим друзьям: «Вот говорят, что Франция — республика, распущенная страна; а я вот приехал в самодержавную Россию и нашел здесь больше распущенности и анархии. Музыканты не дисциплинированы, не слушаются, на каждое мое замечание отвечают, и я в отчаянии».

Вот, при таком состоянии симфонического оркестрового дела в России и пытались диригировать композиторы Чайковский, Римский-Корсаков, Рубинштейн, Глазунов и др. Нечего и говорить, что хорошего получилось малая крупинка. Почти всегда эти композиторы, если не проваливали свои сочинения, то и не украшали их своим исполнением.

Не составлял исключения и Чайковский. Он волновался и не передавал всех красот своих композиций. Вследствие отсутствия дирижерской техники он, естественно, не мог быть хорошим толкователем собственных сочинений. Но московские музыканты были такими опытными мастерами и так обожали Петра Ильича, что делали всё возможное, чтобы ему помочь.

Из исполненных вещей Чайковского помню, что увертюра «Гамлет» была принята холодно, но баллада «Воевода» имела успех, хотя автор провел ее слабо. Закончился этот концерт «Славянским маршем», который автор провел несколько скорей, чем я привык играть с другими дирижёрами. А в конце этого марша Чайковский не делал напечатанного повторения, отчего вещь только выиграла. Баллада «Воевода» имела успех в публике и музыкантам, игравшим ее, она понравилась. Но она никогда не появлялась в печати, и это вызывало мое недоумение. Уже после смерти Чайковского выяснилось, что он остался ею недоволен и в ту же ночь после концерта уничтожил партитуру. Сыграло роль и убийственное мнение об этой вещи друга и советчика Петра Ильича — С. М. Танеева.

Много лет спустя, А. И. Зилотти нашел оркестровые голоса этого сочинения, восстановил по ним партитуру и издал. Но сочинение это, как и увертюра «Гамлет», редко появляются в концертных программах.

**

Еще раз я играл с Чайковским, когда он впервые поставил свою сюиту «Щелкунчик» из балета того же названия. Играли мы ее по рукописным голосам. Эта сюита так понравилась нам, музыкантам, что репетируя ее, мы каждый раз аплодиро-

вали. Партию «селесты» в оркестре играл В. Сафонов. Этот инструмент тогда впервые демонстрировался в Москве. Чайковский привез его из Парижа и написал для него один из прелестнейших номеров в балете. Хотя в нотах этого номера размер был обозначен в 2/4, но автор дирижировал его на 4/8, и он прекрасно прозвучал. В концерте этот номер был повторен по требованию публики. Китайский танец вызвал веселое настроение, а танец для трех флейт вызвал долгие аплодисменты. Исполнение всей сюиты вызывало какое-то праздничное настроение в зале. На всех лицах было веселье. Игравшие эту сюиту музыканты, тоже казались счастливыми.

Но после концерта, в артистической комнате, я увидел автора, творца счастья, только что пережитого нами, задумчивым и грустным. Мне тогда еще не был известен его жизненный путь и переживания, и я не мог понять его задумчивого и грустного вида после такого триумфа.

**

В Московской Консерватории, при директорстве В. Сафона, каждой весной (обыкновенно в 20-х числах мая) ставился оперный спектакль из учащихся Консерватории. Солисты, хоры и оркестр были консерваторскими. Это был как бы экзамен для всех. Спектакли обыкновенно устраивались в Большом театре. Солисты и хоры разучивали свои партии весь учебный год, а оркестр присоединялся к ним в последние недели. Эти весенние спектакли являлись для нас, участников, настоящим праздником.

Помню оперы, исполненные нами: «Тайный брак» — Чимарозо, «Фиделио» — Бетховена, а весной 1893 года нами разучивалась опера «Cosi fan tutti» Моцарта. Петр Ильич Чайковский, обожавший Моцарта, специально приехал из своего Клина, чтобы послушать эту оперу. Он просидел весь спектакль, заходил за кулисы, заглядывал к нам в оркестр и как бы переживал с нами весь труд.

По обычаю, после каждого такого спектакля в помещении Консерватории устраивалась вечеринка для всех участников. На вечеринку приглашались профессора, и мы дружески общались за бутербродами, напитками, закусками. На этот раз среди нас очутился и милейший Петр Ильич, которого Сафонов пригласил в качестве дорогого гостя.

Чайковский сидел в зале среди профессоров и мы, ученики, подходили к нему чокаться. Он находил для каждого при-

ветливое слово. Той задумчивости, которую я уловил в нем после успешного выступления в концерте, здесь не было. Он был прост, сердечен и, видимо, ничто его не тревожило. Наш весельчак Коля Авьерино, ученик класса скрипки, забавлял его веселыми анекдотами, и П. И. смеялся, как ребенок.

По домам мы разошлись уже когда было совсем светло.

**
*

Помню, по понедельникам утром у нас был квартетный класс. Им заведывал Иван Войцехович Гржимали, профессор скрипки. Полагалось играть квартеты, но профессор предпочитал держать нас на секстетах и октетах, чтобы побольше учеников были заняты одновременно, потому что когда играли квартет, а другим полагалось сидеть и слушать, — неиграющие слушали плохо и все норовили выйти из класса под разными предлогами. На этот раз, 25 октября 1893 года, в квартетном классе мы разучивали недавно вышедший из печати струнный секстет Чайковского, названный «Флорентийским». Чтобы занять побольше играющих, Гржимали заставлял играть одних одну часть, других — другую и т. д. Помню, виолончелист Модест Альтшулер отыграл свою часть и попросился выйти. Но не прошло и пяти минут, как он вбежал в класс и почти закричал: «Иван Войцехович, Чайковский умер!».

Его крик произвел такое впечатление, как если бы он крикнул «консерватория рухнула». Профессор схватился за голову, вскрикнул: «Ax!» и выбежал из класса. Мы, ученики, обомлели. Все вышли в коридор. Там уже было общее смятение. Растряпанные профессора, взъерошенные ученики, плачущие ученицы. Было такое чувство, что каждый потерял что-то свое, родное.

Директор В. Сафонов немедленно пригласил духовенство отслужить по Чайковскому панихиду в помещении Консерватории. О часе панихиды было вывешено объявление. Занятия прекратились сами собою.

Прибыло духовенство. Начались приготовления. Когда всё было готово, Сафонов, серьёзный и сосредоточенный, профессора и учащиеся перешли в зал и приготовились к богослужению. Стало тихо и торжественно. Началась раздача свечей. Взяли их и не православные. При пении «Со святыми упокой» все пали на колени. Этот шум падающих тел, вместе с траурным светом свечей среди бела дня, слышный плач,

склоненные фигуры, всё так на меня действовало, что я едва сдерживался от рыданий.

Вскоре мы узнали, что профессора отправляют депутатию в Петербург, где умер Чайковский. Тоже сделали и ученики.

**

После похорон П. И. Чайковского, которые были грандиозны и величественны, наши депутатии вернулись. Дирекция Музыкального Общества постановила устроить памяти покойного экстренный камерный концерт из его сочинений. Обыкновенно камерные концерты происходили в Малом зале Благородного Собрания, но на этот раз дирекция, учитывая желание широкой публики почтить память композитора, назначила этот концерт в Большом Колонном Зале, где обычно происходили симфонические концерты.

На программе стояли: струнный квартет «ми бемоль ми-нор» с похоронной средней частью и знаменитое трио «ля ми-нор» для фортепьяно, скрипки и виолончели. В квартете участвовал обычный состав квартета Музыкального Общества, а в трио С. И. Танеев (пиано), И. В. Гржимали (скрипка) и А. А. Брандуков (виолончель). Последний, хотя не состоявший в профессорском составе Консерватории, был любимцем Чайковского и известен был, как талантливый виолончелист, окончивший Московскую Консерваторию во времена профессуры Чайковского. Молодой, талантливый, красивый, он был идолом москвичей. Произведенное на меня впечатление от этого трио, написанного, как известно, на смерть Ник. Рубинштейна, бывшего большим другом и поклонником Чайковского, было таким огромным и драматическим, что после почти шестидесяти лет оно не может изгладиться.

Последняя часть этого трио с знаменитым унисоном, где все три инструмента поднимаются до великого пафоса, постепенно падающего и оканчивающегося тихим звоном в фортепьянной партии, заставила публику пережить момент, какой переживается, когда бросают последнюю горсть земли в могилу дорогого человека.

В зале было тихо. Аплодировали ли? Не помню. Вероятно, нет. Но что было много заплаканных лиц женских, мужских, старых и молодых, — это я хорошо помню.

Мы, товарищи, не могли разойтись. Долго еще ночью мы бродили по улицам Москвы, вспоминая Петра Ильича.

**

В следующем очередном симфоническом концерте Русского Музыкального Общества, под управлением В. Сафонова, была поставлена последняя симфония Чайковского, № 6, впоследствии известная под названием «Патетической». Мы играли по манускрипту и на нотах еще не было этого названия.

Эта симфония произвела и на нас и на публику потрясающее впечатление. Дирижер Сафонов передал ее в таких трагических тонах и с такой психологической правдой, что симфония явилась полным выражением души композитора. Раскрыта полностью перед публикой, эта душа стала близкой каждому.

Забыт Рубинштейн, перед которым молодой Чайковский трепетал и ждал одобрения своей деятельности, но не забыт Чайковский, который занял почетное место во всемирном Пантеоне Искусства, наравне с Бетховеном, Брамсом, Вагнером и другими.

Мих. Букиник

ПЕРЕВОЛЛОЩЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА

I

Москва и Петербург в их историческом виде представили собою два различных периода в развитии русской культуры. Москва, с ее Кремлем и Китай-Городом, — преемница Византии и наследница империи Чингис-Хана, столица Евразии, обращенная взорами к Востоку. «Блистательный Санкт-Петербург», детище Петра, — величественная европейская столица, обращенная лицом к Западу.

Москва возникла и росла вместе с Россией и ее распространением на север и восток. Русские люди, уходившие из степной полосы, подверженной постоянным набегам кочевых племен, принесли с собой в гущу девственных лесов, в междуречья Оки и Волги, православную веру и культурное наследие Византии. Традиции высокой киевской культуры предохраняли их от поглощения татарциною, и, благодаря своему выгодному положению, Москва стала преемницей Киева и средоточием национального сознания и национального единства.

В борьбе за существование Москва выработала свою собственную государственность, частью византийского, частью восточного образца, с налетом деспотизма. Объединив Русь и окрепнув, Москва приняла, как должное, идею Третьего Рима. Как некогда в Риме классическом и Риме византийском, Москва покровительствовала развитию культурного творчества. Московская Русь создала стариные русские храмы, с древнею иконописью высокого мастерства, воздвигла кремлевские стены с башнями восточного стиля, выработала своеобразную архитектуру дворцов и теремов. Пышные боярские наряды и художественная утварь московского периода остались национальными нарядами и украшениями.

Почти во всех странах со ставинной культурой, столицы росли и развивались вместе с историей страны. Рим, «вечный город», вмещает в себе памятники трех исторических эпох; Париж вырос вокруг небольшого острова на реке Сене, где

до сих пор стоят памятники средневековой Франции. В Лондоне Тауэр и Вестминстерское аббатство напоминают об историческом прошлом страны и столицы. В России и Японии, в двух странах, где восприятие новой культуры произошло почти внезапно, есть по две столицы: Киото и Токио, Москва и Петербург. В то время как Москва разрасталась без определенного плана и Кремль оброс улицами и переулками, как паутиной, Петербург возник по приказу. Он создан был искусственно, по вдохновению великого преобразователя, начертавшего план с радиусами проспектов, расходящихся от центра, и правильными линиями на острове.

Ф. Степун хорошо охарактеризовал новую столицу в ее исторической перспективе:

«Петр Великий, этот революционер и западник, пробивший, по выражению Пушкина, окно в Европу, создал свой Петров Град на фоне русского ландшафта. Петроград, торжественно мрачный и великолепный, мало похож, конечно, на Москву и Киев, с их лишенными формы очертаниями, с их старинными церквами и дворцами. Москва и Киев выросли из русской традиции. Петроград не вырос сам собой, он был создан импровизацией. И всё-же Петроград не только столь-же русский, как Москва и Киев, но в некоторых отношениях, быть может, и более русский, чем обе прежние столицы. Анти-французский город во Франции, анти-итальянский в Италии, анти-британский в Англии не мог бы стать столицею. Только в России стало возможным невозможное — анти-русский город Петроград был объявлен столицею и этим было положено начало самому блестящему и значительному периоду в истории развития русского духа. Пушкин, Гоголь, Достоевский неотделимы от Петрограда»*.

«С основания Петербурга, писал Герцен, Москва сделалась второстепенной, потеряла для России свой прежний смысл и прозябала в ничтожестве и пустоте до 1812 г.»**

Развенчание Москвы и перенос столицы в Петербург, город, у которого, как говорил тот-же Герцен, не было «веками освященных воспоминаний — сердечной связи со страною», создало раздвоение. Петербург наполнился иностранцами. Петербург стал рассадником новой культуры, почти насильственно разрушающей прежний быт и образ мыслей. Это не

* F. Stepun — *Russian Soul and Revolution*, p. 59-60.

** А. Герцен, «Москва и Петербург». Собрание сочинений. Изд. Маркса.

могло не вызвать злобной настороженности, и сторонники насилиственно сломанного быта зловеще предрекли: «Петербургу быть пусту». Эти слова прозвучали, как проклятие.

II

Нашествие Наполеона вернуло Москве ее национальное значение. Со времени московского пожара в 1812 г. Москва стала вновь сердцем России. Но развоение, которое создано было во времена Петра, не устранилось. Оно продолжало находить свое отражение в различном отношении к Москве и Петербургу, как символам старой и новой России.

Описание Москвы в литературе всегда полно тепла. Поэты посвятили Москве много сердечных строк. Как во многих других случаях, Пушкин сумел лучше других выразить чувства любви к Москве:

«Ах, братцы! Как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полуокруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе!
Москва!... Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось.
Как много в нем отзывалось!»

Автор исторических романов Загоскин так охарактеризовал чувства человека, отдыхающего в Кремле:

«Если вы хотите провести несколько минут истинно блаженных, если хотите испытать тот неизъяснимо сладостный покой души, который выше всех земных наслаждений, ступайте в ясную лунную ночь нашим Кремлем, сядьте на одну из скамеек тротуара, забудьте на несколько минут и шумный свет с его безумием и все ваши мирские заботы и дела и дайте хоть раз вздохнуть свободно душе вашей, измученной и усталой от всех мирских забот».

Чувства, о которых говорит Загоскин, понятны тем, кто бывал в лунную ночь в Колизее, или сидел на крыше дома Аппия среди развалин Помпеи, или стоял на мраморной площадке Храма Неба в Пекине и чувствовал себя как бы ушедшими из современного мира и на миг ставшим частицею нации

или даже человечества, живущего в веках и передающего традиции и творения духа из поколения в поколение. Подобная связь с прошлым поддерживается в русских людях святынями московского Кремля.

«Мы — москвичи. Что делать, милый друг!
Кинь нас судьба на север иль на юг, —
У нас везде, со всей своею славой,
В душе — Москва и Кремль золотоглавый;
В нас заповедь великая жива,
И вера в нас досель не извелася,
На коих древле создалася Москва,
И через нее — Россия создалася».

Эти слова Майкова применимы ко всем русским. Все мы потенциальные москвичи. Нам нравится и широкая натура того московского купца, которого изображали в своих произведениях русские писатели, и пышная, румяная кустодиевская купчиха, и московский быт, с любовью описанный Шмелевым, и ее интеллектуальная жизнь, о которой говорит Б. Зайцев в своей «Москве». Старые и новые писатели одинаково любили Москву.

Каково же отношение русских писателей к Петербургу, тех писателей, для которых он был родным? Не будем говорить о Пушкине. Его ясновидящий ум прозревал и прошлое и будущее. Он любил творение Петра и чувствовал величие столицы, «пышно и горделиво» поднявшейся «из тьмы лесов и топи блат», у реки, течение которой казалось ему «державным». Но не таково отношение к петрову граду других писателей.

Герцен сравнивал Петербург в 1842 г. с Москвою и находил, что «оригинального, самобытного в Петербурге нет ничего, — не так как в Москве, где всё оригинально от нелепой архитектуры Василия Блаженного до вкуса калачей».

Петербург непривлекателен в изображении Герцена:

«Небо Петербурга вечно серо; солнце, светящее на добрых и злых, не светит на один Петербург; болотистая почва испаряет вла-гу; сырой вегер приморский свищет по улицам»... «Взгляните... в хороший день на Петербург. Торопливо бегут несчастные жители из своих нор и бросаются в экипажи, скачут на дачи, острова; они упиваются зеленью и солнцем... по привычке заботы не оставляют их; они знают, что через час пойдет дождь, что завтра, труженики канцелярий, поденщики бюрократии, они утром должны быть по местам. Человек, дрожащий от стужи и сырости, человек, живущий

в вечном тумане и инее, иначе смотрит на мир: это доказывает правительство, сосредоточенное в этом инее и принявшее от него свой неприязненный и угрюмый характер».

В 1836 г., Гоголь писал в своих «Петербургских Записках», что «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия». Непривлекательно описан Гоголем Петербург в повести об Акакии Акакиевиче.

Л. Н. Толстой, как справедливо отметил Д. Мережковский, забыл о Петербурге, обходил его. Достоевский же, наоборот, по преимуществу художник Петербурга. «Петербург, этот противоестественный, умыщленный город бесплотных, бескровных людей, призраков с плотью и кровью — по преимуществу город Достоевского»*.

В «Преступлении и Наказании» Достоевский описывает, как Раскольников вскоре после убийства остановился на Николаевском мосту и залюбовалася:

«Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. **Необъяснимым** холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом **немым** и **глухим** полна была для него эта пышная картина».

Великолепная панорама Петербурга не внушает Достоевскому восторженности, он редко возвращается к ней. Он описывает Петербург со стороны его окраин и пригородов. Он видит пыль, кирпич, известку, вдыхает вонь трактиров и грязных лестниц. Его Петербург — город «бедных людей», Девушкиных и Мармеладовых. Но самое главное, что Петербург для него какое-то преходящее видение, нечто в роде фантасмагории, которая исчезнет как сон. Он явно верит в то, что «Петербургу быть пусту», что значение Петербурга не прочное.

Мережковский подобрал ряд цитат, ясно выражающих это отношение Достоевского к Петербургу. Вот, например, описание петербургского утра:

«Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю, почему, но раннее, деловое, петербургское утро, не-

* Д. Мережковский, «Л. Толстой и Достоевский». СПБ. 1909 год, стр. 272.

смотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное... Мимоходом, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, чуть ли не самым фантастическим в мире... В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германа из «Пиковой Дамы» (колossalное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода), мне кажется, должна еще больше укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая грёза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху — не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко-дышащем загнанном коне. — Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, всё это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного. Кто-нибудь вдруг проснется, кому всё это грезится — и всё вдруг исчезнет».

Предсказания Достоевского повторяет в своем романе «Петербург» и Андрей Белый:

«Петербург, Петербург. Осаждаясь туманом, меня ты пресловал мозговою игрою. Мучитель жестокосердый. И — не покойный призрак: года на меня нападал...»

«Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь испыт не опустит: прыжок над историей — будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич. Петербург же опустится».

«Близится великое время; ...всех годов будет значительней 1954-ый год. Это — России коснется...» — «А что будет?» — «Перво-на-перво убийства; апосля — всеопочее недовольство; апосля же болезни всякие — мор, голод; ну там, говорят умнейшие люди — волнения: китаец встанет на себя самого; мухаммедане взовнутся...»

«Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень». «За Петербургом нет ничего».

«Невский проспект прямолинеен... Если... Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует».

Петербург — «непокойный призрак», это повторение Достоевского. Петербург — искусственная столица и «если Петербург не столица, то — нет Петербурга» — мысль, находившая многих сторонников. Даже Менделеев в своей книге «К познанию России» обсуждал вопрос, где быть будущей столице.

III

Чем же, главным образом, отталкивал от себя Петербург? Прежде всего бюрократизмом. Это город людей «беспрерывно пишущих», где «все до такой степени заняты, что даже не живут», «где вечный стук суеты существует» (Герцен).

В Москве — «русский дух, там Русью пахнет», говорили русские писатели середины XIX-го века.

В Петербурге — новый, нерусский, скорее немецкий, дух.

«В Петербурге можно прожить года два, не догадываясь, какой религии он держится. В Москве на другой день приезда вы узнаете и услышите православие и его медный голос. В Москве множество людей ходят каждое воскресенье и праздничный день к обедне... в Петербурге... к обедне ходят одни немцы в кирку, да приезжие крестьяне». (Герцен).

Карьера, нажива, ордена, чинопочитание, бюрократизм во всех его видах — холодный, равнодушный к людям, мертвящий, чуждый жизни — вот что главным образом приписывается Петербургу писателями. Бумагописание, а не работа, так характеризует петербургскую машину и Андрей Белый:

«Аполлон Аполлонович посмотрел вдруг в дверь: письменные столы! Кучи дел! И — склоненные головы. Какое кипучее и могучее бумажное производство!»

«...старик дышит явственным совокуплением крючков; и дыхание облетает пространство России... свистом гуляет в пространствах — самарских, саратовских...»

«Аполлон Аполлонович из Санкт-Петербурга порой разразится бумажною канониадою».

«Аполлон Аполлонович не бог Аполлон: он чиновник».

Справедлива ли подобная характеристика? Несомненно, что Петербург создал бюрократию и что чиновный дух царил в невской столице. Многие из профессоров и академиков совмещали в С.-Петербурге академическую работу с различными должностями, в зависимости от их ученых рангов, либо в ми-

нистерских канцеляриях, либо в Государственной Канцелярии, Сенате и на высоких постах директоров отдельных учреждений. В Москве ученые коллегии состояли из более независимых людей.

В С.-Петербурге бюрократизировалась и церковная иерархия. Близость к двору и наличие поднадзорного Синода делало С.-Петербург центром церковного администрирования в чиновниччьем смысле. В Москве, казалось, сильнее был дух православия и меньше чувствовалось, что православная церковь — государственная церковь.

Даже искусство в С.-Петербурге было бюрократизировано. Театры были, по преимуществу, казенные, императорские и, хотя это не мешало им быть прекрасными театрами, всё-же казенное управление давало себя знать. Москва же создала знаменитый Московский Художественный театр...

Петербург управлял, в Москве же сильнее бился пульс живой жизни. Крупная промышленность сосредоточилась в московском районе и центром деловой и финансовой моши страны была Москва. Чиновный Петербург должен был искать поддержки у делового московского мира. Но в руках петербургских банков находилось распоряжение кредитами, а в руках петербургской биржи повышение и понижение ценности.

Несомненно, всё, что писалось о Петербурге в половине XIX-го века, как о холодном, бездушном чиновничьем городе, было, хоть и односторонне, но, в значительной степени, справедливо. И было всегда понятно предпочтение, которое оказывалось Москве, в большей степени свободной от бюрократизма, а главное исконно русской и родной «Матери Москве». Но Петербург надо оценивать в исторической перспективе.

В середине XIX-го века Петербург был еще подлинно бюрократическим центром, но чем дальше, тем больше он сближался со всей страной. Петербург стал школою государственности. Из Петербурга выходили образцовые администраторы. Петербург стал центром умственной жизни и политической мысли, руководившейся известными толстыми журналами. Можно сказать, что Петербург задавал тон русской культурной жизни. Характерно, что Москва выпестовала славянофильство с его отжившими свой век идеями патриархального царя, возглавляющего Землю или земщину, в то время как в Петербурге уже раньше обсуждались конституционные реформы. В Москве господствовала идеалистическая философия, а в Пе-

тербурге имел больше успеха позитивизм. Всё это характерно для столицы, занятой деловой жизнью и насущными вопросами дня.

К концу петербургского периода русской истории, с Петербургом произошли существенные перемены. Петербург предреволюционного периода уже не заслуживал характеристики, которую ему давали писатели середины XIX в. Он уже не был инородным телом в стране. В 1903 году Россия праздновала двухсотлетие Петербурга, как столицы, имя и значение которой вошло в русскую историю, как имя, связанное с выдающимися культурными и политическими успехами. Петербургская Россия превратилась из Московского царства в могущественную империю, с крупными культурными заслугами.

Начиная с Пушкина в литературе и Глинки в музыке, уже в XIX в. произошло слияние русского народного языка и творчества с литературным языком и музыкой русских композиторов. К концу XIX и в начале XX в. русская культура уже вполне сложилась, как своеобразная культура, принадлежащая всему народу. В начале XX в., особенно при существовании Государственной Думы, С.-Петербург был уже связан живыми нитями со всей страной. Бумажное производство петербургских канцелярий не было безжизненным, оно было связано с землеустройством, переселением, агрономической помощью, постройкой оросительных каналов, изысканиями, развитием путей сообщения, торговли и промышленности.

Не всё, конечно, что делало русскую материальную и общественную культуру отставшую по сравнению с Западом, было изжито, но почти всё изживалось. Три отрицательных особенности отличали русскую культуру в течение XIX века. Первая — равнодушие, если не пренебрежительное отношение к предпринимательству, недостаточное понимание экономики и отсутствие деловых навыков у русского дворянства; вторая — недостаточный, по сравнению с нуждами страны, уровень технических знаний, и третья — наиболее укоренившаяся, с наибольшим трудом изживавшаяся, — несоответствие пережитков патриархального строя новым условиям жизни, требовавшим утверждения правового строя, большей свободы самодеятельности населения и подконтрольности власти.

Но всё это постепенно изживалось. В XX в. даже среди высшей знати были люди, успешно осуществлявшие разного рода предприятия. Развитие русской экономической жизни в царствование императора Николая II происходило со сказочной быстротой. В сфере чистой науки и прикладных знаний Россия

уже к концу XIX в. сравнялась с европейскими странами, если не в количественном, то в качественном отношении. И только в отношении правовых проблем оставалось еще многое сделать. Старый строй сопротивлялся необходимым реформам и погубил и себя и страну.

Как бы то ни было, но ко времени первой мировой войны город Петра уже оправдал инициативу своего создателя. Петербург уже не был городом культурно чуждым России.

К этому времени изменился и облик Москвы. На смену патриархальному купечеству пришло новое поколение, создавшее и новый быт. Славянофильские идиллии патриархального государства уступили место конституционным программам. Осталась широта размаха, меценатства и гостеприимства, но всё это модернизировалось и не всё уже в Москве было так оригинально и самобытно, как в свое время казалось Герцену. Москва оставалась Москвою, но у нее уже было много общего в укладе жизни с Петербургом, городом, которого уже нельзя было противопоставлять России.

IV.

С 1918 г. столица вновь переносится в Москву. С 1923 г. она становится столицею Советского Союза, а не России. Подобно тому, как Москва стала второстепенным городом после того, как Петр основал новую столицу, так Петроград, переименованный в Ленинград, стал просто одним из самых крупных промышленных городов страны, сохранившим прежнее великолепие Петербурга.

Андрэ Жид, посетивший Советский Союз в 1936 г., пишет о Ленинграде: «Я мало видел новых построек. То, чем я восхищаюсь в Ленинграде, это Санкт-Петербург. Я не знаю более прекрасного города, более гармонического сочетания камня, металла и воды»*.

Всё внимание советского правительства сосредоточено на Москве. Она расширяется, перестраивается и украшается. Река Москва, как раньше Нева в Петербурге, одета в гранит. Через р. Москву переброшено двенадцать новых мостов. Многие части города стали неузнаваемы. На месте деревянных лавок Охотного ряда выросли монументальные здания Совета Ми-

* André Gide — Retour de L'U.R.S.S. Paris, 1936.

нистров и гостиница «Москва». Тверская улица стала «Улицею Горького» и превратилась в широкий проспект, шире Невского. Мрамор снесенного храма Христа Спасителя использован для украшения станций подземной дороги.

В Москве свыше двадцати театров, шестидесяти музеев и двадцати постоянных выставок. В Москву переведена Академия Наук и основана Академия Художеств СССР. На Воробьевых, теперь именуемых Ленинскими, горах сооружается, по сообщению советских газет, «величественное здание Московского Государственного Университета». Главное здание в двадцать шесть этажей. К нему примкнуты два восемнадцатиэтажных корпуса на шесть тысяч комнат. Университет, по примеру американских, будет обладать обширным «кампусом» площадью около 400 акров, на котором будут разбиты скверы и разбросаны служебные здания и лаборатории.

Подобно тому, как Петр Великий, создавая Петербург, строил его за счет всей страны, не считаясь с человеческими жертвами, так теперь, в XX в., советское правительство отстраивает свою столицу с таким расчетом, чтоб она «превзошла все другие» и делает это за счет голодной страны. По случаю восьмисотлетия Москвы, ей посыпали с разных концов страны подарки, вагоны с продовольствием, как раньше богатому барину посыпались в Москву возы разных припасов из его поместий.

Москва растет и украшается. Ленинград глохнет.

Бывший С.-Петербург, сверху вниз смотревший на провинцию, сравнялся теперь с другими городами, а Москва стала новым Петербургом и перед нею склонилась страна. Москва потеряла свои традиции, в нее вселился новый дух и, странным образом, она приобрела все те черты, которые так отталкивали раньше русских людей от казенной, чиновной столицы. Не сказал ли бы теперь Гоголь, что не Москва нужна России, а Москве нужна Россия? Не характеризовал ли бы Достоевский советскую Москву, как «город призраков», город, где все кидаются и мечутся?

Нет оснований возражать против восстановления Москвы как столицы. Это положение принадлежит ей по праву первородства, по ее местонахождению и по ее историческому значению. Никто не может возражать против ее расширения и украшения, но кто мог ожидать, что Петербург XVIII и отчасти XIX в., тот Петербург, которого боялась и не любила Россия, «фантастический город» Достоевского, вселится в Москву?

Произошло странное перевоплощение Петербурга. Нет теперь более бюрократического города, чем советская столица. В ней нашел бы теперь Герцен тех людей, которых не оставляют заботы, «тружеников канцелярий, поденщиков, бюрократии», и к Москве можно применить с некоторым изменением слова Андрея Белого: Москва это бесконечность канцелярий, возведенных в энную степень. В канцеляриях советских министерств сидят люди, погруженные в бумагу и цифры, осуществляющие грандиозные предприятия, но не считающиеся с людьми и равнодушно относящиеся к их лишениям и страданиям. В Москве теперь всё казенное: наука, театр, искусство. Ученые одновременно чиновники; артисты, музыканты, поэты существуют только милостью власти.

Нет уже в Москве прежних 340 церквей и православный дух не царит в городе; из университета изгнан идеализм; из русских домов хлебосольство. Как раньше Петербург, Москва стала не совсем русским городом. Она не только русская столица, но и столица Советского Союза, столица интернационала.

«Трудно схватить общее выражение Петербурга, писал Гоголь. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения...» Не похоже ли это на современную Москву, если только принять во внимание другой социальный и этнографический состав не-русской части населения Москвы?

«Балет и опера — царь и царица петербургского театра», продолжал дальше Гоголь, с разочарованием отмечая, что ни величавая трагедия, пробуждающая высокие переживания, ни комедия, производящая смех глубиною своей иронии и дающая верную картину общественной жизни, не находят себе места на сцене. Не то же ли теперь в московских театрах, с тех пор, как в советском мире господствует т. н. «социалистический реализм», допускающий только славословие по адресу существующего режима и только критику того, что враждебно власти или принадлежит внесоветскому миру.

Не мечтает ли каждый обитатель Москвы, как Гоголь, «о далекой дороге под другие небеса... в страны нового и свежего воздуха...»?

Советская революция прервала успешное развитие Петербурга по линии, отвечавшей прогрессивным планам Петра. Не Петроград XX в., близкий к осуществлению правового

строя и идеи гражданства, а Петербург худших его времен певревоплотился в современную Москву.

Но не будем малодушны, не будем терять веры в будущее. Чего только не пережила Русь и Москва.

«И под пеплом ты лежала
Полоненная
И из пепла ты восстала
Ненизменно» (С. Глинка).

Москва — символ жизнеспособности русской нации. Может быть, Достоевский, если бы он был жив, сказал бы теперь о Москве то, что он говорил о Петербурге: может быть, это только призрак, может быть, однажды мы проснемся и всё вдруг исчезнет, как дурной сон.

Г. ГИНС

**
*

Это только кажется отсюда —
Это небо, эта синева,
Облаков рассыпанная груда,
Тенью их примятая трава...

Ничего на самом деле нету!
И когда отсюда ты уйдешь —
Ты прочтешь совсем иначе эту
На земле приснившуюся ложь.

Это всё глаза твои налгали,
Это всё придумали они
Все эти пространства, глуби, дали,
Все эти сияния и огни.

И когда их у тебя не станет,
То очнешься ты, и слеп и нем,
На огромном кладбище названий,
Тех, что больше не нужны совсем.

Д. Кленовский

КУЛЬТУРА И ЭМИГРАЦИЯ

В старые годы, среди студенчества, в ходу были так называемые землячества, объединявшие выходцев из того или иного края — сибиряков, малороссов, кавказцев. На вечеринках, устраиваемых такими землячествами, ели пельмени, галушки, шашлык, танцевали гопак и лезгинку, пели «Алла Верды» и «Реве та стогне Дніпр широкий». Вечера эти известны нам по литературе и по воспоминаниям стариков, но кто хочет представить их воочию, должен побывать ныне на национальных праздниках малых народностей в эмиграции.

Но нашим русским «Дням Культуры» меньше всего пришло походить на земляческие вечеринки. Есть у нас и народная песня, которая не уступит никакой другой, и в народных танцах недостатка нет, но не этим вкладом в мировую сокровищницу ценностей определяется роль России. Ее заслуга в том, что почти во всех областях творчества — в науке, искусстве, политике, в военном деле — выдвинуты имена и деяния мирового значения. Наша культура не местная, а всемирная. Вот почему нам не след уходить в этнографию, рядиться в сарафаны, косоворотки и распространять запах блинов и пельменей. Оставаясь национальными, мы больше всего должны ценить и развивать в себе мировые общечеловеческие устремления, завещанные нам Петром Великим, Ломоносовым, Пушкиным и всеми творцами и поборниками нашего культурного величия. Об этом особенно важно помнить сейчас, когда в советской России и здесь в эмиграции так много делается, чтобы опорочить этот наш путь развития, вырвать нас из среды культурных народов, а то и вовсе вернуть к допетровским устоям. Гонением на всякое «низкопоклонство перед гнилым Западом» большевики творят свое очередное варварство, воздвигая стену вражды и отчужденности между западной культурой и нашей. Преследуя утопический замысел культурной автаркии, они ведут Россию к провинциализму, к

*) Речь произнесенная в День Русской Культуры в Казабланке 5 августа 1951 г.

изоляции, к самодовольной ограниченности, к пельменям, к землячеству.

В эмиграции им усердно помогают славянофильствующие элементы. Эти тоже не могут примириться с тесной связью нашей культуры с западной, им постоянно мерещатся какие-то особенные мистические устои русской жизни, они упорно толкают нас на Восток и в глубь веков, в Московскую Русь. Россию им хотелось бы видеть не европейской страной, а чем-то вроде православной Индии. Такими настроениями начинают проникаться крупные политические организации. Порой это выливается в настоящий обскурантизм. Повторенное Шпенглером противопоставление понятий культуры и цивилизации преломляется в обывательском мозгу в чудовищную хулу на технику, в поношение великих научных открытий. Я сам знаю нескольких дам, полагающих, что всё зло пошло от небоскребов и от автобусов. Эти дамы, конечно, не допустят в России ничего подобного. Как можно расстаться с соломенными крышами наших деревень, если их, по Тютчеву, сам «Царь Небесный исходил благословляя»?

В день русской культуры эта тенденция должна быть осуждена, как *не русская*. Это не случайность, что ни славянофильство, ни новое его издание — евразийство, не были приняты русской жизнью и русским сознанием. В них чуяли недоброе, не свое, хотя они и рядились в национальные одеяния. Давно установлено, что как раннее славянофильство эпохи Хомякова и бр. Киреевых, так и позднее — Данилевского и Конст. Леонтьева — источником своим имело ту же иноземную, западно-европейскую мысль. Первые ведут свое начало от философии Шеллинга и от политических взглядов Де-Местра, а вторые, особенно Данилевский с его знаменитой книгой «Россия и Европа», — от Риккerta. Евразийство, несомненно, вдохновлено было книгами Кайзерлинга и Освальда Шпенглера. Ныне к ним присоединяется еще «Душа Востока» Шубарта, пользующаяся большим успехом в некоторых кругах эмиграции. Стремясь уйти от «гнилого Запада», сочиняя какую-то специфическую природу нашей культуры, славянофильская струя идет, на самом деле, в том же западно-европейском, преимущественно немецком русле. Наше самобытчество подсказано нам со стороны, мы учимся ему у немцев. И это далеко не лучшее, что мы у них берем. Это бред головы, закрутившейся от ужаса перед разверзающейся бездной. Это то же, что и идеализация Тацитом древних германцев. Шубартам и Кайзерлингам хочется видеть в нас то благословенное варварство,

от которого они ждут своего собственного обновления. Культуру нашу они отрицают. Слава Богу, что вы некультурны, — говорят они, — именно поэтому вам предстоит великая миссия. И мы в восторге. Нам сказано, что мы сильны не разумом, которого де у нас маловато, а чувством, «душой», интуицией, верой. И это нас повергает в еще болыпий восторг. Мы уже не мало потрудились, превознося Московскую Русь над петровской империей, отсталость над прогрессом, малограмотность над просвещением. По словам Г. П. Федотова, «наше забвение прошлого, утрата русской традиции так велики, что найдется не мало людей, которые именно безумие считают национальной традицией России, предоставляя презрительно разум в удел мещанскому Западу». Русское нутро таких пророков всегда вызывало подозрения. Киреевских и Аксаковых, сто лет тому назад, принимали в Москве за иностранцев, а ныне их ревностными поборниками является эмигрантское юношество, окончившее немецкие университеты и в глаза не видевшее России. Им ли понять Версилова, одного из героев Достоевского, который, попав на Запад, чувствовал там себя единственным европейцем? Если нам когда-нибудь и суждено будет спасать Европу, то вовсе не потому, что в нас сидит «душа Востока», а как раз наоборот: потому, что мы неразрывно связаны с западной культурой. «Россия есть держава европейская» — гласит «Наказ» имп. Екатерины II, и горе тому русскому, который это забывает. Перед лицом надвигающегося столкновения между Востоком и Западом, долженствующего решить судьбу культуры, — национальная, историческая Россия ни минуты не может колебаться в выборе своего места. Оно предопределено. Какими бы болезнями ни страдала Европа, она остается Европой — родиной всемирной, общечеловеческой культуры, и не нам, обязанным ей всей своей славой, покидать её в час беды. Сегодня это надо сказать ясно и во всеуслышание.

День Русской культуры должен быть днем культуры мировой.

Но именно в силу причастности к этой мировой культуре, нам не должно впадать в недостойный тон декламаторского восхваления нашей науки, литературы, музыки и всех наших достижений. Слава Богу, они таковы, что не нуждаются в этом и самое большое, что от нас требуется, — это быть достойными их. Леонардо говорил: «Малое знание дает людям гордость, великое — дает смиренение». Предоставим чванливые речи и заносчивую апологетику тем культурам, которые без

них не могут обойтись, сами же будем достойны «великого знания». День русской культуры пусть будет не днем гордыни, но днем смирения.

А смирению нам надо учиться. Сейчас больше чем когда либо. Было время — русская эмиграция могла высоко держать голову и быть предметом всеобщего внимания. Это, когда она располагала величайшим культурным наследием вывезенным из России. Лучшие писатели, музыканты, художники, балет, опера, виднейшие представители науки ушли в изгнание. Всё, что осталось в Советах, сделалось жертвой голодовок времен гражданской войны, погибло в застенках и лагерях, либо было поставлено в условия, невозможные для творчества. Новое полноценное поколение деятелей науки и искусства не могло вырасти в советской России, по причинам хорошо всем известным. Если вопреки суровым условиям кое-что произрастало, оно скашивалось беспощадной косой террора. Эмиграция, поэтому, имела законные основания считать себя монопольной обладательницей русской культуры. Придет время, когда этот период ее существования станет предметом специальных исследований, о нем будут написаны книги и тогда в полной мере откроется, какими огромными силами располагала зарубежная Россия. В течение трех десятилетий русские профессора вписывали блестящие страницы в историю университетов Запада, русские инженеры участвовали в крупнейших сооружениях нашего времени, музыка во главе с Глазуновым, Стравинским, Прокофьевым, Рахманиновым царила безраздельно, в мировой столице живописи, в Париже, наши художники завоевали себе видное место. О балете и говорить не приходится, он остался непревзойденным. Даже литература, труднее всех пережившая отрыв от родной почвы, создала шедевры, приобретшие мировую известность. Не говорю о большой культуртрегерской роли эмиграции, как популяризатора и распространителя русского искусства и русского знания заграницей. В самой советской России постоянно жило затаенное, невысказанное, но ясно сознаваемое чувство, что центр русской культуры находится заграницей.

Мало, кто ясно понимает, чем являлась для эмиграции эта армия артистов и ученых. Ведь если «бытие народов и государств оправдывается только творимой ими культурой», то чем могут оправдаться два-три миллиона изгнанников? Побитая во всех войнах, зашедшая в тупик в своих политических планах и устремлениях, обведенная противниками вокруг пальца, эмиграция представляла бы невыносимо жалкое зре-

лице, если бы не талисман культуры, которым она владела. С ним самые страшные поражения были не поражения, самое унизительное состояние превращалось в предмет гордости. Быть культуру! Унижают культуру! Миссию эмиграции весь цивилизованный мир понимал, как борьбу культурного начала с хаосом, и только поэтому прощал ей ее политическое и моральное гниение и не бросал в нее камнем. И в грядущем возрождении России, в которое так верим, наша роль возможна только, как роль культурная. Политически мы, увы, настолько примитивны, архаичны, дали так много примеров полной несостоятельности, что вряд ли призваны сделать что-нибудь значительное. Зато нам поручен огонь культуры, чтобы вернуть его родной земле в тот день, когда откроется дверь туда. И как знать, не явится ли это, в итоге, самым значительным политическим вкладом эмиграции? Ведь с падением большевизма испытания России не кончатся; возникнет опасность распада ее на множество мелких государств, и в этой беде спасти ее может опять только культура. Давно высказана мысль, что мы лишь в той мере можем расчитывать на неотделение от нас других народов, в какой сохраним престиж и обаяние нашей культуры. Наше служение России есть служение прежде всего культурное.

Но вот мы дожили до времени, когда эмиграция уже не может сказать: «Русская культура — это я». Почувствовалось это особенно после войны. На довоенный период сейчас уже смотрят, как на золотой век. Обилие центров, газет и журналов, выходящих во всех странах, собственные издательства, свои публичные библиотеки, архивы, свои гимназии, кадетские корпуса, даже университеты. И все это погибло. Естественно, войну считают главной виновницей упадка, тем более, что она и во всем мире сопровождалась страшным понижением тонуса культуры. Но войной всего не объяснишь и не объяснишь самого главного. Не будь ее, не будь внешних потрясений, произошло бы то же самое, с некоторым запозданием, может быть, и не так резко, но произошло бы. Дело в том, что эмиграция, подобно ранье, проживала капитал, вывезенный из России, не производя ничего нового. Кто были эти мировые и всероссийские знаменитости, которыми она так гордилась? Это все люди, созданные старой Российской Империей, вспоенные и вскормленные прежней дореволюционной Россией. Велика была породившая их почва, если их хватило на три десятилетия яркого горения на чужой стороне, вдали от родины. Но вечно гореть они не могли. Люди старели, умира-

ли. Смерть некоторых (Павловой, Шаляпина) давала новый повод для манифестаций в честь русской культуры, но древо ее продолжало терять свое одеяние лист за листом. Сейчас оно почти обнажилось и на голых ветвях висят редкие пожелтевые листья, ждущие скорого падения. Всё чаще празднуем семидесяти-и-восьмидесятилетние юбилеи наших корифеев и молим Бога, чтобы они, хоть дряхлыми и беспомощными, хоть символами, прожили еще десяток лет, потому что с их смертью станет совсем темно и пусто. Всё значительное, что делалось и делается сейчас, принадлежит им — выходцам из старой России. Племя, возросшее в изгнании, не выдвинуло ни одного имени, ни одного громкого дела. М. А. Алданова нельзя приводить в пример; он начал печататься еще в России и уехал оттуда сложившимся писателем. Даже такие, как Р. Б. Гуль и Н. Н. Берберова, не успевшие на родине напечатать ни одной строчки, получили свою литературную зарядку в старой писательской среде Петербурга и Москвы. Всех их должно отнести к дореволюционному поколению. Вклад новой эмиграции оказался незначительным. Будучи в массе своей, в полном смысле, рабоче-крестьянской, с образованием не выше школы-семилетки, она тоже не принесла, да и не могла принести ни одного имени. Выдвинутый ею слой интеллигентных людей, численно небольшой, не может итти в сравнение, по своему типу и уровню, с прежней русской интеллигенцией.

И вот мы стоим перед лицом беспросветного кризиса культуры в эмиграции. Внешних признаков его сколько угодно. Взять хотя бы печать. Два три органа еще героически борются, стремясь удержаться на прежней высоте, но вся остальная периодика погружается в болото дешевки и вульгарности. Некоторые газеты, носящие громкие русские названия, представляют такое убожество, что будь у их редакторов хоть капля чувства ответственности перед русской культурой, они должны были бы немедленно закрыться. Иные совершенно неприличны. Выражение: «бульварный листок» уже не передает степени их падения; прежняя бульварщина обладала, по-своему, высокой квалификацией, нынешняя даже в этом своем ремесле не преуспевает.

Выход книг почти прекратился. «Русская книга может только исчезать, появляться не может», — грустно замечает Б. К. Зайцев, стоя перед книжной полкой. Разумеется, объективных причин этому очень много, но есть и наша собственная вина, едва ли не самая главная в ряду других — понижение

читательского уровня и исчезновение спроса на книгу. Материальное благосостояние эмигранта ухудшилось после войны, но не настолько, чтобы воздерживаться от кафэ и от мороженого, от модных завивок и косметики. А вот от книги воздерживаемся. Стихи и романы еще кое-как идут, но научное произведение окончательно лишилось своего читателя. Выход в свет нучной работы на русском языке — величайшее событие и подвиг. Не имея перед собой живой аудитории, русские ученые заграницей уподобляются древним летописцам, трудающимся в тиши своих келий для будущих поколений. Недавно вышло сочинение проф. В. Б. Эльяшевича по истории права поземельной собственности в России, которое должно быть отнесено к числу первоклассных исследований в русской историографии. С полным правом можем гордиться подобными произведениями, но вместе с тем и грустно становится при мысли, что труд этот, которому закрыт доступ в Россию, найдет заграницей всего несколько десятков читателей.

Эмигрантская книга постепенно вытесняется советской. Книжный импорт из СССР растет и бойче всех торгуют те парижские магазины, в витринах которых выставлена продукция советских издательств. Мы переходим на снабжение Госиздата и подобно римским близнецам питаемся, вместе с подсоветскими братьями, молоком одной волчицы. Да не являемся ли мы и впрямь культурными близнецами?

Слишком долго и слишком много говорилось о разнице культурных уровней советской и зарубежной России; эмиграция прочно сжилась с мыслью о своем превосходстве над тамошней Россией и, как мы видели, превосходство это действительно имело место. Но сохранилось ли оно? Над этим приходится задуматься. Речь идет, разумеется, не о политической окраске и не об устремлениях духовной жизни там и тут. Всем понятно, что они не могут быть одинаковыми. Но высота интеллектуального уровня, но степень развития, степень культуры, могут соизмеряться. И что же видим? Видим несомненное приближение этих уровней друг к другу. В некоторых областях оно особенно разительно. Взять хотя бы публистику. Эмиграция и в лучшие свои времена не могла ею похвастаться. «Политика» в зарубежье сводилась к ожесточенной борьбе бесчисленных групп и партий между собой. Но в прежние времена это была борьба тренированных, опытных боксеров, блиставших приемами и техникой. Сейчас это простая медвежья свалка. Достаточно проделать беглое сравнение прежних журналов и газет с нынешними, чтобы стало оче-

видным необычайное снижение и измельчание общественно-политической прессы. Как бы ни относиться с чисто партийных точек зрения к Милюковым, Бурцевым, Струве, Дениким, — каждое их слово было словом крупных людей. За ними стояли продолжительный опыт, талант, знания, нередко ученье; они вносили в политику интеллект и высокий стиль. И сейчас, всё, что говорится и пишется значительного в этой области, исходит исключительно от старых, оставшихся в живых политических писателей и деятелей. Новое поколение поражает отсутствием школы, примитивностью, невежеством, самодельщиной. Дилетантизм становится господствующей чертой современного политиканства. Мысль коснеет, ветривается и заменяется грубыми страстями, ходячими формулами и шаблонами. Возникает разительное сходство с советской публицистикой, усиливающееся быстрым внедрением тамошних литературных приемов и даже лексикона. Устремления разные, но стиль, метод и уровень очень близкие.

В своем падении мы зашли так далеко, что научились на самое культуру смотреть, подобно большевикам, сквозь призму партийности: делим ее на «правую» и «левую» и травим, либо поощряем (чаще, конечно, травим), в зависимости от нашей принадлежности к тому или иному лагерю. Надпартийное, общенациональное восприятие русской культуры угасает в эмиграции. Печать уже почти сплошь узко партийна, издания типа «Современных Записок» сделались величайшей редкостью. Свободному творчеству и росту талантов наглухо закрывается дверь. Писатель ныне, чтобы быть напечатанным, должен увиваться около какой-нибудь политической организации, кадить ей, быть ее Демьяном Бедным. Его уже, как в Советской России, расценивают не по таланту, а по политическому созвучию. Опасность большевизма навыворот угрожает нам вполне серьезно. Но говоря о стирании разницы культурных уровней эмиграции и подсоветской России нельзя забывать, что есть случаи, когда разница оказывается уже не в пользу эмиграции. Военное знание, например. Пока живы были такие фигуры, как проф. генерал Головин, авторитет зарубежной военной мысли стоял настолько высоко, что сами большевики переиздавали у себя некоторые эмигрантские труды по военным вопросам. Теперь этого нет. Обогащенная практическим опытом, Москва располагает и теоретическими силами. Они, может быть, слабее тех, что сидят в военных академиях Запада, и слабее тех, что были в свое время в эмиграции, но они сильнее того, чем эмиграция располагает сейчас. Несмотря на обилие

военных организаций, здесь не сумели подготовить преемников старым военным специалистам.

Со смертью Алехина кончилось шахматное первенство. Утрачено, повидимому, превосходство в смысле технических знаний. Недалек день, когда и в других областях Россия Белая сдаст позиции России Красной.

Даже советское воспитание, *bon ton*, внешний лоск, монопольной обладательницей которых считала себя аристократическая часть эмиграции, тускнеет и блекнет. Уже с отцов довольно быстро сошла позолота, а дети, растущие в нищете, бесправии, в тяжелом труде, опростились окончательно. А в СССР новая сталинская аристократия быстро учится «людскости и политесу», заводит гувернеров и бонн для своих детей, обучает их языкам и хорошим манерам. Подростает поколение, которое будет сверху вниз смотреть на эмиграцию.

«И внуки твои будут внукам моим
Держать золоченое стремя».

Много причин нашего культурного упадка. Тут и борьба за кусок хлеба, и работа на фабриках, не оставляющая времени для чтения, и рассеяние по всему свету, и война, и большевицкие преследования, и многое другое. Но ясно одно: главная причина в нас самих, в отсутствии у нас вкуса к культуре. В эмиграции происходит сейчас то же, что было в России в годы революции: сняли вековой культурный слой и под ним открылось первобытное народное варварство. Варварства в эмиграции нет, но есть худшее — полукультура. Всё, что Достоевский сказал о полунауке, как «самом страшном биче человечества», относится и к полукультуре. Среда, в которой утрачивается чувство высших интеллектуальных и художественных ценностей, где они подменяются ценностями второго и третьего сорта, не может претендовать на звание культурной.

В 1946 г., в Мюнхене, одна русская певица давала концерт, в программе которого значились Чайковский, Глинка, Бородин, Глазунов, а в конце так называемые «цыганские помансы». Когда спросили о причине столь странного смешения классического репертуара с кабаретным жанром, последовал ответ: «Без этого наша публика не пойдет». На Глинку и на Чайковского заманивали «Шарабаном», «Фонариками» и «Черт с тобой». Действительно, первая, классическая часть концерта

прошла с холодком: зал вежливо аплодировал, но явно скучал. Он ожил, когда раздалось: «Эх, раз, что ли! Да еще раз что ли!». Потом пошла «Пара гнедых», «Для цыганки поверь не нужна красота» и публика загорелась тем огнем, который приносит успех концертантам; она ревела, выла, бешено рукоплескала и артистка покала обильные лавры. Правда, на другой день, в одной из немецких газет появилась заметка о перевернувшихся в гробы русских композиторах, но она никого не смущила. И сколько раз после этого приходилось наблюдать картины такого же смешения репертуара и такой же реакции зрительного зала. У нас всегда было много упивавшихся песенками Вертиńskiego, Морфесси, Жени Морозовой, картинами Шишкина и Богданова-Бельского, романами Крыжановской-Рочестер и кн. Бебутовой, но никогда этот слой людей не был таким пугающим и не вызывал чувства непосредственно нависшей опасности. Пока царили Шаляпины, Стравинские, Кусевицкие, Дягилевы, Бенуа, Мережковские, Муратовы, мещанин не смел поднимать головы, его держали в узде. Ныне он приходит к власти. Дурной вкус, посредственность, дилетантизм и уровень, приоровленный к уровню обывателя, начинают всё чаще представлять русскую культуру заграницей.

Ржавчина обывательщины беспощадно разъедает зарубежную жизнь, она цветет всеми своими оттенками, начиная от примитивного мещанства, помышляющего о франке и долларе, лишенного каких бы то ни было интеллектуальных устремлений, до сnobизма полузнаек и дилетантов, мнящих себя солью земли русской. В нашем облике всё больше черт от «мертвых душ».

В старом Петербурге, когда ему грозило наводнение, стреляли из пушек, оповещая население о каждом градусе, на который поднималась вода. Сейчас нужны гулкие орудийные залпы, набат всех церквей, на которых еще сохранились колокола, барабанная дробь, тревожные гудки, величайший аларм, предупреждающий эмигрантскую Россию о страшном бедствии, надвигающемся на нее. Речь идет о потере всего, чем она до сих пор жива была, об утрате патриотической миссии, об утрате смысла своего существования. Ей грозит превращение в серое беженское стадо.

Чтобы не быть заподозренным в импрессионизме, в субъективности восприятия, сошлись на только что появившийся в «Возрождении» некролог проф. Спекторского. В последние годы своей жизни, почтенный ученый объят был величайшей тревогой за судьбы нашей культуры и убивал последние силы,

чтобы передать молодому поколению накопленные им знания и духовные ценности. Он ясно понимал, какая пучина разверзается перед эмиграцией, созерцая свою аудиторию, состоявшую всего из... двух человек.

Проблема русской культуры в эмиграции, это проблема духа.

Близкое будущее покажет, победит ли обыватель с его болотом, с его жалобой на трудности, на невозможность в изгнании какой бы то ни было интеллектуальной жизни, или русская эмиграция вспомнит времена, когда из Холмогор пешком ходили в Москву учиться, когда сыновья богатых помещиков, отказываясь поступать в гусары, шли против воли родителей в университет и без денег, с отцовским проклятием, с тяжелыми лишениями, шли по пути культурного призыва. Культура, как религия, немыслима без подвижничества, без аскетизма, без жертв; как религия, она творится не отдельными только гениями, но всем народом, всем обществом.

Трудно на чужой стороне думать о чем-нибудь кроме хлеба насущного, трудно рождать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов», но это не невозможно. Смогла же старая польская эмиграция XIX века взростить в изгнании целую литературу с мировыми именами. Конечно, времена были иные, железного занавеса не существовало, абсолютного отрыва от родины, какой переживаем мы, не было и не было также тех преследований, которым подвергаемся мы. Поляки были любимцами Европы, жили в атмосфере сердечного участия, материальной и политической помощи. Даже во вражеских странах с ними носились. Русские никогда не встречали за границей такого приема, какой был оказан в Петербурге Мицкевичу и князьям Чарторыйским. Но не следует преувеличивать значение внешних обстоятельств. Если явление само по себе представляет нечто значительное и великое, для него не существует препятствий. «Всё выдающееся, по словам Ницше, — возникает несмотря на что бы то ни было». Приближается момент, когда русской эмиграции предстоит показать, стоит ли она чего-нибудь? Сможет ли, прожив имперскую ренту, жить собственным достатком, или она, подобно гусям из басни Крылова, обречет себя на чванливую позу: «Наши предки Рим спасли»?

Без преображения, без преодоления в себе мещанина, без сильного и здорового национального чувства, без ясно осознанного долга перед Россией, без крайнего напряжения сил, без подвига, нам не спасти культуры. К подвигу надо

звать сегодняшнее поколение. Каждый зеленый юноша должен понять, что будущее России в ее культуре, и если у него сохранилась еще способность к жертве, к самоотречению, то существует ли более достойный предмет для этого, чем культура? Когда-то великие честолюбцы приказывали своим слугам входить к ним каждый день с вопросом: «Что вы сделали сегодня для славы?» Каждый русский, живущий в зарубежье, обязан ныне сам себя спрашивать: «Что ты сделал сегодня для культуры?»

В духовных грамотах Великих Князей Московских есть одно незабываемое выражение: «Если Бог Орду переменит», т. е. если исчезнет татарское иго. Через все грамоты XIV века проходит этот мотив ожидаемой гибели татарщины. Умирая и завещая потомкам свои города, земли, сокровища и самый престол свой, князья неизменно вставляли в завещания эти знаменательные слова, давая указания на тот случай, если сгинет ханская власть. Столетиями жила уверенность в том, что «Бог Орду переменит», что не вечно татарщине давить русскую землю. К этому дню призывали готовиться и заботились о том, «чтобы наша свеча не погасла». Существует ли более высокий пример для нас, изнемогающих в ожидании гибели новой татарщины? Многие уже сошли в могилу, не дождавшись желанного дня, у других нет надежды дожить до него. Быть может, ни один вышедший из Египта не вступит в Землю Обетованную, все умрут в пустыне эмиграции. Но никто не должен сомневаться в том, что «Бог Орду переменит». Умирая мы обязаны говорить это своим детям и брать с них клятву, чтобы огонь культуры заботливо поддерживался, чтобы он пронесен был через всё наше странствие и «чтобы наша свеча не погасла». В землю отцов мы должны вернуться со словами псалма Давидова: «Не отступило назад сердце наше и стопы наши не уклонились от пути Твоего».

Н. Ульянов.

КОММЕНТАРИИ

1. ЭМИГРАЦИЯ И КУЛЬТУРА

Статья Н. Ульянова не может не вызвать споров и возражений: она поднимает больные вопросы и ставит их в предельно резкой форме. Как бы ни относиться к частичным утверждениям и общим выводам автора, следует отдать должное его гражданскому мужеству. Самокритика едва ли когда-нибудь бывает любимым занятием в широких кругах того или иного общества (советская самокритика в счет не идет, так как она вынужденная, а не добровольная). Степень проявленного Н. Ульяновым мужества может быть оценена по достоинству только если принять во внимание, что статья его — речь, произнесенная на праздновании «Дня русской культуры» в Казабланке. Я не знаком с составом и настроением русской колонии в Казабланке, но могу сказать, что на любом из таких же собраний, на которых мне пришлось побывать в других местах, подобное выступление было бы воспринято, как нечто «непристойное». Так уж повелось, что в «День русской культуры» надо предаваться воспоминаниям о великом прошлом и прославлять русские национальные достижения, а не делать из него день коллективного покаяния. Психологически это вполне понятно: люди, потерявшие свою родину и познавшие горечь изгнания, имеют право на национальное самоутешение, и я не удивлюсь, если кто-нибудь обвинит Н. Ульянова не только в «бестактности», но и в жестокости.

И все же с таким обвинением я согласиться не мог бы. Не все благополучно с «Днем русской культуры», как не все благополучно с эмигрантской культурной жизнью вообще. Даже если признать законность первоначальной цели этих «дней», можно сомневаться в том, чтобы она достигалась теми способами, которые стали характерными для огромного большинства официально посвященных ей собраний. Если русская национальная культура есть живая, а не мертвая традиция, то для поддержания национального самосознания среди русской

эмиграции нужны доклады, ставящие проблемы русской культуры и занимающиеся «переоценкой ценностей», а не банальные и трафаретные речи «юбилейного» типа, сильно схожие с тем, что в Америке заслужило ироническую кличуку «четверто-июльского красноречия» (столь же трафаретные речи из года в год произносимые в «День независимости»). А между тем, как редко приходится на этих собраниях слышать «проблемные» доклады или просто живое слово, на каком низком уровне они часто стоят даже и в «столичных» эмигрантских газетах, заставляя вспоминать изобретенную кем-то (если хотите, тоже жестокую) шутку, что, приходя на такое собрание, присутствующие оказываются... «на дне русской культуры»! Это становится особенно печально, если вспомнить, что одной из целей «Дней русской культуры» должна была быть борьба с денационализацией эмигрантской молодежи. Для молодежи, не подверженной могущественному воздействию чувства патриотической ностальгии, одни воспоминания о былой славе еще менее достаточны, чем для людей старшего поколения. Для них в особенности необходимо увидеть живую связь между ценностями дореволюционной русской культуры и насущными проблемами теперешней их жизни. На «Днях русской культуры» им обычно этой связи не показывают и, как правило, они на эти «дни» не приходят. Вот почему вместо осуждения я чувствую благодарность за учиненный Н. Ульяновым «скандал» в нашем благородном эмигрантском семействе.

Нетрудно найти в его утверждениях отдельные неточности и преувеличения. Но для меня это не отменяет основной их правильности и значительности. Так, например, спорно его заявление, что славянофилы и родственные им позднейшие мыслители только «рядились в национальные одеяния». А по существу целиком вышли из западной мысли. Никто не станет отрицать влияния на ранних славянофилов западного романтизма и немецкой идеалистической философии, но у них были и другие источники: восточная святоотеческая литература и русские бытовые традиции. Повторенное Н. Ульяновым мнение Вл. Соловьева о полной зависимости Данилевского от Риккера, по крайней мере весьма спорно. Сомнительно и немецкое происхождение евразийства: когда я в эмиграции прочел первую формулировку евразийской доктрины в небольшой книжке покойного кн. Н. С. Трубецкого, я немедленно же вспомнил мои с ним разговоры в наши студенческие годы, когда ни о Кайзерлинге, ни о Шпенглере еще не было слышно. И тем не менее я вполне присоединяюсь к нападкам Н. Ульянова на

сегодняшнее эмигрантское «самобытничество». Речь идет не о тех творческих традициях, которые связаны с подлинным славянофильством и которые обогатили русскую философскую и религиозную мысль, а о вульгаризации славянофильства, о его вырождении в культурно-политическое «скифство» с присущим ему националистическим чванством. Кажется, никогда еще не цитировали так часто и с таким упоением знаменитое четверостишие Тютчева. Не к чести великого поэта оно уже само по себе двусмысленно и потому соблазнительно. Конечно, одним умом Россию понять нельзя, т. е. нельзя разложить ее образ на ряд логически определяемых понятий. Конечно, нельзя измерить ее «аршином общим» с той точностью, с какой одним и тем же аршином можно измерить любые куски материи, независимо от ее качества или цвета. Есть у России и «особенная стать», т. е. своя индивидуальность, и размыслия о ее будущем, без веры обойтись нельзя. Но ведь все то же самое и в такой же мере можно применить и ко всякой другой стране, ко всякой другой культуре. Нельзя на этом основании противопоставлять Россию всему остальному миру, как какое-то похвальное исключение. И нельзя из этого очевидного и универсального факта делать вывод, что в попытках осмысления русского прошлого и предвидения русского будущего можно обойтись без разума и ограничиться одной верой, или что можно и следует игнорировать исторический опыт других народов. В борьбе против такого патриотического обскурантизма я всецело на стороне Н. Ульянова, как я с ним и в его утверждении нашей неразрывной органической связи с Европой*).

Н. Ульянов — новый советский эмигрант и тем знаменательнее та высокая оценка, которую он дает культурным достижениям старой эмиграции. Боюсь, что от его несколько преувеличенных похвал у нас, старых эмигрантов, может даже закружиться голова. Прежде всего, едва ли в се лучшие представители литературы, искусства и науки ушли в изгнание, оставив после себя в России пустое место. Думаю, что оказавшиеся по эту сторону рубежа никогда не считали себя «монопольными обладателями русской культуры». Были, конечно, исключения, но среди большинства эмигрантской интеллигенции преобладало скорее связанное с восхищением удивление перед тем, что было сделано в различных областях куль-

*) Связь эта убедительно показана в замечательной книге В. Вейдле *“La Russie absente et présente”*. См. рецензию Г. Струве в этой книге *«Нового Журнала»*.

турного творчества теми, кто оказался вынужден жить и работать в суровых условиях советского режима. Преувеличивает Н. Ульянов и размер побед, одержанных старой русской эмиграцией на международном «культурном фронте». Не так уже безраздельно царила в мире русская музыка и не так уж много было русских литературных шедевров, «приобретших мировую известность». Отмечу, кстати, что в те годы западный мир живо интересовался, а иногда и увлекался, литературными и музыкальными произведениями, созданными в советской России, как интересовался он и сделанными там научными достижениями, по крайней мере, в некоторых отраслях знания.

Правда, свою похвалу культурной роли старой эмиграции Н. Ульянов разбавляет довольно существенными оговорками. Во-первых, по его словам, «эмиграция, подобно рантье, проживала капитал, вывезенный из России, не производя ничего нового». Здесь я готов упрекать его уже за излишний пессимизм. Его категорическое утверждение, на мой взгляд, не соответствует действительности. Даже и старые, вполне сложившиеся до революции писатели, далеко не всегда только повторяли самих себя, не давая ничего нового. Можно было бы показать, путем критического разбора целого ряда произведений, как творчество этих писателей обогатилось и опытом пережитой ими национальной и личной катастрофы, и опытом их эмигрантской жизни. Непонятно также, почему Н. Ульянов целиком относит к дореволюционному поколению писателей «возврощших в изгнании». То, что они «получили свою литературную зарядку в старой писательской среде Петербурга и Москвы», еще ничего не доказывает. Это нормальный факт литературной преемственности, не теряющей своей силы даже и в самые катастрофические эпохи. Важно то, что эти писатели выросли, как писатели, уже в изгнании, и нет основания отнимать их у эмиграции. Это относится не только к младшему поколению старо-эмигрантских писателей (в числе которых следовало бы назвать еще и В. Набокова-Сирину и Г. Газданова и ряд поэтов), но и к М. А. Алданову, который отнюдь не уехал из России сложившимся писателем.

Я потому так настаиваю на этом пункте, что здесь, как это ни странно, Н. Ульянов (думаю, что невольно) перекликается с одним довольно широко распространенным в новой эмиграции настроением, которое я лично считаю в известном смысле опасным. Я имею в виду тенденцию расценивать литературное творчество старо-эмигрантских писателей, как одновременно отставшее от жизни и беспочвенное. Когда они

пишут о русском прошлом, они служат «литературные панихиды». Когда они занимаются иностранными сюжетами, все равно историческими или современными, или пишут об эмигрантской жизни, они обнаруживают свою «оторванность от родной почвы». И в том и в другом случае они не нужны или мало нужны их новым читателям. В лучшем случае писатели из «новых» могут учиться у них «формальному мастерству». Все это кажется мне основанным на непонимании подлинной природы литературного творчества. Всякий настоящий писатель может писать только о том, чем он живет и что он видит. И для этой творческой жизни и творческого видения нет никаких границ — ни временных, ни пространственных. Жизненность литературного произведения вовсе не определяется тем, пишет ли писатель о прошлом или о настоящем, о своей стране или о чужой, о мире «реальном» или «воображаемом». Надо только, чтобы он действительно жил в том, о чем он пишет, и видел то, что он изображает. Особенно странны упреки в чрезмерном внимании к старой дореволюционной России и в ностальгическом тяготении к ней. Из всех человеческих чувств ностальгия является одним из самых могущественных возбудителей художественного творчества. Объявите ее незаконной и вам придется вычеркнуть добрую половину (если не больше!) величайших произведений мировой литературы. Она способна оживить прошлое, как ничто другое, а там, где «прошлого нет и следа», нет и полноценного настоящего, все равно — личного или национального. Хорошо сказал Некрасов:

«..... нарви
Цветов, растущих на могилах,
И ими сердце обнови».

Правда, перед тем у Некрасова сказано: «А станешь статься...» Но ведь это общечеловеческая судьба, которой новые эмигранты подвержены не менее старых. Да и нет такого закона, чтобы литература создавалась только для зеленої молодежи. Даже если ностальгия иногда принимает форму «лирического умиления», в чем Ф. А. Степун как-то упрекнул Б. К. Зайцева, то и в этом нет ничего ее опорочивающего. «Лирическое умиление» есть один из необходимых элементов душевного здоровья.

В том настроении, о котором я пишу (а мне не раз приходилось сталкиваться с его проявлениями), я вижу опасность, по крайней мере, двух одинаково вредных уклонов. Оно может привести и к националистическому провинциализму («русский

писатель должен писать только на русские темы) и к политически окрашенному утилитаризму («писатель должен писать на злобу дня, если он хочет быть созвучен современности»), т. е. к тому самому, что характерно для литературной политики тоталитарных режимов и что вытекает из отрицания ими принципа а в то н о м и и к у л ь т у р ы. Между тем в защите этого принципа заключается одна из главных задач русской эмиграции. Можно сказать без преувеличения, что всякий акт свободного художественного творчества, когда писатель пишет о том, о чем хочет, и так, как хочет, уже сам по себе есть акт борьбы с тоталитарной диктатурой, столь же важный, как обличение ее пороков и преступлений или прямой призыв к ее низвержению.

Я отнюдь не заподозреваю Н. Ульянова в какой-либо симпатии к одному или другому из указанных мною уклонов. На-против, для меня ясно, что они были бы в полном противоречии с духом его статьи и общим ходом его мыслей. Но мне кажется, что своим настаиванием на бесплодности эмиграции, как эмиграции, и на факте биологического ее вырождения он может дать пищу для такого рода опасных выводов. Повторяю, я считаю его утверждения и фактически неправильными или, по крайней мере, преувеличенными. Преувеличен и его вывод о «беспросветном» (курсив мой, М. К.) кризисе культуры в эмиграции. Если бы он был беспросветным, т. е. безнадежным, то и разговаривать было бы не о чем. Просветы есть — и на некоторые из них указывает и сам Н. Ульянов. Есть они и в старой, и в новой эмиграции — различие, с годами все больше и больше стирающееся: многие ли отдают себе отчет в том, что большинство новых эмигрантов пробыли в эмиграции уже большие трети того времени, которое до их появления прожила в изгнании эмиграция старая? В частности, я отнюдь не разделяю крайне пессимистической оценки, даваемой Н. Ульяновым культурным возможностям эмиграции последнего призыва. И он сам, и многие другие — лучшее тому опровержение. Но он прав, когда он говорит об общем понижении эмигрантского культурного уровня за послевоенные годы. Как редактор одного из эмигрантских журналов, я подписываюсь обеими руками под теми строками его статьи, в которых он касается упадка издательского дела в эмиграции. Русских книгоиздательств за пределами советского контроля в мире почти не осталось, и крупнейшие из них обязаны своим существованием иностранной поддержке. Этого бы не было, если бы среди эмиграции был достаточный интерес к русской книге и русской

периодической прессе. Как правильно указывает Н. Ульянов, одними материальными трудностями этого никак объяснить нельзя. Одна русская эмиграция в Америке, при своей многочисленности и сравнительной материальной обеспеченности, могла бы обеспечить нормальное существование русского книжного и журнального рынка, если бы в ней был достаточно живой и действенный интерес к русской литературе и к судьбам русской культуры. К стыду нашему, мы должны признаться, что в этом отношении мы находимся позади эмиграций целого ряда других национальностей.

Приветствуя я и поход Н. Ульянова против многообразных проявлений «дурного вкуса, посредственности и диллентантизма» в различных культурных, или претендующих быть культурными, эмигрантских начинаниях*). Его призыв к борьбе за повышение художественного и научного уровня, к напряжению сил, к жертвенному подвигу для выполнения выпавшей на долю эмиграции культурной миссии — должен был вызвать сочувственный отклик даже со стороны тех, кто может не согласиться с отдельными его высказываниями или найти его диагноз чрезмерно пессимистическим. То, что он обращается к эмиграции с этим призывом, и тот дух, в котором он этот призыв делает, заставляют меня думать, что, в конце концов, и для него самого переживаемый нами культурный кризис не является «беспросветным».

2. ЭМИГРАЦИЯ И ПОЛИТИКА

К политической роли эмиграции Н. Ульянов относится с решительным скептицизмом. В этом вопросе он почти не делает разницы между эмиграцией старой и новой. Он признает, что по «стилю» эмигрантская политика «лучших времен» стояла на более высоком уровне: то, что было «борьбой тренированных, опытных боксеров», превратилось теперь в «простую медвежью свалку». Но по существу и в эти лучшие времена эмигрантская политика (Н. Ульянов берет это слово в кавычки) «сводилась к ожесточенной борьбе бесчисленных групп и партий между собой» и только культурные достижения эми-

*.) Отмечу здесь ту решительность и смелость, с которой борьба против провинциализма и диллентантизма в украинской эмигрантской литературе ведется в журнале «Обрій» (Горизонты), издающемся в Нью-Йорке.

грации позволяли западному миру прощать ей ее «политическое гниение». Без этих культурных достижений эмиграция представляла бы собою «невыносимо жалкое зрелище». Так как положение с тех пор не улучшилось, а ухудшилось, то Н. Ульянов приходит к выводу, что «в грядущем возрождении России наша роль возможна только, как роль культурная». Это, в сущности, есть призыв к отказу от всякой политической работы в эмиграции.

Не знаю, осуществим ли такой совет — по крайней мере, для той части эмиграции, которая покинула Россию или была оттуда изгнана по причинам политического характера. И не только потому, что профессиональным политикам трудно отделаться от привычки заниматься политикой, а в широких мас- сах эмиграции политические интересы, или, по крайней мере, политические эмоции обнаруживают значительную долю живучести. В конце концов, политика (без кавычек) связана с проблемой общественного и государственного возрождения России, и между ней и культурой резко разграничительную линию провести довольно трудно. Добиться того, чтобы эмиграция перестала заниматься политикой, психологически невозможно. Худо ли, хорошо ли, эмиграция политику делать будет, и стремиться надо не к тому, чтобы искоренить в ней эту потребность, а к тому, чтобы политика делалась хорошо, а не плохо.

Н. Ульянов, повидимому, считает эту задачу безнадежной. Слов нет, для своего пессимизма он может найти достаточно подтверждающих фактов из истории русской эмиграции от ее начала до наших дней. И всё же изображение этой истории, как одного сплошного процесса «политического гниения» является, я думаю, едва ли оправданной стилизацией. «Ожесточенная борьба бесчисленных групп и партий между собой» бывает, в критические моменты истории, не только в эмиграции. В условиях эмигрантского существования эта борьба, по понятным причинам, становится особенно обостренной. Но в этом отношении русская эмиграция не представляет собою какого-то печального исключения. В той или иной мере то же самое происходит в эмиграциях и других, оказавшихся под коммунистическим владычеством, стран. А из «Былого и дум» Герцена можно узнать, что такая же картина наблюдалась и среди разношерстной по своему национальному составу эмиграции, собравшейся в Лондоне после окончательного поражения революции 1848-49-х годов. И тогда были люди, приходившие в отчаянье и говорившие о безнадежности дальнейшей полити-

ческой борьбы. Тем не менее, в исторической перспективе, теперь для нас уже ясно, что далеко не все усилия этих ссорившихся между собой «романтических изгнанников» оказались политически бесплодными. В этом должно быть для нас хотя бы некоторое утешение.

Но, может быть, не надо даже ждать суда истории, который часто приходит очень поздно, чтобы позволить себе утверждать, что в каких-то, может быть и скромных, пределах политическая работа старой русской эмиграции принесла некоторые положительные результаты, не дающие новой эмиграции достаточного основания подходить к своим предшественникам с «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». По человечеству, можно понять их разочарование и нетерпение. Но если рассуждать от здравого смысла, то не следует упрекать старую эмиграцию за то, что она не сделала невозможного: не подготовила свержения коммунистической диктатуры и не убедила западный мир, что в его интересах итии крестовым походом для освобождения России от советской власти. Вероятно, эмиграция не сделала всего, что можно было сделать, но многое она все же сделала. Пользуясь всеми доступными ей путями, она внимательно следила за тем, что делалось на родине, и накопила в этой области большой и ценный информационный материал. В попытках истолкования этого материала она иногда делала ошибки, как ошибалась она и в некоторых своих прогнозах, но в общем построенная ею картина советской жизни оказалась правильной, как правильно разгадала она и многие основные тенденции развития в политике советской власти. Когда после десятилетий отрыва от России старая эмиграция впервые встретилась с русскими людьми, лишь недавно покинувшими родину, показания этих новоприбывших скорее наполнили конкретным содержанием имевшиеся у старых эмигрантов общие представления, чем сообщили им что-нибудь совершенно для них неизвестное или противоречившее сложившимся у них ранние представлениям.

На основании собранного ими материала, эмигрантские политики многое уяснили для самих себя и — вопреки распространенному в некоторых кругах взгляду — многое пересмотрели в своих программных и тактических построениях, выполняя тем самым ту работу политической мысли, которая неизбежно является одной из главных функций всякой эмиграции. Делала эмиграция и попытки помочь западному миру правильно оценить значение происходящих в России событий и понять природу советского режима (я сознательно избегаю популярного

в русских кругах выражения «раскрыть глаза западному миру», так как считаю представление о повальной слепоте последнего необоснованным преувеличением, связанным к тому же с излишней самоуверенностью насчет собственной нашей зрячести). Делалось это и в политических выступлениях, и в газетных или журнальных статьях, и в научных работах, и в лекциях с профессорской кафедры. Нисколько не желая преувеличивать результаты этой, обращенной к внешнему миру работы, я по совести никак не могу признать ее бесплодной.

«Только и всего?» — может спросить меня иной из моих читателей. Да, «только и всего», но на мой взгляд совсем не так мало. Все это есть политическая работа или, если угодно, элементы политической работы. И я не вижу оснований, почему эмиграция от этой работы должна отказаться теперь, когда в связи с изменившейся международной обстановкой перед ней открылись некоторые новые возможности. Конечно, того, что было сделано до сих пор, далеко недостаточно. Конечно, многое, что делалось и продолжает делаться в области эмигрантской политики, нуждается в улучшении и исправлении. Здесь, не меньше чем в области культурной работы, требуется новое напряжение сил, борьба за поднятие уровня, большая жертвенность и более сильное чувство ответственности. К этому я добавил бы еще и более развитое чувство реальности, в отсутствии которого я готов видеть, может быть, главную причину наших политических неудач и неурядиц.

Надо отдать себе ясный отчет в том, что и по своему положению, и по ограниченному размеру своих ресурсов, эмиграция может добиваться только частичных политических успехов, может играть только подсобную, а не решающую роль в тех событиях, которые происходят и будут происходить в России и в мире. Эмиграция не должна ставить себе задач, которые явно превосходят ее возможности. И она не должна ждать быстрых и решительных результатов от своих политических действий. Пора перестать жить в апокалиптическом ожидании близкой финальной развязки. Она может прийти неожиданно, но на этой возможности нельзя строить никаких политических расчетов. Надо готовиться к длительному и затяжному кризису в международном масштабе. Как это ни трудно, надо приучать себя к мысли, что освобождения России придется ждать, может быть, еще десятилетия, что к нему придется идти через новые трудности и новые разочарования. Говоря официальным советским языком, у нас не может быть никакой уверенности в том, что мы имеем перед собой «непосредственную револю-

ционную ситуацию». Весьма вероятно, что нам придется действовать в условиях длительного эволюционного процесса (я говорю, конечно, об эволюции мирового положения, а не о пресловутой «эволюции» советской власти). А это требует от нас прежде всего гораздо большей политической гибкости, чем та, на которую мы до сих пор оказывались способны.

Я говорил выше о том пересмотре программных и тактических установок, который производили в прошлом политические группировки старой эмиграции. Я не хотел бы создать впечатления, что я считаю эту переоценку политических ценностей благополучно законченной. Даже если они и не ведут к немедленному катастрофическому финалу, мировые события развиваются сейчас в таком быстром темпе, что пересмотр политических позиций является делом постоянной необходимости. И, конечно, не только для старой русской эмиграции. Напрасно было бы приписывать ей монополию на политическое рутинерство. Его можно найти в достаточном количестве и у представителей новой эмиграции. И в их среде есть настоящая необходимость в периодическом проветривании застоявшихся политических мыслей и эмоций, в учете пережитого трагического опыта, в осознании того, что мировая конъюнктура 1952 года коренным образом отлична от той, в которой они начали свое эмигрантское существование.

Читая статью Н. Ульянова, я невольно вспомнил другой образец эмигрантской «самокритики», имеющий непосредственное отношение к обсуждаемой мною сейчас теме. В пре-восходном польском журнале «*Kultura*», выходящем в Париже, были помещены, в ноябрьской и декабрьской книжках прошлого года, чрезвычайно интересные статьи Ю. Мерошевского, посвященные польской эмигрантской политике. В этих статьях талантливый польский публицист с редкой смелостью поставил вопрос о необходимости пересмотра понятия польской независимости, которое естественно занимает центральное место в польских политических построениях. По его убеждению, на путях традиционного национализма эта независимость восстановлена и обеспечена быть не может. Бессмысленно мечтать о возрождении европейского «старого режима», как он существовал до 1939 года. Свободная Польша может быть воссоздана только в рамках европейской федерации, и вся политика польской эмиграции должна быть ориентирована в этом направлении. По сравнению с важностью этой задачи все рассуждения об «исторических правах» Польши, о невозможности уступить «хотя бы пядь польской земли» являются проявлени-

ем «политической глухоты и слепоты», «кроличьего национализма» и «опереточной великодержавности».

Я не собираюсь обсуждать здесь содержание статей Ю. Мерошевского, которые заслуживали бы подробного разбора. Мне просто хотелось указать на это проявление гражданского мужества и политического реализма — тем более замечательного, что польская эмиграция насчитывает только немного больше десяти лет существования и что и сейчас еще она живет под свежим впечатлением постигшей ее национальной катастрофы. Для меня это пример, достойный подражания.

М. Карпович.

**
*

Когда упадет звезда
И сердце пронзит земное —
Любви не найти следа
И небо совсем чужое.

Весной было много роз,
И ласточек легких стаи,
И яблони расцветали
Душа, ты темна от слез!

Калекой у храма ждешь,
Зажжешь огонек в больнице,
Холодным утром встаешь
И падаешь мертвой птицей.

Тебя на погост несут,
Ты — девочка в белом платье, —
Не страшен Господень суд,
Страшнее земли объятья.

Потерян небесный путь,
Слезами земля размыта,
Земля до корней разрыта,
Земля упадет на грудь.

Аглаида Шиманская

ПАМЯТИ М. Я. ЛАЗЕРСОНА

В небольшом теле Максима Яковлевича Лазерсона жило много духовной энергии: идейных устремлений, национальных страстей, политических увлечений. Он многое знал, еще большим интересовался и неизменно горел — то праведным, то спорным, то ложным.

Не раз менял М. Я. свои взгляды и симпатии и всегда с одинаковой страстью и убежденностью. Был бундистом и стал сионистом. Связан был с советской Россией, а причислял себя к людям западной культуры. Потом не взлюбил советскую Россию. Еще резче отшатнулся он от Германии и ее культуры, взыскав новый град в стране предков, Палестине. И закончил жизнь свою, исполненную борений, не в Израиле, а в Америке.

Своим умственным и духовным развитием М. Я. обязан еврейской традиции и русской и немецкой науке и культуре. Он получил высшее образование в Петербургском университете, наградившем его медалью за работу о естественном праве. Знаменитый Петражицкий его «заметил», признав наиболее даровитым из своих учеников (мне довелось видеть письмо Петражицкого к третьему лицу). При Временном Правительстве Лазерсон занимал видный пост во вновь образованном «Национальном Отделе» министерства внутренних дел, ведавшем дела и нужды многочисленных российских народов и народностей.

Я погрешил бы не только против покойного, но и против правды, если бы умолчал, что во время войны М. Я. Лазерсон оказался в числе едва ли не большинства российских эмигрантов-антибольшевиков, которые не выдержали испытания войны и, поддавшись угару советского патриотизма, признали эволюцию советской внешней и внутренней политики в сторону права и мира. Со всем авторитетом ученого юриста М. Я. Лазерсон рискуя в 43 и 45 гг. заверить русскую и английскую аудитории, что «положена надгробная плита над правовым нигилизмом в России», «советский организм несомненно переживает доброкачественное перерождение ткани» и прочее.

Это, конечно, никак не соответствовало советской действительности. К счастью, М. Я. не слишком упорствовал и недолго задержался на этой позиции. Советская политика, внешняя и внутренняя, слишком бесцеремонно насмехалась над благочестивыми мечтаниями о том, что после победоносного окончания 2-ой патриотической войны не может не случиться того же, что случилось после первой в начале прошлого века. Отдав дань обманчивым иллюзиям, М. Я. оказался их жертвой, как и множество других, более него искушенных политиков, русских и нерусских.

М. Я. Лазерсону не раз приходилось вступать в противоречие с собой: защищать новую правду и опровергать старую. И делал он это всегда с одинаковой искренностью и категоричностью. В «Праве на банальность» Лазерсон отказывался от «избраннического дон-кихотства» и небанальных путей развития еврейства, которые, в частности, М. О. Гершензон считал характерными для судеб еврейского народа. И еврейский народ, доказывал М. Я., «должен обзавестись тем же балластом, которым обладают другие народы, — национальной территорией». Проходят два года, и в небольшой работе на немецком языке «Государство, суверенитет, меньшинство» М. Я. Лазерсон рекомендует уравнение судеб всех народов уже в противоположном направлении. Небанальная судьба еврейства должна стать как бы универсальной нормой для всего человечества. Лазерсон защищает вне-территориальное состояние нации, которое должно быть построено на персональном начале духовной принадлежности к общему культурно-племенному союзу — вне всякой связи с землей и прочими материальными «вецами».

Автор причислял себя к позитивистам. Но в данном случае представление о нации граничило с крайним спиритуализмом. Считать территорию не «необходимым отличительным признаком государства» было прегрешением против нации и против государства, против реальности и против таких морально-политических ценностей, как здоровый патриотизм и гражданство. У человека, считающего своим отечеством мир, нет отечества вовсе.

Несмотря на все эти противоречия, Лазерсон бесспорно был настоящим ученым — философом права, историком, компаративистом. Он напечатал большое количество книг, брошюр, статей. Некоторые из них сохраняют ценность, не взирая на 25-летнюю давность. Так, еще в 27-ом году обратила на себя внимание брошюра М. Я. Лазерсона «Революция и Пра-

во», вышедшая по-русски, а потом появившаяся в немецком юридическом журнале. Кто только не писал на эту соблазнительную тему и кто только не пробовал дать свое определение революции: Мишле, Лассаль, Иеринг, Энгельс, П. Б. Струве, С. Л. Франк и т. д. Немцы созвали даже специальный съезд германских социологов для выяснения того, в чём «сущность революции».

М. Я. дал свое определение в стиле и духе доктрины Петражицкого. Его формулировка является как бы антитезой формулы Струве. Удачную или законченную революцию Струве определял, как бунт, ставший правом. Лазерсон же видел в революции столкновение, или «бунт» интуитивного права против права действующего или положительного. Можно считать, что и это определение не покрывает полностью революции. Оно во всяком случае правильно улавливает один из бесспорных элементов революции.

Перу М. Я. Лазерсона принадлежат работы на самые разнообразные темы, связанные главным образом с правом. «Спиноза, как философ права и государства», «Гуго Гроций, как теоретик естественного и международного права», «Философия права Маймонида», палестинский «Мандат», право меньшинств и т. д. Как бывший депутат латвийского сейма М. Я. много писал о Балтике, о латвийской конституции и о ее развитии. Его работы появлялись на русском, немецком, английском, французском, латышском и еврейском языках. Смерть М. Я. Лазерсона — потеря для науки, для учащих и учащихся.

М. Вишняк.

ПИСЬМО С. Л. ФРАНКА К Г. П. ФЕДОТОВУ

Это письмо С. Л. Франка из архива Г. П. Федотова передано нам для печати Е. Н. Федотовой. РЕД.

Дорогой Георгий Петрович,

Прочитав вашу последнюю статью «Народ и власть», я хотел сразу же написать вам, чтобы выразить вам мое глубокое удовлетворение и восхищение. Разные обстоятельства и слабость здоровья помешали исполнить это намерение. Но вчера меня посетил Флоровский и рассказал, что ваша статья вызвала негодование и бурный протест даже в умеренных кругах русской эмиграции (от него же я узнал ваши новый адрес). Это побуждает меня, наконец, написать вам, чтобы морально поддержать вас.

Мне доставили глубокое удовлетворение не обычные достоинства ваших писаний — литературное их мастерство, тонкость и меткость ваших суждений — а их моральный пафос, определяющее весь смысл вашей статьи чувство национального покаяния. Ваша способность и готовность видеть и бесстрашно высказывать горькую правду в интересах самоисправления есть редчайшая и драгоценная черта вашей мысли. Вы обрели этим право быть причисленным к очень небольшой группе подлинно честных, нравственно трезвых, независимо мыслящих русских, умов, как Чаадаев, Герцен, Вл. Соловьев (я лично сюда присоединяю и Струве), знающих, что единственный путь спасения лежит через любовь к истине, как бы горька она ни была. Роковая судьба таких умов — вызывать против себя «возмущение», которое есть не что иное, как обида людей, которым напомнили об их грехах, или приятные иллюзии которых разрушены. Такая реакция, конечно, не должна смущать вас — это есть естественная судьба всех честных искателей правды, и в особенной мере русских — ибо русские меньше, чем кто-либо, склонны уважать независимую мысль и склоняться перед правдой. Замечательно, как склонность у русских к порицанию порядков на родине всегда сочеталась и доселе сочетается с какой-то мистической национальной самовлюбленностью. Русский национализм отличается от естественных национализмов европейских народов именно тем, что проникнут

фальшивой религиозной восторженностью и именно этим особенно гибелен. Славянофильство есть в этом смысле органическое и, по-видимому, неизлечимое нравственное заболевание русского духа (особенно усилившееся в эмиграции). Характерно, что Вл. Соловьев в своей борьбе с этой национальной самовлюбленностью не имел ни одного последователя. Все, на кого он имел в других отношениях влияние, — и Булгаков, и Бердяев, и Блок, — свернули на удобную дорожку национальной самовлюбленности. Бердяева это прямо погубило...

Не со всем, что вы говорите, я согласен. Я думаю, вы несколько преувеличиваете грехи старой России. Они бесспорны, но в их оценке вы, как кажется, вопреки общему тону вашей мысли, слишком следите старому радикальному шаблону. Несмотря на грубость и жестокость Николаевского режима, монархия и высшая бюрократия, по совершенно справедливому суждению Пушкина, была относительно наиболее культурным слоем, ибо «общество» — за исключением немногих одиночек, — состояло из гоголевских помещиков. Монархия разложилась только при Николае II и русская бюрократия на более высоких ступенях была до последних лет режима в общем не менее культурна (и более ответственна), чем либеральная оппозиция. Салтыков тут страшно преувеличил (он же сам был вице-губернатором) и классовой вражды было в России меньше, чем в Европе (прожив во Франции семь лет, я впервые не из книг, а из живых впечатлений узнал, что, собственно, есть классовая ненависть). В России было классовое или, вернее, сословное отчуждение, но это было роковым последствием европеизации высшего класса, и было несчастьем, а не грехом. А русский суд и местное самоуправление были несомненно выше европейских (кроме английских). Но это — частность. Все остальное и общий вывод вашей мысли я разделяю всей душой. Ваши писания я считаю событием в истории русской мысли; они дают оправдание самому бытию эмиграции.

Сердечно жму вам руку.

Ваш С. Франк.

БИБЛИОГРАФИЯ

ДВЕ КНИГИ О СУДЬБАХ РОССИИ*)

«Русский мир» Гонзага де Рейнольда — часть большого труда того же автора под общим названием *“La formation de l’Europe”*. Автор — известный швейцарский католический историк, кажется, профессор Фрибургского университета. Многотомный труд его — не история Европы, а философия ее истории: последняя рассматривается всё время в свете актуальных проблем современности. Это работа большого захвата, в духе Шпенглера и Тойнби. Этот подход придает его труду черты, которые для русского читателя — независимо от существа рейнольдовской «историософии» России — имеют нечто особенно притягательное: он как-бы находится в русской традиции, идущей от Чаадаева к покойному Г. П. Федотову. И с тем и с другим, кстати, сближает Рейнольда внешний блеск изложения, дар метких и выразительных формулировок. Есть у него и некоторая внутренняя перекличка с обоими. Когда Рейнольд пишет, что Россия «построилась без исторической базы», что «отсюда а-историчный характер ее духа» (стр. 50), нельзя не вспомнить Чаадаева. Когда он подчеркивает, что «первая Россия» (т. е. Киевская Русь) связана с нерусским миром, что она была интегральной частью Европы, это невольно приводит на память историческую схему Федотова. С Чаадаевым Рейнольд, конечно, знаком. Федотова он едва ли читал, во всяком случае имени его не упоминает. Вообще в книге нет ни библиографии, ни аппарата ссылок, хотя в тексте и встречаются отдельные ссылки, по большей части на общие труды по истории России, притом такие, которые либо переведены на французский язык (Платонов, Милюков), либо написаны по-французски (*Leroy-Beaulieu, Rambaud, Naumann, Никольский*). Похоже, что автор русским языком не владеет и доступа к русским источникам не имел. Впрочем, факты русской истории известны ему хорошо, и сколько-нибудь серьезных ошибок в его книге нет. Спорны и соблазнительны лишь некоторые выводы из фактов и толкования их; не-приемлема его общая схема философии русской истории.

Говоря очень обще, Рейнольда можно отнести к многочисленным сейчас «кюстинствующим» иностранцам, для которых знаменная книга маркиза де Кюстина о России в 1839 г. стала не только свидетельством талантливого и довольно наблюдательного иностранца о николаевской России, но и откровением о России вечной и неизменной, а тем самым и путеводителем по России Сталина, доказательством тождества сей последней с Россией Николая I, Петра

*) Gonzague de Reynold. *Le Monde Russe. La formation de l’Europe*. Librairie Universelle de France. Paris, 1950. 412 pp.

W. Weidlé. *La Russie absente et présente*. Gallimard. Paris, 1949, 238 pp.

Великого и Ивана III (для Рейнольда именно Иван III стоит в начале пути, который завершает собой Сталин — путь этот он характеризует как «азиатский абсолютизм»). От таких «кюстинствующих» иностранцев, как генерал Биделл Смит, написавший предисловие к вышедшему в прошлом году в Америке сокращенному переводу Кюстина, или даже Франсуа де Мориак, приветствовавший еще в 1946 г. французское переиздание Кюстина, как поучительный комментарий к современной России, Рейнольда отличает довольно хорошее знание русской истории, тонкое понимание многих ее исторических процессов и подлинная историческая интуиция. Но общему с ними многие предвзятые идеи.

Общую концепцию Рейнольда можно охарактеризовать как соединение кюстиновщины с некоторыми элементами славянофильства и евразийства. Для него Россия — «географическая и историческая антитеза Европы» (81). В другом месте он прямо употребляет выражение «анти-Европа» (322). Впрочем, как уже упомянуто, в этом отношении он делает исключение для «первой России» — Киевской, которая, говорит он, была на пути к тому, чтобы стать интегральной частью тогдашней Европы. В отличие от Чаадаева, он не склонен приписывать отрыв этой России от Европы, главным образом, влиянию Византии и восточной церкви. Разрыв русского исторического процесса произошел в результате монгольского нашествия и появления на сцене «второй России». Всю историю России Рейнольд делит на четыре периода, вернее, говорит о «четырех Россиях». Первая Россия это — Киевская Русь; вторая — Русь периода татарского владычества и Московская; третья — Императорская Россия, детище Петра Великого; четвертая — Россия Ленина и Сталина, СССР. В основном эта периодизация вполне законна и совпадает с традиционной. Соблазнительно и неприемлемо отождествление Рейнольдом России второй, третьей и четвертой и противопоставление единой линии их развития — России первой. Рейнольду видится в русском историческом процессе пронизывающий его двойной ритм: постоянство и неизменность имперского хода, с одной стороны, и прерывность внутреннего развития, с другой (81). Развительное противоположение между непрерывностью внешнего развития и прерывистостью внутреннего лишь видимое, говорит он, «ибо каждый разрыв последнего вызывает продвижение первого» (83). Движущей силой русского исторического процесса представляется поэтому Рейнольду русский империализм. В России, решительно утверждает он, «власть никогда не была врагом народа. Наоборот... Но власть находилась перед лицом двух необходимостей: создавать империю; и, для этого, догонять одним усилием, одним скачком Европу, цивилизацию. Необходимости, связанные между собой: и та и другая вынуждали власть давить на народ» (83).

Постоянной величиной в русском историческом процессе кажется Рейнольду отсутствие настоящего общества (175; Вейдле более точно говорит об отсутствии «иерархической структуры» в русском обществе) и проистекающая отсюда пропасть между элитой и народом (181). Здесь, конечно, нетрудно видеть отголоски старой славянофильско-народнической концепции. Реформы Петра Великого для Рейнольда — предвосхищение большевизма (185). Об Екатерине Великой он говорит, что ей удалось то, в чем Петр преуспел лишь наполовину: убедить Европу, что Россия стала европейской страной (202). Интересно, что Рейнольд питает некоторую слабость к Павлу I, в котором видятся ему невоплотившиеся задатки универсализма и который мог бы быть великим монархом, если бы не был «иллюминатором» (282). Александр I для Рейнольда был «великим европейцем», но именно поэтому не был великим русским монархом (208). К заслугам Рейнольда надо отнести то, что он сумел беспристрастно и объективно подойти к Николаю I и оценить созидательный элемент в его царствовании (208-209). Немного даже неожиданно для кюстинствующего историка он называет Николая I «модернизатором». Правильна характеристика главной ошибки Александра III, как подмены контр-революции реакцией (210). В некотором противоречии со своей собственной трактовкой третьей России, как некоего единства, Рейнольд пишет об Александре II, что он «уничтожил Россию Петра Великого и заменил ее Россией либеральной и демократической» (226). Примечательна следующая общая характеристика императоров XIX века, которая опять таки идет вразрез с некоторыми собственными формулировками автора: «Императоры XIX в. были для нас, европейцев, людей Запада, по отношению к русской революции в точности тем, чем русские князья были для христианского мира во время продвижения монголов... За исключением первого, они были, с нравственной точки зрения, лучшими, каких Россия когда-либо имела. За исключением второго, они не были гениями... Они любили свой народ, искали только его блага. У них было высокое представление об их культурной миссии. Они были также европейцами» (227). Справедливость и беспристрастие, продолжает Рейнольд, вынуждают признать, что в XIX в. русские монархи «были жертвами систематических кампаний, заговоров и часто клеветы, а еще больше незнания» (232). Он подчеркивает факт, который за пресловутыми промышленными достижениями советской власти в течение ее более чем тридцатилетнего существования так легко забывается иностранцами, а именно, что «императоры XIX в. превратили Россию в великую экономическую державу» и что их нужно сравнивать не с советскими «планификаторами», а с их собственными предшественниками (233). Попутно Рейнольд вспоминает

вышедшую в 1914 г. книгу француза Эдуарда Тэри, который, посетив Россию почти накануне первой мировой войны, писал, что, если между 1912 и 1950 г. всё будет идти так, как шло между 1900 и 1912 г., «Россия к середине столетия будет доминировать над Европой, как в политическом, так и в финансово-экономическом отношении» (235). В связи с этим Рейнольд подчеркивает, что русская революция произошла в условиях не скучности, а материального благополучия (мысль, на которую всегда напирал в своих размышлениях о русской революции покойный П. Б. Струве). «Чтобы революция удалась, необходимо, чтобы режим, против которого она выступает, создал для нее два условия: развивающееся благосостояние и рост образования. Так и было в России в 1917 г.» (235). Для Рейнольда революции всегда регресс, «покушения против истории» (286), и в СССР за экономическим прогрессом ему правильно видится исторический регресс: «Советская Россия вернулась к Московской Руси» (353). Почти сейчас-же за этим Рейнольд прибавляет, что Россия «никогда не была более русской, чем сейчас» (354), что «четвертая Россия это — Россия русских». Что он хочет этим сказать, не вполне ясно. И нельзя не видеть вместе с тем внутреннего противоречия со многим, что сам-же автор говорит, в утверждении, не раз им повторяя, что четвертая Россия, сталинская, «является в точности продолжательницей третьей» (308).

Весь подход Рейнольда к истории фаталистический. Он убежденный детерминист. В истории России «имперализм» и «абсолютизм» кажутся ему неустранимыми, фатальными «константами». Русская власть, какая бы она ни была, обречена на абсолютизм, ибо нужды и требования Империи расходятся с нуждами и чаяниями народа, и следовать за народом значит впасть в анархию. Что же происходит? Власть давит на народ. Это порождает недовольство, недовольство переходит в революцию. Но как только революция восторжествует, она окажется перед лицом тех же требований и того же разнобоя. Чтобы избежать анархии, она должна будет установить новый абсолютизм. Затем произойдет новая революция. Развитие идет неизбежно путем таких «разрывов». Я не упрощаю — именно таков, согласно Рейнольду, предустановленный ритм русского исторического процесса. Без абсолютизма в той или иной форме невозможно сохранение и империи и России. Если четвертой России суждено исчезнуть, на ее месте не возникнет пятая, ее исчезновение будет концом русской империи (371). Таков конечный прогноз Рейнольда. Рядом с этими весьма спорными, голословными, фаталистическими заключениями мы находим у него глубоко верные и меткие и не столь часто встречающиеся суждения. Так, на-

пример, он совершенно правильно указывает, что, не будь русской революции, не было бы ни гражданской войны в Испании, ни национал-социализма, ни фашизма, ни второй мировой войны. Этого очень часто не понимают европейские государственные люди.

Последняя глава книги Рейнольда, озаглавленная «Европа лицом к русским», состоит главным образом из умело и интересно подобранных цитат, призванных доказать, что, уже начиная с XVIII в., дальновидные люди в Европе провидели «русскую опасность», которая стала ощутимой для всех реальностью лишь после 1917 года. Цитаты начинаются с Леклерка и Левека, первых европейских историков России, продолжаются сэром Робертом Уольполем, маркизом д'Арженсоном, Вольтером, Дидро, Руссо, Кондильяком. За ними следуют Наполеон, Сегюр, аббат де Прадт, Жозеф де Мэстр (про которого Рейнольд ошибочно говорит, что он научился в России русскому языку), Кюстин (которому, между прочим, приписываются также блестящие тирады его русского собеседника на пароходе «Николай I», кн. П. Б. Козловского — см. об этом мою книгу «Русский Европеец», Сан-Франциско, 1950 г.), Эмиль Монтегю, испанец Донозо Кортес (на книгу которого в свое время отозвался Герцен), французский католический журналист Вейо, Токвиль, Тьер, Мишле, Виктор Гюго, Ренан, Карно и Генри Адамс. Заключает эту серию цитат цитата из рассказа Киплинга. Цитаты эти интересны, в них действительно нетрудно усмотреть пророческие — а порой и русофобские — ноты. Но они недостаточны, чтобы подпереть мысль самого автора об опасности русского нашествия, которое будет опасней монгольского (360). Почтенный швейцарский историк, отождествляя коммунистическую Россию, четвертую по его счету, с ее историческими предшественницами, второй и третьей, впадает в столь распространенное сейчас в Европе и Америке заблуждение. На эту тему писал уже в «Новом Журнале» (кн. XXV), в статье «Русский империализм или коммунистическая агрессия?», М. М. Карпович. Но беда в том, что в данном случае речь идет не о рядовом западном политике или журналисте, а о высокообразованном, серьезном ученом, авторе блестящей книги, в которой эти глубоко ошибочные и вредные сближения и заключения соседствуют с весьма ценными и верными суждениями. Надо сказать также, что Рейнольда нельзя обвинить в русофобии. Он неоднократно изъясняется в своей симпатии к русскому народу. Он не смешивает советское правительство с народом, как делают сейчас многие иностранцы (на стр. 230 он даже пишет: «смешивать страну с режимом смертельного»), но вместе с тем он проводит какое-то странное различие между «русским народом» и «Россией»: первый для него человечен, вторая — бесчеловечна (315).

**

Вышедшая на год раньше, сравнительно небольшая книжка В. В. Вейдле, за которую автор получил премию Ривароля, присуждаемую за лучшую книгу, написанную по-французски не-французом, является как-бы наперед данным ответом швейцарскому историку. Книга Вейдле тоже часть более общего труда, озаглавленного «Европейский триптих» (во второй ее части, еще не вышедшей — «Структура Европы» — автор полемизирует с Тойнби). Отчасти по крайней мере, книга Вейдле — все на ту же старую русскую историософскую тему, заданную русской мысли еще Чаадаевым: Россия и Европа. Теза Вейдле в основном — западническая, хотя и с оговорками. В небольшом вступлении к своей книге, озаглавленном «На полях Запада», он правильно указывает, что тот факт (который подчеркивали и Чаадаев и славянофилы), что Россия восприняла византийское наследие, не исключает ее из Европы, ибо разве Византия, вопреки своей географии, не была в культурном смысле Европой, наследницей эллинистически-христианской культуры? Здесь именно расхождение Вейдле с Тойнби. «В исторической перспективе Европы — пишет Вейдле — Рим неотделим уже от Афин, ни Афины от Рима, ни оба они от Иерусалима, с которым связали их раз на всегда миссии свв. Петра и Павла. Что же до Константинополя, этого второго Рима, то он тоже воспринял наследие Акрополя и наследие Голгофы» (17). С такой же решительностью отмечает Вейдле и евразийское построение русской истории и культуры, возводящее отдельность России от Европы не к византийскому, а к монгольскому или турко-татарскому влиянию. С таким же основанием, пишет он, можно было бы говорить об «Еврафрике» в применении к Испании. Для Вейдле не только Россия имеет общую с Европой духовную колыбель (с этим, пожалуй, не стал бы спорить и Рейнольд), но и все ее историческое развитие шло по линии сближения с Европой. С Петра Великого Россия стала великой европейской державой. Не только нельзя говорить о «третьей» (употребляя выражение Рейнольда), т. е. петербургской, императорской России, как об «анти-Европе», но надо прямо сказать, что эта Россия отчелово сознавала себя составной частью Европы: «...ей приходилось вступать в конфликт с другими державами; ей даже пришлось (в Крымскую войну) принять на себя удар их всех разом; но невозможно было вообразить себе ее выступающей принципиально против Европы в целом. Напротив, если в ее политике было нечто постоянное, то это ее привязанность к идеи известной европейской системы, которую надо было поддерживать, развивать и защищать против любой угрозы» (75). История двух последних столетий, по Вейдле, если подходить к ней с русской точки зрения,

это история осмоза между Россией и Западом (77). Рейнольду, который в своей книге, в сущности, совершенно игнорирует русскую духовную культуру, русскую литературу, музыку, искусство и их взаимосвязи с Западом, а к русской церкви подходит с тенденциозно католической точки зрения — не мешало бы прочесть соответствующие главы книги Вейдле. Наперекор ему — и на наш взгляд совершенно правильно — Вейдле утверждает, что, именно участвуя в полной мере в жизни Европы, Россия «стала в полной мере самой собой» (85). Но произошло это тогда, когда сама Европа переставала понемногу быть тем, чем она была. Входя в европейскую жизнь, Россия поневоле принимала участие в треволнениях и тревогах этой жизни, в ее распаде. Когда-то мой покойный отец, в речи в предпарламенте в октябре 1917 г., назвал большевизм «смесью русской сивухи с пойлом из Карла Маркса». Вейдле правильно говорит о том, что русский «великий век» (19-ый), русское «Возрождение» было окрашено трагедией, что в нем не было равновесия, что оно было полно зловещих предчувствий. Происходило это оттого, что в момент максимального сближения России с Европой в самой Европе уже не было равновесия и гармонии, сама она была разделена противоречиями, здание ее уже подтачивали черви. Рейнольд тоже говорит о трагедии для России, состоявшей в том, что господство «научности» и материализма в Европе совпало с моментом когда русская молодежь была охвачена жаждой образования и революционным неистовством (335). Но для него это скорее чистое русское явление, и он не видит здесь тесной связанности России с Европой, не дооценивает значение европейской «заразы».

По мнению Вейдле, движение в направлении более тесного сближения с Западом продолжалось даже в Советской России, хотя и в ослабленной форме, до 30-х годов, не говоря уже о русской эмиграции (146). И даже сейчас, говорит он, «в мире духовном Пушкин не перестал быть Пушкиным, и Толстой остается Толстым. Поэтому осмоз продолжается, поскольку жизнь не задушена и поскольку подлинное творчество еще возможно» (150). Даже в Советской России лучшие писатели и художники — Серапионовы братья, Бабель, Олеша — были ориентированы на Запад.

Вейдле восстает решительно против географического детерминизма тех иностранцев, которые хотят отбросить Россию в Азию и считают русских «обязиженными славянами» (выражение Рейнольда). Для Вейдле сталинская Россия не продолжает логически Россию Петра I, Николая I и Николая II. Политика Кремля отнюдь не тождественна с политикой Певческого моста. Последняя никогда не упускала из виду, даже в самые свои «реалистические» моменты, известного традиционного образа Европы или христианского мира, никогда не отрицала западных ценностей и всегда заботилась о

моральном престиже России в среде европейских народов. Новая советская империя пользуется телом прежней России, но отвергает ее душу. «Для нее Европа ничто, христианство — нелепые отрепья, а западные ценности — обесцененные куски металла» (186). Это поистине Евразийская империя, в том смысле, что ударение больше не ставится на принадлежности к Европе. По существу, эта новая советская империя не принадлежит ни туда, ни сюда. Верней, «она повсюду и нигде, она одновременно и азиатская и европейская, а, если нужно, станет полинезийской». Она ждет, чтобы народы стучались у ее дверей, и она примет их, откуда бы они ни пришли» (187). Старый спор между западниками и славянофилами утратил, по мнению Вейдле, свой смысл. Некоторые наиболее крайние пожелания и того и другого лагеря оказались осуществленными в России за счет более умеренных и примиримых между собой взглядов. В Советской России наблюдаются процессы, которые могут радовать сердца и крайних западников и крайних славянофилов и особенно их преемников, евразийцев. Но по существу идеология, которой должны придерживаться в «советской Евразии» все благомыслящие люди, говорит Вейдле, это «шовинистический универсализм или универсалистский шовинизм» (189).

Оправдывая наперед нелепое и неприемлемое для нас, русских, утверждение, что «четвертая Россия» самая что ни на есть наиболее русская, Вейдле пишет: «Россия была нацией отличной от других, но соучаствующей с ними в европейском единстве, тогда как Евразийская империя — страна в известном отношении более западническая (*occidentalisé*), чем была Россия Петра и Пушкина, и более закрытая для Запада, чем Московия, по которой путешествовали Олеарий и Герберштейн — удаляется с каждым днем всё дальше и от того, чем была Россия, и от того, что представляет еще собой Европа» (190-91).

В сравнительно короткой заметке нельзя исчерпать всего богатого содержания небольшой книжки Вейдле. Тема России и Запада лишь одна из ее тем. В рамках этой темы мы находим попытку дать и анализ и синтез всей русской культуры, как явления, связанного с общеевропейской культурой, но единственного и неповторимого. Эту культуру сейчас в Советской России заменило не отсутствие или недостаток культуры, а явление, которое можно назвать «анти-культурой». Одной из черт этой «анти-культуры» является культ «технопоклонства» (193).

Книгу В. В. Вейдле должны были бы прочесть все иностранцы, интересующиеся и занимающиеся Россией*). Это необходимое про-

*) В ближайшем времени ожидается издание в Америке английского перевода книги В. В. Вейдле. Ред.

тивоядие против распространенного сейчас подхода к России à la Кюстин (в скобках будь сказано, что в книге Кюстина о николаевской России было много правды, что признавали и вел. княгиня Елена I Тавловна, и Жуковский, и Тютчев, и даже сам Бенкendorf; ошибка нынешних «кюстинствующих» иностранцев состоит в отождествлении сталинской России с николаевской, отождествлении, основанном на полном искажении исторической перспективы).

Прибавим, что и русскому читателю книга Вейдле дает много и написана она прекрасно, с чисто латинской четкостью и ясностью.

Глеб Струве

БОРИС ЗАЙЦЕВ. Жуковский. ИМКА-П РЕСС. Париж. 1951.

Писатель, приступая к жизнеописанию человека — великого или малого — стоит перед выбором одного из двух путей: первый был открыт нам около 30-ти лет тому назад Литтоном Стрэчи, давшим точные законы авторам жизнеописаний прежде живших людей; второй путь — путь субъективный и поэтический, метод своеобразно-лирический, который не хочет знать законов Стрэчи, не хочет вообще никаких ограничений в той волне чувств, которая встает в писшущем при одном имени выбранного «героя». В каждом пути есть своя правда, и если метод Стрэчи может быть сравним с четырехстопным ямбом, то метод Зайцева напоминает нам паузник, вольный и до крайности своеобразный, в котором часто звучит больше душа автора книги, чем самого Жуковского.

Несколько раз уже приходилось слышать мнение о том, что Тургенев (к которому Зайцев тоже в свое время посвятил прекрасную книгу) и Жуковский чем-то похожи друг на друга. Но чем? Конечно, не «благостью», не «тихостью» и не «сладостью», но лишь мучительной, многолетней и несчастной любовью, которая легла крестом на судьбу обоих. Оба были в полном смысле слова ранены, уязвлены, истерзаны единственной этой любовью и, несмотря на увлечения Тургенева другими женщинами, на позднюю женитьбу Жуковского, — были оба в плена у недоосуществленного чувства в течение всего их творческого бытия.

Зайцевская «поэма о Жуковском» рассказывает нам о далекой стране и далеких людях. Простодушие и прекраснодушие. Жуковский наделен был ими как никто. «Тогда, пишет Зайцев, по вершинам российским прошло дуновение меланхолии, чувствительности, обостренной отзывчивости на трогательное и печальное». Но вспомним, что Карамзин, кроме «Бедной Лизы», создал «Историю Государства Российского» — у Жуковского этого не было. Он жизнь представлял себе «несколько сентиментально»: садоводство, чтение, поэзия, семья и дружба были темами его мыслей «невинных», как невин-

ными были и его «умеренные благодеяния». «Возвышенный союз душ», «смирение», до конца жизни (от ранней юности) питали его поэзию.

Зайцев понял его, быть может, лучше, чем понимал он себя сам. Каждый, прочитав книгу, почувствует печаль, в ней разлитую и недосказанную, но которой так тонко заражает нас автор. Н. Б.

ГУСТАВ ГЕРЛИНГ. Особый мир. Предисловие Бертрана Росселя.

1952 г. Книга издана по-английски издательством «Рой» в Нью-Йорке.

В 1860 году, когда начали появляться первые главы «Записок из Мертвого Дома», критики приветствовали Достоевского, как «нового Данте, который спускался в ад, тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности». В 1940 году, когда Густав Герлинг, молодой польский писатель, был арестован органами НКВД и отправлен в Каргопольский лагерь, он увидел, что Россия «по-прежнему остается Мертвым Домом», точно «время остановилось между каторгой Достоевского и нашей каторгой».

«Писатель, который стремится описать советский концентрационный лагерь правдиво и объективно, — говорит Герлинг, — должен спуститься в глубины Ада и не искать там каких-нибудь человеческих побуждений за нечеловеческими действиями. Это оттуда, из глубины Ада, на него обращены лица его мертвых и, быть может, еще живых друзей, с губ которых, синих от голода и холода, срываются ирония: «Расскажи людям правду о нас, расскажи им, до чего нас довели».

Густав Герлинг выполнил наказ своих товарищей по каторге — и, добавим, выполнил блестяще. Наверное, уже сотни книг написаны о советских концентрационных лагерях, но, мне думается, что только «Особый мир» Густава Герлинга может быть поставлен в сравнение с «Записками из Мертвого Дома».

Книга Герлинга написана под несомненным влиянием Достоевского. Из Достоевского он взял для нее и название:

«Тут был свой особый мир, ни на что более непохожий; тут были и свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь — как нигде, и люди особенные».

В одиннадцатой главе, названной по-Достоевскому, «Мертвый Дом», Герлинг рассказывает, как одна русская женщина, заключенная в том же лагере, тайком дала ему потрепанный, облохмотившийся экземпляр «Записок из Мертвого Дома». «Книга эта открыла мои глаза на лагерную жизнь, — говорит молодой автор. — Мне показалось, будто я проснулся от долгого сна, будто воскрес из мертвых».

Вслед за Достоевским, Герлинг описывает баню, госпиталь, представление, на котором выступают артисты-каторжане, праздник

Рождества Христова... Подобно Достоевскому, он рисует портреты заключенных: перед читателем проходят длинной вереницей донской казак Памфилов, уркаган Тимошка Коваль, матрос Всеволод, инженер Махапетян, поп-расстрига Димка, старик-чеченец, старый большевик Садовский и т. д. Быть может, лучше всего нарисован портрет Михаила Алексеевича Костылева, инженера, родом из Воронежа, который однажды, забывшись в разговоре с друзьями, выкрикнул: «Освобождать Европу? Да от чего ее освобождать?!» На Костылева донесли и он был арестован. Но он дал самому себе клятву — никогда больше не работать на большевиков. «Я никогда больше не буду работать на них! Никогда — ты понимаешь? Никогда!» — говорил он Герлингу. И потому через каждые три дня, по ночам, когда засыпал барак, он совал свою руку в огонь — «распухшую, как бревно, в лохмотьях, с обгорелой и отваливающейся кожей; кожа и гной капали на поленья и шипели, будто горящее масло». Кончилось дело тем, что Костылева назначили к отправке в карательное отделение лагеря и он на «санитарной обработке» опрокинул на себя кадушку с кипятком. Герлинг говорит, что встреча с Костылевым была одним из самых сильных впечатлений его жизни, и, вероятно, рисуя его литературный портрет, автор думал о нем словами Достоевского: «...это был самый решительный человек из всей каторги».

Такая близость к Достоевскому могла бы оказаться губительной для молодого, начинающего писателя. Ведь Герлингу было только двадцать лет с небольшим, когда его арестовали, и «Особый мир» — первая его большая книга (хотя он, кажется, еще выпустил что-то по-польски). Но спасает его, во-первых, необыкновенный художественный дар — острый глаз, бесстрашная правдивость в описании, любовь к детали, всему виденному и услышенному, а, во-вторых, громадное психологическое чутье и постоянное стремление пробиться сквозь оболочку конкретного — к духовному. Берtrand Россел, в предисловии к книге Герлинга, отмечает ее «совершенно исключительный интерес с психологической точки зрения».

Потому «Особый мир» Герлинга совсем непохож на тот «особый мир», который описывал Достоевский в «Записках из Мертвого Дома». Несмотря на внешнюю подражательность, книга Герлинга по сути во всем, решительно во всем, самостоятельна, и она, как никакая другая книга, открывает читателю правду о катаржной России двадцатого столетия.

Герлинг показывает, что концентрационные лагеря в России двадцатого века предназначены не только для экономической эксплуатации человека, но также для его «перевоспитания». «Перевоспитание» состоит в том, что всё направлено к тому, чтобы истребить в человеке способность самостоятельно мыслить, убить в нем всякое

стремление к свободе. Орудия «перевоспитания» прежде всего — пытки во время следствия и голод в лагере.

Герлинг показывает, как еще в следственной тюрьме человека «демонтируют», разбирают на составные части, так что «мысли и чувства выпадают из присущих им мест и начинают бренчать друг о друга, как части разболтанной машины». В тюрьме человек «сначала стремиться поскорее попасть в лагерь — сперва робко, потом с растущим нетерпением».

«Проведя несколько лет в лагере, — пишет Герлинг, — средний заключенный настолько отвыкает от самой идеи свободы, что он начинает бояться того, что ему когда-то опять придется выйти на «свободу» и жить в состоянии неослабляемой осторожности, под наблюдением шпионов и доносчиков в самой среде его друзей, родственников и сослуживцев, под подозрением лишь по одному тому, что он только что вышел из лагеря. Между тем, лагерь стал его второй жизнью: тут он знаком со всеми законами и обычаями, тут он как рыба в воде, и тут ему не страшны никакие опасности».

Потому так много заключенных, которые, отбыв срок, хотят остаться на службе при лагере. Но это только одна категория заключенных, более удачливых. У менее удачливых, по-Герлингу, также не наблюдается тяги к свободе, потому что они достигли самых последних глубин человеческой деградации, когда «всякая возможность перемены, даже перемены к лучшему, кажется рискованной и опасной».

«Особый мир» — тяжелая книга. Тем более тяжелая, что автор не торопится дать читателю какую-либо надежду, не спешит с утверждениями вроде того, что «свет во тьме светит и тьме не объять его». В отличие от Достоевского, он не видит ни в себе, ни в окружающих никакой «Божьей искры», хотя в одном месте и замечает, что «мне было больно, что в лагерной жизни я настолько очерствел, что не мог более молиться».

Михаил Коряков.

ELZA MAHLER. *“Altrussische Volkslieder aus dem Pečoryland”*. Bärenreiter-Verlag. Bazel. 1951 (180+175 стр.)

Книга, которую читаешь с чувством благодарности. В ней нет ни русофобства, ни советофильства; в современной россике такую свободу от обеих этих навязчивых идей встретишь не часто.

В особенности редко встречаешь такую свободу от русофобства, точнее — такую любовь к русскому. Сила этой любви, столь ощутимой на этих страницах, может даже поразить. Конечно, она не для всех внове. В тех кругах, где следят за трудами немногих ныне «миссионеров русской культуры», от очередной книги профес-

сора Елиз. Эд. Малер иного тона и не ждали. Там знают не только то, что Елизавета Эдуардовна — человек русского духа, лишь с не-русской фамилией, русский культурный деятель, вот как Даль, Гrot, Bodуэн де Куртенэ; там знают, в частности, и то, что это — убежденный и «активный» руссофил, ничуть не меньший, чем, напр., Вальтер Шубарт. Большая, очень нелегкая, неблагодарная (особенно в наше время) работа по «пропаганде» русского духовного творчества, которую Е. Э. ведет в Базельском университете с таким не-ослабным сердечным жаром, — эта работа не могла оставаться незамеченной теми, кому дальнейшие судьбы русской культуры небезразличны. И, конечно, все значение этой работы еще очевиднее для тех, кто знает «малопроницаемость» швейцарской культурной среды для всего русского. Выход исследования по русскому фольклору, с русскими текстами, на средства швейцарских учреждений — в гла-зах людей, знакомых с «обстановкой», это — большая победа Е. Э.

На мой взгляд, книга редкостно-хороша. Конечно, может быть, на мою оценку влияют отчасти личные воспоминания: мне довелось сопровождать Е. Э., когда, по поручению Базельского университета, она объезжала все эти Кулиски, Городища и пр. Я слышал эти песни, видел этих певцов. И всё-таки дело не в воспоминаниях: дело, прежде всего, в самих этих песнях. Вот несколько отрывков, почти на-удачу; эти отрывки говорят сами за себя, и можно ничего не знать о Печерском крае, но нельзя не почувствовать их прелести — она еще сильнее от псковского «цоканья».

Отрывок из девичьей песенки (стр. 52):

Подломился каблуцок,
Я упала на боцок,
Ня слыхала, как упала,
Погляжу — млада ляжу,
Я на левом на боку,
Я на левом, я на правом,
На кисейном рукаву.
Я глядь, поглядь,
Меня некому поднять.
Я тихонько повернулась,
Да и сама поднялась!

Другой отрывок (стр. 75):

Ня свивайся, ня свивайся,
Хмель со тычинкой!
Ня слюбляйся, ня слюбляйся,
Парень со девченкой!
Как слюблялся парень с девкой
Под белой бярезой,

Расставался парень с девкой
 Под горькой осиной.
 Ну ты, белая бярёза,
 Будь вовек кудрява,
 А ты, горькая осина,
 Будь вовек проклята.

Еще отрывок (стр. 38):

Теща про зятя пирог спякла,
 Соли, муки на цатыря рубля,
 Сахару, изюму на пять рублей.
 Стал то пирог на девять рублей.
 Думала теща, семерым ня съесть,
 Зятушка сел, во присядку съел.
 Теща по горенке погуливае,
 Тихошенько зятушку побранивае:
 «Штоб тябя, зятенъка, разо-рвало».
 — Штоб тябя, матынька, язык присох.

И т. д., и т. д. Но всего не выпишешь.

Даже тот, кто никогда не бывал в Печерском краю, его в этой книге видит. Песни даны на «фоне», на котором возникли — этот фон показан с редкой отчетливостью: книга очень хорошо «документирована». Имею в виду как рассказ самой Е. Э. о ее поездке, так и снимки. Последние удивительно характерны. Какая-то переховская «сила и крепость» в этих суровых монастырских башнях, незабываема строгая простота церкви Николы Ратного, на редкость прекрасны линии звонниц:

Как звонницы воздушно-нежны,
 Небесному обречены,

— хочется повторить посвященные им стихи Юрия Иваска. Всё хорошо: потемневшие бревна изб, степенные, осанистые мужики, бабы в старинных пышных праздничных нарядах, важно рассевшиеся на завалинке. Помню, когда мы были в монастыре, при виде этих лампад, темных лиц в узорчатых киотах, свеч, молившейся на коленях толпы, даже у одного англичанина, стоявшего подле меня, вырвалось одобрительное «*every nice!*».

Всё это фотографировалось не так уж часто. В парижском Musée de l'Homme, правда, довольно много удачных пещерских снимков; увы, менее удачно размещение их — почти рядом с бушменскими и зулускими красавицами. У Е. Э. Малер Печеры даны не в плане экзотики — это отрадно.

Что сказать еще о самих песнях? Конечно, нужно быть специалистом (помимо всего остального), чтобы в полной мере оценить и прелест этой поэзии, и прелест этой музыки: эта нотная запись, напр., больше скажет музыканту, чем простому любителю, как я, —

в каждом искусстве какие-то оттенки улавливает лишь «посвященный». Но и не-специалист не может всем этим не увлечься. Почему — об этом в журнальной заметке подробнее говорить едва ли имеет смысл: никакой алгеброй гармонии объяснить нельзя. Пытаться отчетливей передать всё обаяние этих песен — я не берусь. Для иностранцев, знающих немецкий язык, Е. Э. Малер это сделала удивительно удачно: большей близости к подлиннику, большей ясности комментария немецкий читатель желать не вправе. Русскому читателю можно посоветовать одно: прочесть подлинники, предпосланные немецким переводам, прочесть нотную запись, взглянуть на снимки. Если он не очертвел, он почувствует исходящее от этих страниц нежное, не яркое очарование: очарование далекого русского края, которого, может быть, он никогда в жизни не увидит.

Игорь Чиннов.

ИСПРАВЛЕНИЯ

Мы указываем на следующие необходимые исправления в кн. 27 «Нового Журнала»:

Стр. 8-я, 1-я стр. сверху, читать «водочной» вм. «водочкой».

Стр. 105-я, 2-я стр. снизу, читать «подучить» вм. «получить».

Стр. 128-я, 8-я стр. снизу, читать «1836» вм. «1936».

Стр. 230, 14 стр. сверху, читать “techthaberisch” вм. “recht habergisch”.

Стр. 289, 12 стр. сверху, читать «максимиалисты» вм. «марксисты».

Стр. 318, 9-я стр. сверху, читать «Райнером М. Рильке» вм. «Райннером».

Стр. 237, между 2-й и 3-й стр. сверху, выпала строка: «а проследить их духовную родословную можно лишь идя вглубь».

Стр. 241, 2-я стр. снизу, читать «демагогией» вм. «демократией».

Н. В. Валентинов просит нас исправить последнюю фразу в его статье «Чернышевский и Ленин» (кн. 27). Эта фраза должна читаться так: «В национальном есть элементы нейтрального характера — такие многие национальные привычки и обычай — могут быть элементы большого положительного значения, но могут быть и элементы отрицательные».

Мы обращаем внимание на необходимое исправление года издания «Нового Журнала» на титульном листе. В книгах 18-20-й 6-й год издания должен быть исправлен на 7-й; в кн. 21 и 22 — 7-й год изд. на 8-й; в кн. 23 и 24 — 8-й год издания на 9-й; в кн. 25 и 27 — 9-й год издания на 10-й.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

под редакцией проф. М. М. КАРЛОВИЧА

ОДИННАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1952-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,

в Бразилии 30 крузейро,
во Франции 400 франков.
в Германии 4 марки.



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

“THE NEW REVIEW”
223 West 105 Street, New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня.

